З А Р У Б Е Ж Н Ы Е **Za-Za** З А Д В О Р К И

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БУМАЖНЫЙ ЖУРНАЛ/«БУМЖУР»

№ 30, декабрь 2016-№1 (31), январь 2017

В НОМЕРЕ:

Редакторская страничка 2

Николай Шатров (1929 — 1977) Стихотворения. Публикация Вл. Алейникова 3

Анатолий Николин. Тишина, пустота, недоказуемость... Рассказы 24

Яков Лотовский. Парк культуры юбилейных времен. Небольшая повесть 37

Иосиф Гальперин. Смотритель облаков, создатель смыслов... Стихи 61

Виктор Брусницин. Игра в подкидного. Новелла 66

Михаил Полюга Стихотворения из книги «Свет мой печальный». 96

Василий Бабушкин-Сибиряк. Чужой. Повесть 103

Александр Балтин. Рассказы 147

Андрей Звонков. Имперские амбиции. Повесть-фэнтези (18+) ... 158

Альма Наивны. Шесть сонетов 187

Марина Некрасова. Чуррос с шоколадом. Рассказ 190

Сергей Телюк о Юрии Влодове и Юрий Влодов о Мандельштаме 222

Евгений Лебедь. NUMQUAM и НАРЦИСС. Два рассказа 233

Ковсан. Вороньи времена, эпохи вороные. Сонеты 241

Сергей Куприянов. Черно-белый портрет. Рассказ 247

Виталий Ковалев, Олеся Янгол. Побережье наших грез. Повесть в новеллах. 257

za·za PUBLISHING

Дюссельдорф

2017

Редакторская страничка

В СССР, да и нынче в России наблюдаются странные явления в гуманитарной сфере. В заидеологизированном обществе, каким был Советский Союз, со свободой слова и печати были трудности. Это касалось не только официально признанных писателей, т.е. членов союза писателей СССР и союзных республик, но в большей степени тех, кто писал, не будучи членами этих организаций.

Так, в годы «оттепели» появилось много писателей, живших и творивших вне рамок СП. Это была так называемая «неофициальная литература», которую не только нигде не публиковали, но даже не допускались публичные чтения, разве что «самовольные», как бывало на площади В.В.Маяковского.

Но если тот, кто входил в группы, к примеру, СМОГа или «лианозовцев» имел ещё мизерные шансы быть услышанным, то те, кто творили в одиночку, и того не имели.

Это говорю про Москву и Питер, о провинции и вспоминать нечего!

Н.Шатров (читайте о нем и его стихи на следующей странице журнала) был известным на Москве поэтом, хоть и был «неофициальным»! Но много ли мы знаем книг его и о нём?! Конечно, есть люди – подвижники, как покойный Владимир Леонович, в годы перестройки представивший культурному слою Москвы харьковского поэта Б.Чичибабина, который даже стал последним лауреатом Государственной премии СССР. Но много ли известно таких примеров? Практически очень мало!

Который год «ставит памятники» ушедшим поэтам Владимир Алейников! Он пытается ввести в культурный обиход малоизвестные или забытые имена, предлагает для публикации рукописи своих друзей либо известных ему поэтов.Шатров – один из них.

Странно только, что государство это никоим образом не интересует?! Если раньше издавались серии «Литературное наследство», «Литературные памятники», то, где теперь всё это? А ведь сохранение культуры и литературы в частности – приоритет для любого государства! Если не существует преемственности культур разных времён, это может свидетельствовать только о так называемой «гуманитарной катастрофе»!

Мне скажут, что в «Литпамятниках» вышел основополагающий том Бориса Чичибабина. Но это была так называемая «инициатива снизу».

Очень бы хотелось, чтобы в случае с Николаем Шатровым, с его поэзией, с сохранившимися после него рукописями, произошло Чудо, как и в случае с наследием Бориса Чичибабина. На то уповаем…

Инна Иохвидович

Комментарий редактора

Книжное издательство Za-Za Verlag изъявляет готовность издать стихи Николая Шатрова. Но одной готовности мало – нужны тексты, и их необходимо подготовить к печати. Мы призываем к сотрудничеству филологов, литературных критиков и любителей и ценителей русской поэзии. Желающие принять участие в проекте, пишите нам на адрес издательства: eugenia13@gmx.net

И конечно же, мы с глубокой благодарностью примем помощь Владимира Алейникова.

Евгения Жмурко

Николай Шатров (1929 — 1977) Стихотворения. Публикация Вл. Алейникова

В № 26 за 2016 г. была опубликована замечательная повесть Олега Рябова “Шатков или жизнь поэта”. Прототипом поэта Шаткова был Николай Владимирович Шатров (1929 — 1977) — один из наиболее значительных русских поэтов XX века. Жил в различных городах Союза, потом в Москве. Учился в нескольких вузах. Был очень образованным человеком. Дружил с Борисом Пастернаком. Именно Шатров помог Пастернаку передать за границу рукопись романа «Доктор Живаго». При советской власти не публиковался. Был известен лишь в узком кругу ценителей его творчества. В период перестройки появились публикации его стихов в журналах. Наследие Шатрова огромно — шесть томов стихотворений и поэм. Изданы только три книги его стихов. Сегодня о Шатрове рассказывает и представляет его стихи поэт, прозаик и художник **ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ.**

Николай Шатров, по глубочайшему моему убеждению, один из наиболее значительных русских поэтов.
Такого же мнения многие весьма достойные наши современники, давно постигшие печальную науку терпения и ожидания, бережно хранящие шатровские тексты и твёрдо верящие в их издание.
Звезда первой величины, Шатров непременно вернётся в родную литературу, хотя, впрочем, никуда из неё и не уходил.
Ушёл он только из жизни.
Стихи же его обладают такой светлой энергией, поле воздействия их видится столь обширным и мощным, что, полагаю, им суждены и долгая, прекрасная жизнь, и более счастливая, нежели у поэта, судьба.
Подобные сентенции могут озадачить, а то и просто огорошить.
Факт, казалось бы, сотканный чуть ли не из воздуха.
Кто таков? Где, когда жил? Где, собственно, почитать его стихи?
Изданных, пусть небольших, пусть с въевшимися всем давно в печёнку искажениями строк и купюрами, сборников — нет. Более того, нет даже редких, но всё-таки публикаций в периодике.
Между тем это реальный человек, чьё творчество пришлось на три не самых радостных десятилетия, с послевоенных сороковых по 1977 год.
Что же, ещё одна загадка? Вновь читатель у себя дома, в России, вынужден заново открывать то, что могло быть, при другом стечении обстоятельств, воспринято и наверняка поддержано им вовремя?
Увы, это так. И случай этот — не единичен.
Присутствие тайны всегда томит, тревожит, побуждает к деянию, к проникновению в суть явления.
Следует напомнить, что тайна творческой личности у нас в стране стала синонимом подвига и оплачена, как правило, жизнью.
Хочется надеяться, что подлинная картина отечественной литературы будет восстановлена.

Для этого надо издавать тексты.
И тогда из ужаса сталинщины, из хаоса хрущёвской псевдооттепели, из мглы брежневского безвременья возникнут фигуры подвижников, наших сограждан, с невероятными нередко, а чаще с внешне обычными биографиями, но с изломанными судьбами, все свои творческие и физические силы отдавших, а порою и жизнь положивших во имя русского Слова.
Если вспомнить мифологических трёх китов, на которых якобы держится земля, и сопоставить их, даже в плане абсурда, с китами, так сказать, ряжеными, — тремя упомянутыми главами государства нашего, на коих оно, балансируя, держалось, то крайне важным окажется предложенный Шатровым вариант мифа, оборачивающийся проницательным осознанием действительности: «О, да воскреснет всех усопших прах! Пусть смерть с косой сидит на черепах их. Не шар земля, она — на трёх китах, придуманная Богом черепаха. Кит первый — верность. Мужество — второй. А третий — бесконечная надежда. Сто тысяч раз глаза мои закрой — сто тысяч раз любовь откроет вежды».
Ставший ещё при жизни легендой, Шатров, несмотря на вышедшую через двадцать лет после его смерти, в США, книгу его стихов, и намного позже — две книги стихов, изданные на родине (содержащие, к сожалению, лишь малую часть того, что сделал он в русской поэзии), остаётся легендой до сих пор.
По многовековой русской традиции стихи его доселе ходят по стране в списках, и число таковых всё увеличивается.

Николай Владимирович Шатров родился в Москве 17 января 1929 года.
Отец поэта, знаменитый в своё время врач-гомеопат В.А. Михин, образованный, уважаемый человек, дружил со многими известными, и даже в той или иной мере значительными в российской истории людьми, например, с Луначарским.
Мать, в молодости — красавица, актриса, жившая интересами театра, но ещё и светская дама, женщина яркая, пользующаяся успехом в обществе, позже — заслуженная артистка республики О.Д.Шатрова, была на тридцать лет младше отца.
Вместе родители прожили недолго. Фамилия у Николая — материнская. Предки его по отцовской линии, Михины, из древнего княжеского рода, вели свою родословную от Ивана Калиты.
Детство поэт провёл в Москве и в городах средней полосы России. Мать вместе с сыном кочевала по разным местам и поселилась, наконец, на Урале, в Свердловске, став директором драматического театра.
В 1941 году поэт эвакуировался с матерью в Семипалатинск, где, окончив среднюю школу в 1945 году, поступил в педагогический институт, одновременно работал литсотрудником в областной газете «Прииртышская правда».
Был откомандирован на учёбу в Алма-Ату, на факультет журналистики Казахского Государственного университета, два курса которого окончил в 1948 году.
В 1950 году вернулся в Москву и был принят вне конкурса в Литературный институт имени Горького на отделение поэзии, но из-за болезни учёбу вынужден был оставить.
Затем учился в МГУ на факультетах журналистики и философии.

Светлый образ отца, с которым так рано был он разлучён и который всё же успел оказать на него огромное влияние, поскольку личностью был выдающейся, Шатров берёг в памяти до последних дней.
От матери у него — врождённый артистизм, неудержимая страсть к перемене мест, к постоянному, необходимейшему, всегда творческому, полнокровному общению с людьми, и особенно с людьми незаурядными, поднятому им до высоты искусства.
На смену вузам и довольно хаотичной учёбе в них как-то само по себе, как нечто само собой разумеющееся, пришло постоянное, никогда не прекращавшееся, широчайшее по кругу интересов, тяготеющее к универсальности, целенаправленное, серьёзнейшее самообразование.
Приходилось, разумеется, ходить на службу, работать — сотрудником музея имени Скрябина и Третьяковской галереи и так далее. Должности эти были, как правило, малооплачиваемыми, никакой радости от вынужденной трудоустроенности, только отнимающей золотое время, разумеется, не было. Впрочем, радость была — иного рода, от общения с работавшими в этих учреждениях некоторыми замечательными людьми.
Стихи Шатрова, которых очень много и которые с годами становились всё сильнее — не публиковались. Не вписывался он ни в советскую действительность, ни в официальный «литературный процесс». На фоне всяких преуспевающих приспособленцев и деляг, числящихся почему-то поэтами и прозаиками, выглядел он этаким рыцарем, пришедшим в чуждую для него реальность из времён Возрождения, со своими-то понятиями о чести, о долге, о поведении, о позиции поэта, об ответственности за слово, — и выглядел, разумеется, чужаком и по меньшей мере странным человеком в любой из волчьих литераторских стай.
Случай публикации где-то в периодике некоторых его переводов поэзии народов СССР — чуть ли не единственный.
Дружба с полярными по своей сути людьми — замечательным пианистом В. Софроницким и поэтом Николаем Глазковым — скрасила годы становления.
В дальнейшем круг его друзей, по мере известности среди ценителей поэзии, расширялся — и, следует подчеркнуть, состоял он из людей достойных.
Попытки издаваться, изредка, от безвыходности, от отчаяния, от желания всё-таки попробовать, рискнуть, на авось, на удачу, в которую с возрастом в общем-то, можно признаться, почти и не верилось, предпринимаемые, неизменно бывали тщетными.
Время поддерживало функционеров, но не поэтов.
Полярные события и повороты судьбы стали делом привычным. Борис Леонидович Пастернак высоко оценил поэзию Шатрова и по-человечески поддержал его, чем помог духовному росту, а вот Леонид Мартынов — отказал в помощи.
Издатели отвергали стихи, а знатоки сразу приняли их и помогали Николаю, как могли, чтобы ощущал он, что есть у него своя среда, чтобы не отчаяться вконец, чтобы суметь выдержать все невзгоды, попросту — выжить. Вынужденный где-то служить, как-то зарабатывать на хлеб, то есть вынужденно быть привязанным к месту, что его тяготило, а потом и угнетало, Шатров, пусть и нечасто, лишь тогда, когда удавалось, когда выпадала такая вот счастливая возможность, старался использовать любой повод, чтобы обязательно куда-нибудь уехать, в тот же Коктебель, потому что «без моря русскому нельзя», раскрепоститься, ощутить хотя бы кратковременную свободу.

Позже, ценя время и независимость, он сознательно предпочёл полуголодное существование неиздаваемого поэта приспособленчеству любого рода.
Познания Шатрова в разных областях — от философии, религии, истории до медицины, магии, оккультных наук, от литературы до техники — были феноменальными.
Он обладал даром исцеления, и я знаю спасённых им от тяжёлых недугов людей.
Он мог предугадывать будущее, и тому есть множество свидетельств.
Блистательный собеседник, он буквально завораживал присутствующих.
Его любили женщины, причём так преданно, пылко и возвышенно, что в наше чёрствое время это может показаться поистине сказкой. Однако так всё и было. Шатровские дамы прежних лет память о нём хранят в своём сердце и до сих пор.
Дружбой с ним гордились писатели и учёные, музыканты и художники, рабочие и сельские жители. Всё это были люди разных поколений, различных жизненных интересов, творческих установок и личных свойств, но все без исключения они находились под гипнотическим воздействием, под невероятным обаянием личности Шатрова. Все они, при случае, охотно, с восторгом, граничащим с изумлением и почтением, вспоминают о Николае.
Он очень много, всегда, где бы ни находился, читал. Круг его чтения был столь широк, что некоторые даже удивлялись, как он всё это усваивает.
Но он ещё и писал стихи.
И с каждым новым периодом стихи становились всё глубже. Традиционные для русской поэзии линии философской и медитативной лирики Шатров укрупнил, наполнил новым смыслом, создал собственную поэтику, структура которой сложна, многозначна, ибо каждая вещь для него — резюме, сгусток, концентрация, результат человеческого, личного опыта и опыта духовного, и оставил нам свой эпос, свою летопись времени, в котором жил,— около трёх тысяч стихотворений и поэм.
Феномен Шатрова — в его земной позиции, в огромном, развитом им даре, в максимальном приближении к истине.
Радость открытия поэзии Шатрова не должна заслонять трагедии его жизни, трудного пути.
Вдосталь было срывов, сомнений.
Мнимым выходом из невыносимого положения хорошо знающего себе цену, но не укладывающегося в примитивные рамки официоза и не желающего ломать себя поэта, бывал алкоголь, после — надолго — отказ от него, упорная, неистовая работа.
Живое общение с понимающими людьми поддерживало, но не спасало.
И только поэзия давала «бесконечную надежду». Смерть свою он предвидел, был к ней готов.
В последний год жизни — очень много писал, привёл в порядок рукописи.
Сердечный приступ настиг его в конце марта 1977 года, в крохотной однокомнатной квартирке на первом этаже блочного дома, забитой бумагами, книгами, картинами, рядом с Москвой-рекой, на тесно застроенном берегу которой в прежние годы вовсю распевали соловьи.
«Маргарита, отвори мне кровь!» — успел прохрипеть он жене. Врачи в больнице роковым образом ничего сделать не смогли...
Истинно русский человек, поэт высочайшего ранга, Николай Шатров оставил нам обширное, уникальное по значимости литературное наследство.
Издание и осмысление его — наш общий долг

Владимир АЛЕЙНИКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Опять колдует пьяный ветер
И тянет вдаль, и тянет ввысь.
Под снегом спящее столетье,
Я говорю тебе: «Проснись!»

От чёрных бурь найду спасенье
И в белом, и в другом вине.
Душа становится весенней,
Душа бушует о весне!

Весна пришла, а это значит,
Что нет запрета сердце красть.
И девушки ночами плачут,
Предчувствуя позор и страсть.

Дрожите, люди! Март на воле!
Теряя стыд, ломая лёд…
Никто не спрячется от боли,
Никто от жизни не уйдёт!

1955

*** * ***

Ночь жива лишь до рассвета,
Как жива до правды ложь.
Можно и убить поэта –
Песне горла не заткнёшь!

Заточи её в темницу,
Спрячь от солнечных лучей,
Глядь, она щебечет птицей
И наполнила ручей.

1946

* * *

Под синим сводом над белым снегом
Кудрями Бога клубятся тучи.
Презренны люди, что сыты хлебом:
Земля питает, но небо учит.

За звёздным светом недольным счастьем
Тоскует сердце, стремится разум,
Но разве можно огонь украсть им
И мирозданье окинуть глазом?

О, как те жалки, что так довольны
Трудом — твореньем своим убогим:
Родятся в рабстве, умрут не вольны,
Высокий жребий суждён немногим.

Вселенной тайну проникли смутно
Одни пророки, одни поэты
Но цель безмерна, а жизнь минутна.
На все ль вопросы найдёшь ответы?

Чем жить по-волчьи, ночным набегом,
Отверзни слух свой, смотри и слушай:
Под чёрным небом над белым снегом
Бушуют ветры, блуждают души,

1946

* * *

Мы постигаем мир на ощупь
И большего нам не дано.
Но чем сложнее всё — тем проще;
Нет многого, но есть одно.

В угарном сне земного пира,
В хмельном обманчивом бреду,
Мы видим только профиль мира
Мы видим то, что на виду.

Когда же изредка оттуда
Сюда луч тайны промелькнёт,
Мы не хотим поверить в чудо
И принимаем цвет за плод.

Но силы неба необорны,
Напрасно закрывать глаза,
Незримо набухают зёрна, –
Неслышно близится гроза.

Лишь с первым грозовым ударом,
Вдруг потрясённые поймём,
Что на песке построив дом,
Мы потеряли время даром.

О, как нам будет невтерпёж
Ловить зарницу откровенья...
Ведь даже Истина и Ложь –
Друг другу родственные звенья.

1947

* * *

Настоящая сила стиха
Не в искусном сплетении слов.
Нет, ты можешь пустить петуха,
А в итоге — затмить соловьёв.

Настоящая сила стиха
Это — вывернутые потроха.
К вдохновения адским котлам,
Где с чернилами кровь пополам.

— Пополам! Если кровь лишь одна –
То она ни на что не годна:
Сочиненье не стоит труда
И чернила без крови — вода.

Настоящая сила стиха
Иногда небывало тиха
В черновых очертаниях чар,
От которых родился Анчар...

Это нектар созвездья Ковша,
Духом схваченное бытие.
Настоящая сила — душа, –
Невозможно подделать её!

1957

Муза

Он горек, как вода морская,
Твой неприкаянный покой.
Ведь, ни на миг не умолкая,
Ты лиру трогаешь рукой.

Я слушаю неясный шорох
Рифм, прилетающих на зов,
И ты присутствуешь при спорах
Подсказанных тобою слов.

Но вот спешишь ты удалиться,
Владычица судьбы моей,
Забыть скучающие лица
Непонимающих людей.

И без малейшего нажима,
Очищены от шелухи,
Легко, почти непостижимо
В душе рождаются стихи.

1950

Немой стих

Я пишу на варварском наречье
(У России вырвали язык!)
Царственно себе противоречу
По примеру всех земных владык.

О, потомки! Полюбуйтесь, груб как
Ужас, миновавший ваши рты.
Этот окровавленный обрубок –
Громкое мычанье немоты!

1958

Неравный поединок

Твердишь, что устал от работы...
А видел когда-нибудь ты,
Как били волков с вертолёта,
Прицельным огнём с высоты?

Они разбегались по снегу,
Услышав рокочущий вихрь.
Висящую в небе телегу,
Спускавшуюся на них.

Они спотыкались об иней...
Об собственный ужас, скорей...
Бескрылые трусы в кабине
На выбор стреляли зверей.

Когда уничтожили стаю,
Заметить смогли вожака.
Он мчал к перелеску, петляя,
Он спасся бы наверняка!

Но тут вдруг случилось такое,
Что слово пред этим — мертво!
Волк стал, оглянулся с тоскою,
Увидел — за ним никого...

Лишь грохот железной убийцы,
Плывущий над полем вагон...
И волк — это может присниться
Обратно направился он!

Навстречу чудовищу, гордо,
В величье бессильной тоски
Зверь поднял косматую морду
И грозно ощерил клыки.

Он звал к поединку машину!
Врага, изрыгавшего гром!..
И даже такие мужчины
Шесть раз промахнулись по нём.

Когда его подняли в пене,
Сражённого выстрелом в пах,
Две жёлтые искры презренья
Ещё догорали в зрачках.

1960

Прогресс

Вечной памяти в мире не быть!
Я придумал, как быстро, без ссоры,
Можно мамонта в яме убить
И в грядущей карете — рессоры.

Ты во сне осенила меня,
Хоть, наверное, вызовет пренья
Новый вид производства огня –
Высеканьем без помощи тренья.

Изыскал я, как бросить копьё
Силой жилы на согнутой палке.
Колесо — это дело моё,
И удобные кресла-качалки.

Порох, запонки, нефть и сонет –
Вот плоды бесподобной работы,
У которой названия нет,
Так свербит всё и мучает что-то!

А нельзя ли освоить Луну?
Пробуравить насквозь нашу Землю?
От восторга глотаю слюну,
Вытекающим формулам внемля.

Я сегодня отправил в печать
Обоснованный вывод: возможно
Человека в пробирке зачать.
Антикрест — пирамиды безбожной.

И становится ясно уму:
Для смертельно удобного быта
Можно всё! Лишь *зачем* — не пойму…
Это в самом начале — забыто.

1963

Память

Если ночью тяжело мне,
Слышу голос — сон и явь –
«Вспомни будущее, вспомни.
Прошлое своё представь...»

Память не киномеханик,
Не прокручивает фильм,
Память движется стихами,
С небылью рифмуя быль...

Память — творческая сила,
Руки протянув вперёд,
Предрекает то, что было
И, пророчествуя, врёт.

В ритме растворяюсь весь я,
Смыслом выгорев дотла.
Только лишь из этой смеси
Состоят светил тела.

1963

* * *
Не пиши чересчур образцово.
Стихотворец, себе на уме,
Добивается смысла от слова
В тесной клетке строфы, как в тюрьме.

Он не ждёт вдохновенья, он — мастер.
Но поэт, блудный сын Божества,
Только ты знаешь высшее счастье
Выпускать на свободу слова!

1971

Рай поэтов

Есть рай поэтов. Некий городок,
По видимости, даже не на небе,
Чтоб мученик новоприбывший мог
Благословить меняющийся жребий.

Не сразу бедолагу призовут
К Творца возвышенному славословью.
Напротив, сам он, с первых же минут,
Тут окружён заботой и любовью.

Поэта вдоль перрона встретит хор
Прекрасных дев, его сонет поющий…
Начало шока. Автор до сих пор
Гадал о славе на кофейной гуще.

Ему привычно хочется вина,
И пожевать, и покурить с дороги,
Душа смятенья тихого полна,
Совсем как в миг, когда почила в Боге.

По улицам ночным Рай-городка
Ведёт поэта спутница с крылами,
И кажется дорога коротка
Счастливцу, поселённому над нами.

Он произносит вслух последний стих,
Им на земле пред смертью сочинённый,
Тем боле, что соперников святых
Не слышно ни дыхания, ни стона.

Сверх золотых кудрей включает нимб
Серебряный прекрасная подруга.
И первую любовь свою под ним
Бард узнаёт в сиянье полукруга.

1976

* * *

Я был украден, подменён
Самим собою в древнем детстве.
Отсюда этот миллион
Терзаний, наслаждений, бедствий.

Есть расстоянья для людей.
Я странствую сквозь состоянья:
То блудодей, то чародей,
Так начинаются цыгане...

Но надо в духе осознать
Присягу царственного слова,
Тогда ты — подлинная знать
И можешь не рождаться снова.

Когда ты истинный поэт,
Тебе до истины нет дела!
Ты пишешь потому, что свет
Твоё переполняет тело!..

1976

Ясный сонет

Нас для себя Бог создал. Помни это
И не бунтуй, подопытный зверёк.
Пока ещё игрушечна планета,
Пусть не идёт нам мирозданье впрок.

Но всё же наша песенка не спета.
Господь не зря на муки тварь обрёк.
Мы служим высшему, как стих поэта,
И провиденье — не бездушный рок.

Придёт пора — игрушка станет вещью,
Вещь — существом, с другими наряду.
Сама Первопричина дышит жертвой...

Жизнь только внешне кажется зловещей.
В лаборатории, а не в аду
Ты — человек: морская свинка герб твой!

10 ноября 1975

* * *

Ночь жива лишь до рассвета,
Как жива до правды ложь.
Можно и убить поэта –
Песне горла не заткнёшь!

Заточи её в темницу,
Спрячь от солнечных лучей,
Глядь, она щебечет птицей
И наполнила ручей.

1946

* * *

Ты — плотная земля, ты — жидкая вода,
Примите душу, лёгкую, как воздух.
Нет, — легче, нет — плотней! Нет, — ярче, чем звезда!..
Но кто меня поймёт? Кто понимает в звёздах?!

Ни плотная земля, ни жидкая вода,
Ни тело, пламенеющее светом,
Не смогут объяснить, не скажут никогда
О муке всех времён — быть истинным поэтом!

1948

Самодержавие

И в этом мире тот же гнёт!
О, замолчите, Бога ради!
Ликует император Пётр,
Как встарь, в своём престольном граде.

Как встарь, конь поднят на дыбы
И змей клубится под копытом...
Ну что же, властелин судьбы,
Гряди! Приспело время пыток!

Да, мы играем не в крокет
(Пришла счастливая пора, ведь).
Дубинка скипетром в руке,
Вот так Россией нужно править!

Пришпорь сильнее скакуна,
Чугун, что родина, не выдаст...
Он был бы хрупок, как она,
Кабы не царская эгида-с.

Он ничего не позабыл.
Он так сроднился с этой глыбой.
Смотри: конь вздёрнут на дыбы!
Россия вздёрнута на дыбу.

1948

* * *

Жить, жить во что бы то ни стало!
Пока бежит по жилам кровь.
Душа, ты верить не устала
В земное счастье и любовь!

Ещё ветра ревут, как трубы
Над миром вечно молодым,
Ещё хочу чужие губы
Дрожа прижать к губам своим!

Ещё мои все дни и ночи, –
Ведь я покоя не просил,
Ещё забыть тебя нет мочи
И разлюбить тебя нет сил.

Мне нравится под лунным светом
Твоих волос молочный цвет,
Мне нравится писать об этом!
Мне нравится, что я поэт!

Покамест старость не настала,
Спеши стихами ворожить...
Жить, жить во что бы то ни стало!
Во что бы то ни стало — жить!

1951

* * *

Поют солдаты за окном...
Ведь сердце, хоть и под сукном,
Всё ж бьётся. Не красивы, да!
Но скоро им идти туда,
Где ждёт их самый страшный труд…
Куда красивых не берут.

1951

Без иронии

Люблю курить табак, валяться на кровати,
Ночь напролёт писать, а спать при свете дня,
И милую ласкать, и руки целовать ей,
До утренней зари терзавшие меня.

Но более всего люблю свою квартиру,
Где свысока в окно гляжу я на людей,
И кошек я люблю за равнодушье к миру
И за отсутствие идей.

1952

Радуга

Ласточки летают низко,
Значит, дождик где-то близко.
Существует переписка
Между небом и землёй.
Телеграф с земли: я жажду,
Влаги жду травинкой каждой.
И прольётся не однажды
Ливень щедрый и шальной.

Небо синее высоко.
Небу в небе одиноко.
Светит солнечное око
И глядит сквозь облака
На поля земли в помарках,
На воздвигнутую арку.
И на ней цветами жарко –
Благодарности строка.
1954

* * *

Мне страшно самому от силы,
Которую в себе ношу.
Такая б музыка — убила...
Я переделался в левшу,

В чудовищного пианиста –
Берущего одной рукой
Аккорд от Генделя до Листа!..
О! Если б я сыграл другой!

1957

* * *

Настоящая сила стиха
Не в искусном сплетении слов.
Нет, ты можешь пустить петуха,
А в итоге — затмить соловьёв.

Настоящая сила стиха
Это — вывернутые потроха.
К вдохновения адским котлам,
Где с чернилами кровь пополам.

— Пополам! Если кровь лишь одна –
То она ни на что не годна:
Сочиненье не стоит труда
И чернила без крови — вода.

Настоящая сила стиха
Иногда небывало тиха
В черновых очертаниях чар,
От которых родился Анчар...

Это нектар созвездья Ковша,
Духом схваченное бытие.
Настоящая сила — душа, –
Невозможно подделать её!

1957

Русь

Тишина вокруг, только грай ворон.
То ли дым летит, то ли пыль...
Наступает степь с четырёх сторон
И качает траву ковыль.

Ковыляй, казак, на твоё седло
Кровью крашенный коршун сел.
Было воинство, да костьми легло –
Нет проходу от русских тел...

А хотелось так: расстелить пургой
Бурки белые, словно плат...
Уж порубан враг, ан пришёл другой
И булатом погнул булат!

У него, врага, — не людская крепь:
Кони чёрные, будто смоль...
С четырёх сторон наступает степь,
С пятой — смертная злая боль...

Больше силы нет... не стерпи обид,
Расступись под ногой, земля!
Удалец — убит, трус плетями бит,
Что из той травы, ковыля...

Кабы лес густой — запалил огнём!
Горьким дымом избыл позор...
Раз согнули спину — ещё согнём,
Раз укравший — навеки вор!

Кабы море синее — в даль уплыл,
Кабы горы — укрылся б там...
Никому не люб и себе не мил,
Только Родину не отдам!

Дома смерть красна и нежна жена,
На чужбине — что небыль — быль...
Не испить до дна зелена вина,
Не белеет трава-ковыль.

Кабала страшна, коли воли нет
Разорвать железную цепь...
Близок батюшка-солнце, Божий свет.
Ближе мать — золотая степь...

С теплотой твоей, с красотой твоей
Не сравниться земле иной.
Ты подуй, подуй, ветер-суховей...
Слушай, слушай стук костяной!

Ко стене небес раскачает стон
В колокольный набат страна,
И воскреснет Русь с четырёх сторон,
Потому что она одна...
1957

Немой стих

Я пишу на варварском наречье
(У России вырвали язык!)
Царственно себе противоречу
По примеру всех земных владык.

О, потомки! Полюбуйтесь, груб как
Ужас, миновавший ваши рты.
Этот окровавленный обрубок –
Громкое мычанье немоты!
1958

Талант и гений

О! Талант — то корабль без пробоин.
В колыханье изведанных волн
Он торговлей живёт и разбоем,
И собою, и золотом полн.

Гений — тот, кто неведомым выслан
На разведку в чужой небосвод!
Это стих, затопляемый смыслом
Из каких-то надмирных пустот.

1960

Неравный поединок

Твердишь, что устал от работы...
А видел когда-нибудь ты,
Как били волков с вертолёта,
Прицельным огнём с высоты?

Они разбегались по снегу,
Услышав рокочущий вихрь.
Висящую в небе телегу,
Спускавшуюся на них.

Они спотыкались об иней...
Об собственный ужас, скорей...
Бескрылые трусы в кабине
На выбор стреляли зверей.

Когда уничтожили стаю,
Заметить смогли вожака.
Он мчал к перелеску, петляя,
Он спасся бы наверняка!

Но тут вдруг случилось такое,
Что слово пред этим — мертво!
Волк стал, оглянулся с тоскою,
Увидел — за ним никого...

Лишь грохот железной убийцы,
Плывущий над полем вагон...
И волк — это может присниться
Обратно направился он!

Навстречу чудовищу, гордо,
В величье бессильной тоски
Зверь поднял косматую морду
И грозно ощерил клыки.

Он звал к поединку машину!
Врага, изрыгавшего гром!..
И даже такие мужчины
Шесть раз промахнулись по нём.

Когда его подняли в пене,
Сражённого выстрелом в пах,
Две жёлтые искры презренья
Ещё догорали в зрачках.

1960

Собачья выставка

Собачья выставка. Немного
Здесь на скамье передохнём.
Две девушки выводят дога –
Мужчину голого с хвостом.

За ним болонка-лилипутка
Из опереточных актрис.
Соотношенье просто жутко:
«О, дети! Не смотрите вниз!»

Вот пудель, пуделем завитый,
Как иностранный дирижёр,
Проходит в окруженье свиты
Филармонических обжор.

Невольно русская борзая
Напомнит собственную дичь.
Не раз глядел в её глаза я,
Но тайны их не мог постичь.

Чего не скажешь о легавой:
Сплошной четвероногий нюх,
Охотничьей овеян славой,
А на работе ловит мух.

Бульдог, на Черчилля похожий...
Сравненье можно пошлым счесть,
Но истина всего дороже:
Так схожи мужество и честь!

А мне, где мне занять отваги,
Чтоб описать вам, важно как
Ведут хозяева-дворняги
Своих породистых собак!

1966

Лолита

В. Набокову

Когда ты будешь старой в восемнадцать
И на тебя я даже не взгляну,
Сладчайшая из всех галлюцинаций –
Кто даст мне с неба новую луну?

Когда ты станешь девушкой обычной,
В привычном окружении юнцов, –
О, вспомни, вспомни, чьей была добычей:
Я не тебя любил, в конце концов! –

А возвращался в собственное детство,
К резинкам, бантам, мячикам и снам,
Где никуда не деться, и раздеться
Невинность предуказывает нам.

Прости мне за ожог прикосновенья,
Но женщины в тебе не узнаю.
Ты будешь жить в пульсирующей вене,
И никогда — со мной, в былом раю.

Играющие солнечные блики…
И голуби садятся на карниз.
Сообщница… И ни одной улики –
И только губы уголками вниз.

Спасительная крошечная метка
Убережёт от бреда в двадцать лет.
По-прежнему надеюсь, что нередко
Ты с отвращеньем произносишь «Нет».

На прошлом никаких кровавых пятен.
Всё девственно — ни боли, ни стыда.
И я тебе, как взрослый, неприятен
И больше — непонятен навсегда.

1971

* * *

Не поддавайся слабости, поэт,
Живой Пизанской башне уподоблен,
Ты падаешь — о, сколько тысяч лет –
На землю, чтоб постичь её подробней...

Вот жук ползёт, как пиво по усам
Желтеющею каплей на травинке...
Пускай я пьян, я это вижу сам:
Лежу в канаве, даже снял ботинки.
1971

Моцарт

Он уже не нуждается в людях,
От оркестра земли вдалеке...
Человек — это только орудье:
Искра музыки в Божьей руке.

Ничего ему больше не надо.
Он на полном довольствии звёзд.
Под ночную свою серенаду
Спит, как сторож, покинувший пост.

Отомкнули гармонии двери,
Не басово-скрипичным ключом...
Моцарт спит и в грабителей верит.
Этой музыке всё нипочём.

1974

Наплыв из прошлого

Красноголовый дятел стучал в сосновый ствол,
Как дачный обыватель, садящийся за стол.
Фигуру ту понуро, словес не подберу,
Обслуживала Нюра в закусочной, в бору.

Несло подкисшим пивом от столика в тени...
Каким я был счастливым и молодым в те дни!
В хмелю любовной клятвы, восторженный нахал,
Лобзал я Нюру. Дятла не видел, не слыхал.

Сегодня ночью спятил я, наконец, с ума:
Мне тот приснился дятел, а не любовь сама.
Не призрак, тень былого, у памяти в углу, –
Живой, красноголовый, стучащий по стволу.

1975

* * *

Ударит ласточка в стекло,
Влететь не сможет... –
И наше время истекло:
Век жизни прожит.

Я воплотился! Для чего?
Для встречи чуда!..
И ухожу, как божество, –
Туда, отсюда...

Не плачь над прахом дорогим,
Довольно страха!
Твоя любовь нужна другим.
Ударь с размаха!

Осколки брызнут в пустоту
Небесных комнат,
Где я стихи свои прочту, –
Тебя запомнят...

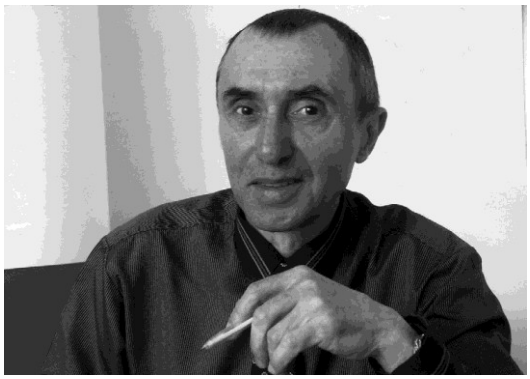
О, не жалей пролитых слёз,
Всё не напрасно!
От гиацинтов до берёз
Земля прекрасна!

И даже эти кирпичи
Пустого склепа,
Преображаются в лучи!..
Но люди слепы...

Прозрей, любимая, прозрей!
Теряя силы,
Беги за мной ещё скорей,
Чтоб воспарила...

1976

Анатолий Николин. Тишина, пустота, недоказуемость… Рассказы



Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1946 г. в Екатеринбурге. В возрасте шести лет вместе с родителями переехал на Украину. Окончил факультет русской филологии Донецкого государственного университета. Автор десяти книг стихов и прозы, выходивших в издательствах Киева, Донецка, Симферополя, Санкт-Петербурга и Дюссель- дорфа. Публикации в журналах и альманахах «Брега Тавриды» и «Манускрипт» (Крым), «Ренессанс» (Киев), «Москва», «Белый ворон» (Екатеринбург), «Семь искусств» (Ганновер), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф). Член-корреспондент Крымской литературной академии. Живет в г. Мариуполе.

Анатолий Николин мастерски и неспешно раскручивает сюжет. До самого конца не удаётся понять, куда ведёт его повествование: курортный роман, размышления о культуре и бескультурье или литературное исследование наследия поэтессы Цветаевой, о которой, казалось бы известно уже все? Или может просто зарисовки со множества натур? Второй рассказ, даже и не рассказ вроде, а зарисовка. Воскресный день, а делать нечего, тоска. Когда мы в последний раз выпивши вина просто прыгали в поезд и мчались куда-то просто затем чтобы умчаться? И выходили на станции с диковинным названием, находили покой и также непонятно как возвращались? Может быть в молодости, а может и во сне.

Константин Емельянов

ПАЛОМНИЦА ИЗ АХУЗЫ

I

Монастырь открывался сразу. За широкой, густо поросшей развесистыми дубами и спутанными кустами ивняка и орешника поймой Донца, золотыми подвесками сияли его купола и белели старинные, высокие стены.

Я сворачивал с широкого моста, — по нему торопливо и робко прошмыгивали автомобили и степенно шествовали немногочисленные – был обычный будний день — паломники. Дальше нам было не по пути. Им нужно было к Богу, а мне — на пляж. В одной руке я нёс прихваченный из номера полиэтиленовый пакет с двумя бутылками только что купленного в допотопной будочке с надписью «Пиво. Сигареты. Халодные закуски» ледяного пивка «Старопрамен» и увесистым хот-догом. Молодой торгаш-армянин с чёрными усиками и отсутствующим взглядом бархатных глаз пренебрежительно отсчитал сдачу: «Захады, дарагой...

В другой руке, пыхтя от напряжения, я тащил резиновый надувной матрац. Матрац я надул предварительно в номере санатория, чтобы не мучиться с ним на пляже. С облегчением бросил его на траву под старой, корявой акацией и пристроил кулёк к дереву. Тихая река тусклыми кругами ходила вдоль тенистых берегов. Солнце пряталось в белесоватой дымке, и на той стороне реки, возле монастыря, кипел прибывавший народ. Наблюдавшие за порядком донские казаки, молодцеватые хлопцы в синих

шароварах и с нагайками в руках, то и дело от скуки спускались по широкой лестнице к воде и неодобрительно поглядывали в нашу сторону...

Соседями моими на пляже были: одинокая молодая мамаша, похожая на девочку короткой стрижкой и худосочной фигуркой, терпеливо возившаяся с толстым белобрысым мальчонкой лет пяти. И рыхлая матрона, развалившаяся на подстилке в окружении термосов и кастрюлек. В воду купаться толстуха не ходила, место облюбовала в кустарнике и всё время что-то жевала, позвякивая бесчисленной кухонной утварью. Насытившись, она переворачивалась на спину и, выставив огромный, ходуном ходивший живот, принималась громко и сладко храпеть.

Молодая мамаша, напротив, никак не могла угомониться. Она то силой тащила хныкавшего и вяло сопротивлявшегося отпрыска в воду – «не хочу-у, — обречённо и тупо повторял он, — там змеи живут...» — то заставляла его принимать солнечные ванны. Занятие, на мой несерьёзный взгляд, взрослое, даже пенсионное, а не мальчишеское.

«Давай я тебя на матрасе покатаю», — предложил я. И поспешил успокоить взволновавшуюся мамашу: — «далеко от берега мы не уйдём. Не волнуйтесь, всё будет в порядке…»

Мальчонка быстро и весело согласился, я покатал его, насколько позволяли прибрежные заросли и заводи. Он весело и немного испуганно повизгивал, старательно изображая руками вёсла, и поднимал тучи брызг.

Мамаша, у которой стало вызывать подозрение моё внимание к её сыну, внезапно засуетилась и заторопилась. «Пойдём, Николенька, нам обедать пора...»

Они быстро свернулись и поспешно скрылись в дубовой роще поймы...

Я остался один и ясно осознал, что мне – скучно.

«Вам женщина нужна», — выслушав мои жалобы, сочувственно обронила медсестра, помогавшая мне на ваннах.

Я сидел, погружённый по горло в овальную хромированную ёмкость, в которой бурлила и пенилась целебная вода. «Сходите вечером на танцы, познакомьтесь с холостячкой ваших лет. Их здесь хоть пруд пруди. Приезжают, чтобы мужика подцепить… И куда ваша скука денется»,— засмеялась Варя, закатав по толстые локти рукава халата и обмывая пустую ванну. «А где у вас танцуют»? — «В диагностическом центре. На первом этаже. Каждую пятницу. Перед началом лекция, но это недолго», — заверила она.

Сегодня как раз была пятница. После ужина я отправился к диагностическому корпусу на разведку.

Это было новое двухэтажное задание, усердно посещаемое днём, и сиротливо-пустынное вечером. Красивым полукругом оно расположилось в редком сосновом бору. В воздухе стоял сухой запах нагретой хвои. Земля была усеяна жёлтыми иголками и павшими сосновыми шишками. Их чёрные, похожие на мелкие груши, тельца всюду валялись, заставляя оступаться, как на льду...

В прохладном вестибюле висело написанное синей гуашью объявление: в восемнадцать часов в фойе состоится лекция о жизни и творчестве Марины Цветаевой. Читает... Фамилия и инициалы были написаны большими печатными буквами: Ж. М. Славутская...

II

... У входа на территорию санатория, если следовать от автовокзала по главной улице, задирался к небу металлический полосатый шлагбаум. Поодаль желтела крашеная будочка охранника и тянулась цветочная клумба. Перед клумбой высился большой гранитный валун, и на нём

серебристо мерцала металлическая табличка с выбитыми на ней буквами: «Здесь, на бывшей даче Лазуренко, проживала – следовала дата: начало прошлого века — известная русская поэтесса Марина Цветаева».

«Где тут могла быть дача этого Лазуренко, — прикидывал я, обозревая тенистые склоны Донца и редкие пустоши на его берегах. Всё давно заселено, благоустроено и не оставляет места для территориальной импровизации. — Может быть, там, где санаторный парк переходит в лес?..»

В этом месте я любил слоняться поутру. Тут стоял напоминавший немецкую кирху скромный флигель, и к нему вели две-три асфальтированные дорожки. Кто в нём жил и жил ли вообще – было непонятно. Из дома никто не выходил и никто туда не входил. Скорее всего, здание находилось на балансе санатория «Святые Горы» и использовалось в качестве складского помещения. Что в принципе не умаляло его гипотетически великого прошлого. Именно здесь и могла быть та самая дача ставшего знаменитым Лазуренко, о которой упоминала надпись на гранитном валуне.

Скромный старинный флигелёк прятался в окружении редких в этой местности туй, сухих и колючих. И мне казалось, что в этом доме проживала если не сама Марина Цветаева, то не менее известная и легендарная личность.

Вечером, усевшись как ребёнок, в первом ряду случайно составлен-ных стульев, я принялся с интересом разглядывать всезнающую Ж.М. Славутскую.

Народ на лекцию собирался медленно и неохотно. Пришла аккуратная, ухоженная старушка в очках, вероятно – бывшая учительница. За нею две высокие моложавые женщины, из интеллигенток. Скучный юноша в квадратных очках, с рыхлым и бледным лицом…

Впорхнули две застенчивые девушки-подружки. Они уселись, сконфуженно краснея и перешёптываясь.

А под конец вошла низенькая полная брюнетка с мопсом на длинном поводке. Она села рядом, усадив пса на колени. Он угрюмо выставил чёрно-жёлтую морду и недовольно посапывал.

«Леон, нехорошо разглядывать незнакомых людей, — дёрнула за поводок женщина. И виновато улыбнулась: — Извините, он маленький...»

Славутская была женщина скорее уродливая, чем красивая. Бесформенно-полная жгучая брюнетка с густыми, грубо и на скорую руку мелированными прядями на гладко зачёсанной голове. На подбородке завивались два-три седых волоска, а в уголках рта темнело подобие усиков. Тёмные, мрачные глаза смотрели равнодушно, словно её силой затащили на литературный вечер.

Она не спешила начинать лекцию. Водрузила на стол, домовито протерев его платочком, старенький мобильный телефон и потрёпанную записную книжку.

Никаких книг или чего-либо напоминающего конспект я на журнальном столике не усмотрел.

Лет Славутской было... Да, думаю, за пятьдесят. Глядя на её мелкую невозмутимую возню, я удивился. «Любит ли она стихи и Цветаеву – женщину бурную и непоследовательную? Ненавидевшую порядок в жизни, любви и поэзии. Или Славутская живёт своей, разумной и целесообразной жизнью, а любит совсем иное? То невразумительное и беспорядочное, что сопровождает жизнь и творчество каждого поэта»...

Пока я предавался своим мыслям, подошла работница и что-то спросила.

«Ну, и шо мине ваш завхоз, — заговорила она резким, противным голосом. — Передайте, шо я здесь почётный гражданин. И проживаю с ведома городского мэра. Не верит – пускай спросит у главврача»...

— Кажется, у неё неприятности? – спросил я у соседки с мопсом.

— Ерунда. Каждый раз одно и то же. Жанна Моисеевна живёт в Израиле, и приезжает сюда каждый год. На родину. И поселяется в санатории. Ей действительно разрешено, — улыбнулась она.

— За какие заслуги?

— Вы видели стелу у входа?

— Ну да. В честь Цветаевой…

— Его установки добилась Жанна Моисеевна. Это она раскопала про поездку Цветаевой в Святые Горы...

— Вы-то откуда знаете? Вы местная?

— Нет, из Харькова. Отдыхаю здесь каждый год. И всё время хожу на лекции Жанны Моисеевны.

— Любите Цветаеву?

— Вообще-то да, — смутившись, призналась она. — И Жанну Моисеевну тоже...

— А её за что?

— За любовь к Марине Ивановне... Тихо, Жанна Моисеевна начинает...

Начала, впрочем, Славутская свой рассказ уже давно. Пока мы с соседкой выясняли, кто есть кто, Жанна Моисеевна вошла в исследовательский раж. Она брызгала слюной, бурно выражая негодование по поводу «фальсификации истории».

— И шо та Тиночка Меликянц может знать про Малороссию, шо она берётся описывать в деталях? – прихлопывая ладонью по записной книжке, кричала Жанна Моисеевна. — Я приехала в Москву и говору: Тиночка, говору, милая, так нельзя. Я ж родом с этих мест и знаю, шо со станции нельзя добраться до посёлка иначе, как на волах. Какая почтовая линейка, какие полчаса езды! Тиночка, говору, вы ж ни разу в этих краях не были! А в меня сосед был, дед Степан Бугрий. Он ищо десять лет назад был живой! Тот Степан до революции всю почту до посёлка возил со станции на волах. И пассажиров тоже. Поезд тогда ходил только один – с Москвы до Киева и обратно, не то шо сейчас, аж противно! И приходил до станции поздно вечером. Так шо ехали они с Софочкой Парнок на волах до Святых Гор почти всю ночь. И к утру были у Лазуренков. К утру, а не в полдень, как пишет в книжке Тина Меликянц! Она взяла теперешнее расписание и посадила туда Марину с Софой! А она ж даже не представляет, как люди тогда жили! И вообще, — взволнованно заёрзала Жанна Моисеевна. – Лазуренко тут не при чём. Он арендовал дачу у графа Кантемира, это были его владения. Вся отэта земля с Донцом, камышами, лесами и лягушками... Был он, конечно, мужик справный – я говору теперь про Лазуренко, — пояснила Жанна Моисеевна, – не то, что старый граф. Тот сидел в Петербурге и ни до чего не касался. Я так детям и объясняю: трутень был наш граф наподобие Нехлюдова у Льва Толстого... Дед Степан в молодости служил у Лазуренко конюхом. Лазуренко тут навёл порядок и сдавал дом всем желающим. Народу приезжало много, особенно на богомолье. Даже, бывало, флигель немецкий, построенный графом для своей любовницы, княгини Воробьёвой, и тот сдавал. Такая пропасть народу в старину приезжала... Сейчас тоже много бывает, но до тех времён не дотягивает...

И вот, значит, — удовлетворённо вытирая толстыми заскорузлыми пальцами в серебряных перстнях уголки тронутого лиловой помадой рта (отчего её губы казались губами русалки), произнесла Жанна Моисеевна. –

Приехали они ночным поездом из Крыма, где гостили у Волошиных. Тут им и парное молоко, и речка с лягушками, как любила Мариночка... Она ведь море недолюбливала, Марина Ивановна. Хотя имя носила морское и на море бывала часто...

Молодые женщины, сгорбившись, старательно исписывали школьные тетрадки. Наверное, учительницы, конспектируют для памяти...

Молодой человек, развалившись на стуле и выпятив губу, слушал с подчёркнутым равнодушием. Девушки хихикали, шепчась о своём. Они умолкли и восторженно раскрыли рты, когда Жанна Моисеевна заговорила о лесбийском характере путешествия Цветаевой и Софии Парнок.

Подробно и со вкусом, как и подобает женщине Востока, она описала предысторию, начало и расцвет любовных отношений Цветаевой и Парнок. Процитировала написанное Цветаевой в Святых Горах стихотворение про «псов соседовых»:

1. *«Запах розы и запах локона*
2. *Шелест шёлка вокруг колен»...*

Добавив, что «это» — «про Софочку». И умолчала, что адресатом стихотворения был мужчина, — муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон:

3. *«О, возлюбленный, не выведывай,*
4. *Для чего развожу засов»...*

— Как вы думаете, — спросил я новую знакомую, когда мы вышли после лекции. – Что такого особенного ищет в Цветаевой Жанна Моисеевна?

Мою новую знакомую звали Зоя Павловна.

— Можно просто – Зоя, — смущённо добавила она.

— Я кое-что думаю, но не хотела бы говорить. Деликатная тема...

Было сумеречно, но свет в корпусах не зажигали. Повсюду, шарахаясь друг от друга, прогуливались в потёмках перед сном отдыхающие. Где-то далеко играла музыка – в соседнем санатории начались танцы на свежем воздухе...

— Знаю, — засмеялся я. – Потому и допытываюсь.

— Она очень увлечённый человек, — стала рассказывать Зоя. – Перетормошила всех чиновников, пока установили этот валун. Вы же знаете, как у нас относятся к памяти поэтов. Тут до неё даже не знали, кто такая Марина Цветаева…

До пенсии она работала учительницей русской литературы в местной школе. Каждую осень, в день рождения Марины Ивановны, она выводила детей на берег Донца. На свободный урок... И рассказывала о Цветаевой, о той эпохе... Не знаю, как вам, а мне такие люди нравятся, — улыбнулась в полутьме Зоя, и я подумал, что любовь к подвижничеству и подвижникам у нас, наверное, в крови.

— Теперь никто не прививает детям любовь к прекрасному, — с осуждением заговорила она. — Вот и воспитывается молодёжь на американских боевиках и дешёвых сериалах...

— Ну да, — согласился я.

— Жанна Моисеевна восьмой год живет в Израиле. Но не проходит года, чтобы она не приехала в Святые Горы. Как паломница на богомолье. И живёт целое лето.

— А как же семья — дети, внуки?

— Да вот так, — неопределённо пожала плечами Зоя. – Она внука очень любит, Элика. Рассказывает о нём почти на каждой лекции. Приходите через

неделю, — предложила она, тряхнув крупной мужской головой с волнистой стрижкой.

— Опять лекция о Цветаевой?

— Ну да. У неё договор с администрацией, две-три лекции в месяц... Ну вот, мы и пришли, — вздохнула она; у небольшой, корявой сосны светился вход в санаторный корпус. – До встречи, — Зоя протянула руку и по-мужски крепко пожала мою:

— Спасибо, что проводили. Спокойной ночи...

Ночью мне не спалось. Я заварил с помощью кипятильника чай и долго потягивал крепкую чёрную жидкость, обдумывая события этого вечера.

В полночь разыгралась гроза. В окне то и дело вспыхивала молния, и далеко на горизонте метались, словно испуганные птицы, холодные летние зарницы. Сосны глухо и протяжно гудели, раскачиваемые ветром. Треск старых стволов и вой ветра сопровождали мою невесть откуда взявшуюся бессонницу и странные, сумбурные мысли. Мне казалось, что жизнь сложна и непонятна, и что мы сами делаем её такой. Скрываем, что хотели бы сделать всеобщим достоянием, и кричим на всех перекрёстках о том, что сами же считаем ложью.

Подлинные причины поведения Жанны Моисеевны были странны и нелогичны. Они не вписывались в канву общепринятой морали, и вытекали из чего-то внутреннего и глубоко скрытого. Казалось, стоит сказать об этом прямо, и жизнь изменится, станет другой. Лучше или хуже — не знаю. Но в ней, наверное, не будет места традиционной иерархии.

На этих словах я закрыл глаза и стал засыпать. Но и во сне мне привиделась эта странная женщина, и я вёл с нею нескончаемый диалог, как это бывает в сновидениях...

Утром ничто не напоминало о ночном дожде и тяжёлых, непривычных мыслях. Кроме павших за ночь сухих веток, обнаруженных мною на обычно тщательно расчищенном терренкуре. Да непривычно пушистого и мягкого ковра из сосновых иголок на мгновенно впитавшей в себя ночную влагу песчаной святогорской земле...

III

В санаторной столовой я сидел у распахнутого в пушистый сосняк окна. Очередной посетитель распахивал дверь, гардина надувалась и панически опадала, как сдутый футбольный мяч, едва дверь за ним с треском захлопывалась.

Вооружившись ножом и вилкой, я огляделся. Всё те же, знакомые с первого дня, давно примелькавшиеся лица: худая жеманная женщина в старомодном платье с оборками, любительница творога и шиповника. Немолодой угрюмый горный мастер из маленького шахтёрского городка Снежное — с угреватым лицом и шишковатым носом. С видом преступника, приговорённого к каторге, он поглощает овсянку и что-то бурчит себе в нос. Его зовут Василий Павлович. Он болеет всеми известными и неизвестными болезнями и приезжает в Святые Горы каждый год. И каждый раз с новым диагнозом. На этот раз у него не то силикоз, не то туберкулёз то ли в поздней, то ли в ранней стадии... Василий Павлович перед приёмом пищи проходит медицинские процедуры, и вид у него утомлённый, как после чтения Камасутры.

Слева и наискось, у колонны, на которой время от времени появляются написанные санаторным художником объявления о вечерах танцев или о коллективном посещении святогорских пещер, восседает в одиночестве Зоя Павловна. Она откусывает ломтик чего-либо вкусного и прикармливает Леона. Он жрёт много и жадно. Я тихо завидую его мерзкому аппетиту,

близости к обильно дающей и ничего не требующей руке Зои, и настроение у меня портится. Очевидно, и я, и моё переменчивое настроение относятся к тому же смутному кругу таинственных, невнятных проблем, какими я наделил Жанну Моисеевну...

Мы кивнули друг другу, как старые знакомые.

После завтрака у меня были «иголки».

Санаторный врач, Галина Афанасьевна Александрова, дородная, немного рассеянная и застенчивая женщина – крашеная блондинка с обручальным кольцом на левой руке, — ежедневно приходит ко мне в номер. Полчаса я ничком лежу в полном безмолвии, утыканный длинными иглами, как дикобраз своими колючками.

Пока Галина Афанасьевна раскладывает своё хозяйство, мы успеваем обменяться последними новостями. Она хорошо знает Зою Павловну.

— Мой постоянный пациент. Приезжает сюда каждый год, — доложила Галина Афанасьевна. И, вонзая под лопатку очередную иглу, добавила:

— Хорошая женщина. Холостячка. Так что не теряйте времени…

Я ничего не ответил, потому что думал о том же. Но я не знал, как подступиться к Зое, — что-то в ней было такое, что удерживало меня от решительного шага. А может, я сам себе не верил, как это бывает у пожилых, недоверчивых мужчин.

На очередной лекции Жанны Моисеевны мы сидели порознь. Я, как обычно в первом ряду, а Зоя примостилась сзади.

Она сделала вид, что меня не узнаёт…

Жанна Моисеевна пришла вовремя. Появилась в фойе диагно-стического центра ровно в шесть часов. И утиной походочкой прошествовала к журнальному столику. Деловито и обстоятельно разложила свои принадлежности. Вытащила знакомый мобильник, привычно обмахнула его носовым платком...

Лекция началась незаметно, словно вытекала из дружеской беседы. Всё было точно так же, как и в прошлый раз. С той лишь разницей, что Жанна Моисеевна выглядела раздражённой и озабоченной.

— Жду, когда позвонят из Хайфы, — сердито сказала она. — Давно известий не было...

В Хайфе у Жанны Моисеевны остались дочь с зятем и маленький внук Элик. Там жила и она, – в двухэтажном белом доме в районе Ахузы.

— Сначала мы жили в Кармеле, — о-очень хороший район, — одобрительно кивнула Жанна Моисеевна, – там живут самые уважаемые люди Хайфы. Но зять получил назначение в новую синагогу, и нам пришлось переехать. И конечно, заботы по переезду легли на бедную Лору! Потому шо зять у меня не мужчина, а чистое дитё. Знает Тору, Талмуд и Каббалу, но не помнит, сколько стоит масло в соседней лавочке. О чём, спрашивается, с таким мужем можно разговаривать? – возмущённо вскинула чёрные, с проседью, брови Жанна Моисеевна. – Когда Лора выходила за него замуж, я её предупредила. Лора, говору, эти люди ничего не знают про жизнь, они думают, шо жить – это молиться Богу. Так ты, говору, выбирай, на каком свете тебе лучче – на этом или на том! Потому шо жить одними молитвами вредно не только для тибе, но и самому Яхве...

Жанна Моисеевна с достоинством помолчала, утёрла кончиками пальцев углы твёрдо сжатого рта и нахмурилась.

— Эти хасиды ненавидят жизнь, — изрекла она тоном судьи. – Так ненавидят, шо я не знаю, шо сказать! Мой зять Борух и Элика сделал хасидом, хотя мальчику всего семь лет. Ну шо, скажите пожалуста, можно знать про Бога в семь лет?! Я ему говору: господин Борух, пожалейте своё

дитё, если не хотите пожалеть свою бедную жену и мою дочь. Но он только кривит рот, увесь в бороде, как будто он не Борух, а праотец Авраам, и всё знает лучче мине! Потом надевает на голову красочный марля и начинает раскачиваться, как будто ему сильно хочется в туалет. Ну просто невозможно! Элика он одевает по-хасидски, и несчастное дитё забыло, шо такое обыкновенные штанишки, куда можно запросто пописать. Носит маленький чёрный «шляпк**е**», — не хватало, шоб он надел на него «штраймл»! А потом двубортный «драй фертл» и белые чулки, как Моисей Наумович у Чехова... Бедный Чехов! Так долго болел, шо в конце концов умер от туберкулёза! Потому шо, — без всякого перехода продолжала Жанна Моисеевна, — штаны у настоящего хасида не должны касаться грешной земли... И «штиблет» Элику надевают без шнурков и застёжек, шоб избежать земной скверны. А также шёлковый шнурок, «гартл», вокруг пояса, шоб отделить высокое от низкого... Как зачал этот идьёт Элика, так теперь можно и нос воротить от всего скверного! А на шо, спрашивается, ребёнку все эти причиндалы? — кипя от возмущения, брызгала слюной Жанна Моисе-евна. Она забыла и про Цветаеву, и про «Софочку» Парнок, и про терпеливо ждущих окончания монолога немногочисленных слушателей – перезрелых девиц и тронувшихся умом, изнывающих от санаторной скуки моложавых и свежих, вполне уже бессмертных старушек — ровесниц прошлого века…

В конце горького и страстного монолога Жанна Моисеевна, подобно библейской Деборе, перешла к прогнозам относительно судьбы господина Боруха, — «я тибе заклинаю остановиться, если не хочешь остаться один!»

Поскучневшим голосом — все потроха у Боруха были переворошены, Лоре и Элику возданы родительские почести, и дальше рассказывать было нечего, — Жанна Моисеевна поведала историю поездки Марины и «Софы» в Святые Горы летом 1915 года. Помянула недобрым словом бестолковых исследователей, и коротко рассказала о прошлогоднем паломничестве в злополучную Елабугу…

Я поймал себя на том, что перестаю что-либо понимать. С одной стороны, — размышлял я, — эта странная женщина, Жанна Моисеевна, безусловно, любит Марину Цветаеву. Но возникает вопрос: любит она её самоё или её творчество? Любить несуществующего – точнее, живущего исключительно в виде нескольких томов стихотворений человека, женщину представлялось невозможным.

В том, что стихи Цветаевой в этой истории играли роль незначительную, а, может быть, и вовсе не играли, я не сомневался. За две лекции о Цветаевой я не услышал ни одной цитаты, — ни одного, выдаваемого ею за любимое, стихотворения. Разглагольствования Жанны Моисеевны сводились к мелким житейским подробностям знаменитой поездки и касались трудностей (и прелестей) здешнего быта. Эта немолодая, некрасивая женщина упорно и настойчиво совершала обряд поклонения. И я снова терялся в догадках, в чём его причина и каковы последствия?

Не лучшим образом обстояло дело и с Зоей Павловной.

Домой мы снова возвращались вместе. Дорогой оба молчали, пробираясь в темноте по сухим тропинкам опустевшего лесопарка. В воздухе стоял запах сосновой смолы, и когда мы свернули в боковую аллею, впереди замигали, замелькали огоньки санаторных корпусов. Они радостно и с надеждой на счастливое утро вспыхивали между сосен, как лесные светляки.

— Как в краю друидов, — пошутила Зоя, смотревшая, как и я, перед собой, словно боялась повернуть голову и обратиться ко мне с вопросом. От

смущения она не знала, о чём говорить и что ей делать. Я тоже был хорош: шёл с молодой женщиной и молчал, как будто молчание — наиболее ценимая черта мужского характера. Я был переполнен наблюдениями и размышлениями, и мне не хотелось ничего объяснять.

— Расскажите о себе, — попросил я, вдыхая ночной воздух. – Вечер, сумерки, тишина... Всё способствует тайне или её раскрытию.

— Нет никакой тайны, — улыбнулась Зоя Павловна. — Обычная жизнь периферийного врача.

— Тогда расскажите об обычной.

Я не ждал от неё особых откровений. Просто нужно было занять время, пока мы придём каждый в свой корпус. А идти оставалось недолго: поворот на просеку, а там уже рукой подать. И всё забудется, — привычно думал я. Навалилась вечерняя усталость, и мне не хотелось ненужных признаний. Что они могли изменить в моей жизни? Ничего... Я чувствовал, что в Зое кроется та же огромная сила любви, что и в каждом из нас. И что здесь, в Святых Горах, эта сила была направлена на Жанну Моисеевну с её рассказами и Эликом. И на Марину Цветаеву с Софией Парнок, какой бы странной и удивительной не казалась их любовь. Чувство это безгрешно и беспредметно и, в сущности, не имеет отношения ни к одной из этих женщин. Да и к мужчинам тоже. И вообще – ни к кому и ни к чему, совсем уже безнадёжно решил я.

Из рассказа Зои выяснилось, что Харьков – «большой и шумный город» (на лице мелькнула и растаяла гримаска мимолётного отвращения). Работает она главным врачом физкультурно-восстановительного диспансера. Спортсмены, получившие травму, преимущественно борцы и боксёры, их сразу узнаёшь по бычьему наклону головы и сумрачно-пристальному взгляду; обычные граждане, волей непогоды или дорожно-транспортного происшествия получившие переломы конечностей и проходившие курс реабилитации; дети с недостатками физического развития — вот её ежедневные пациенты, заполнявшие все её рабочее время.

Диспансер располагался в старом купеческом особняке, где протекала крыша и трескались от времени потолки и стены; оборудование было старое, инвентарь и реквизит — советского незатейливого производства, и требовались невероятные усилия, чтобы вдохнуть жизнь в умирающее лечебное учреждение.

Зоя Павловна самоотверженно боролась за возрождение своего диспансера. Воевала с начальством за каждую мелочь: за новые стулья и медицинболы — огромные неподъёмные мячи, которые нужно бросать из-за спины. За добавку к зарплате медицинскому персоналу, улучшение материальной базы — все слова были из лексикона моей трудолюбивой и ответственной собеседницы. Я чувствовал себя виноватым, что злополучный диспансер никому в Харькове не нужен, и его вот-вот за ненадобностью или отсутствием средств закроют. Хотя, по мнению Зои Павловны, к учреждениям образования и здравоохранения нельзя подходить с мерками рентабельности и сиюминутной выгоды. Я удивлялся мужской твёрдости Зои, увлечённо и азартно противостоящей сонму чиновников и недоброжелателей. Её несокрушимой уверенности в победе: «всё равно я их заставлю работать», — твердо сжав и без того узкие, словно они были стиснуты в невероятном напряжении губы, упрямо повторяла Зоя. И чем больше я удивлялся и восхищался, тем меньше мне хотелось слушать и поддакивать. Зоя напоминала Жанну Моисеевну, ругавшую зятя-раввина. Мне казалось, что чем выше уровень духовного наполнения, тем человек беспощаднее и злее. Я не понимал, для чего нужно слушать музыку и читать

стихи. Стремиться к доброте и бескорыстию. Наслаждаться произведениями живописи и балетом, если рано или поздно становишься мизантропом. Я полагал, что искусство, как и любовь, помогает понимать и любить жизнь. Но мне не приходило в голову, что причина любви кроется в чём-то другом...

Зоя Павловна рассказывала и рассуждала очень долго. Мы несколько раз останавливались под фонарём у входа в санаторий, светившимся наподобие диковинного ночного дерева. И со смехом и словами «ну ещё пять минут!» она тянула меня на аллею, уводившую в сумерки, в темноту опустевшего и ставшего безжизненно-ненужным диагностического центра.

— Нет ли там случайно Жанны Моисеевны? – в шутку интересовался я.

— … с толстым блокнотом и допотопным мобильником, — смеялась Зоя.

— … и с разговорами о господине Борухе и маленьком Элике…

Но никакую Жанну Моисеевну в безлюдном и тёмном помещении мы, конечно, не искали, да и найти не могли.

— Как вы думаете, что её привлекает в Святых Горах? Только ли Марина Цветаева? Или что-то интимное? – спросил я у Зои, когда в очередной раз мы повернули обратно.

— Это сложный вопрос, — почти дословно повторила Зоя свой ответ двухнедельной давности. И я понял, что его сложность и уклончивость заключаются в том, что и сама Зоя, какой бы простой она не казалась, разделяет с Жанной Моисеевной те самые таинственные причины, что руководят человеческими поступками. Не бывает, чтобы человек ничего не скрывал. Обычно это и есть самое сокровенное. Оно определяет мотивы его поведения и отношение к жизни. Но всякий раз оно ускользает, как только вы придаёте ему черты видимости. Оно похоже на Время, о котором все знают, но никто не видел его воочию.

«Как ни упражняйся в догадках, — вздохнул я, — правду всё равно не узнаешь...»

С лёгкой душой я расстался с тяготившими меня мыслями, едва мы распрощались до утра. Зоя по-дружески протянула руку, испытывая, вероятно, такое же облегчение. Но в глубине души мне казалось, что наша история будет иметь продолжение.

Мои предположения сбылись нескоро.

Галина Афанасьевна, святогорский мануальный терапевт, приторговывала разного рода биологическими добавками и экзотическими восточными снадобьями. Она предложила испытать индийскую настойку на базе змеиного яда и целебных трав. «Помогает при запущенном общем состоянии. Когда ничего не болит, но вы чувствуете себя из рук вон плохо».

Из рук вон плохо я себя не чувствовал. Настроение у меня было благодушное, и я охотно согласился на эксперимент.

Месяц я пил коричневую дрянь, отдающую некачественным спиртом и коноплёй.

Ничего плохого, однако, со мной не приключилось. И когда Галина Афанасьевна предложила повторить процедуру зимой – «нужно пропить два раза в год» — я с удовольствием согласился.

«Да-да, как же, помню, — заулыбалась она в телефонную трубку, когда я назвал себя. – Разумеется, завтра же вышлю лекарство...»

Обговорив доставку и оплату панацеи, мы перешли на личности. «А помните?..», «А вы были знакомы?..», — то и дело восклицали мы.

Не могли мы обойти вниманием и такую известную личность, как Жанна Моисеевна.

«У неё всё хорошо, недавно звонила из Хайфы. Сообщила, что летом приедет. Читать лекции о Цветаевой и рассказывать о Борухе... А вам

передают привет, — игриво улыбнулась она. – Звонила Зоя, просила передать поклон и номер её телефона. Вдруг вы захотите ей позвонить... Жалеет, что вы уехали, не попрощавшись. А вообще, — грустно добавила она, — у нас большие перемены. Начинается приватизация, и трудно сказать, что будет с санаторием через год... «

Мне тоже стало грустно, что жизнь меняется так быстро. И то, что происходило с нами вчера, сегодня становится предметом воспоминаний. Было жаль, что ничего в ней не повторится, и я больше не увижу Жанну Моисеевну, Зою и угрюмого пса Леона. Оттого, что жизнь так мимолётна и призрачна, хотелось о ней сожалеть и попросить прощения. У кого и за что – совсем не важно...

17 января 2010г.

КИЧИКСУ

Воскресенье, — весь день лежу на диване и читаю.

Осень, скучно, небо хмурое, неприветливое, вот-вот пойдет дождь и зарядит, как обычно, на целую неделю.

В шестом часу вечера одеваюсь, выхожу на улицу. Как пуст, неприветлив и неказист наш городишко в ранние сумерки, поздней осенью! Ветер гудит в обезлюдевших улицах, несет пыльные сухие листья и воет, как голодный зверь. Дома без огней унылы, сгорблены и как будто думают о своем, — о далеком, исчезнувшем в тумане времени прошлом.

А в воздухе уже чувствуется запах приближающейся зимы, первого робкого мороза...

...Никого, пусто. Перебежит дорогу унылой трусцой, высунув длинный ламповидный язык, лохматая собачонка, кося закисшим глазом, — и снова никого...

Но вот затарахтела на всю улицу, переваливаясь на ухабах, расписная цыганская бричка с бойким черноглазым гнедым и толстым длинноусым кучером на передке, — со свирепой рожей и в надетой набекрень фуражке. Он молодцевато, демонстративно не глядя по сторонам, причмокивает, подергивает вожжи и вид у него лихой и победоносный. Сидящая задом молодая, в пестром тряпье цыганка с золотым полумесяцем в ушах трясется, поплевывая семечки, и тупо глядит на выбегающую из-под колес мостовую.

Куда они несутся и зачем – неизвестно...

В сумерках поворачиваю против ветра и выхожу на широкую и пустую Базарную улицу. Лавки, магазины и склады давно заперты и на каждом висит по огромному амбарному замку, сбить который под силу, пожалуй, только мифологическому Гефесту. Ветер и здесь дует, гонит тучи серой пыли, обрывки промасленной бумаги и прочий базарный мусор. Старик-дворник в оранжевом жилете и с папироской во рту невозмутимо сметает в кучи весь этот разнообразный, разлетающийся под порывами ветра сор; ветер разбрасывает, а он – собирает... Зачем, для чего? Ради какой непостижимой цели делает он свою тяжелую и бесполезную работу – непонятно...

От тоски и невозможности найти ответ на мучившие меня вопросы спускаюсь в разместившийся на углу возле старой, облупившейся бани винный погребок с раскачивающимся у входа фонарем. Баня, разумеется, тоже закрыта: в осенние воскресные вечера жизнь в городке замирает во всех ее проявлениях.

В погребке, напротив, шумно, многолюдно и весело. Из гипсовых львиных морд на стене, за мокрой стойкой, торчат медные краники, из них льется, пенясь, в стаканы дешевое красное или желтое вино. За высокими мраморными столиками пьют, курят, галдят и смеются принаряженные по случаю выходного дня рабочие с судоверфи в новых кепках и с тяжелыми, как кувалда, кулаками; бродяги, нищие и подозрительные субъекты с наглыми глазами, в пестрых дешевых галстуках – грабители или воры. Остро и приторно пахнет сладким вином и накурено так, что дым плавает под потолком густым, синим туманом.

Выпиваю подряд два стакана сладкого, тягучего кагора, прикуриваю сигарету у вялого, тщедушного бродяжки с испитым лицом и выхожу на воздух, не в силах дышать смрадом переполненного погребка. В голове шумит, она с бешеной скоростью кружится...

Прислоняюсь к первому попавшемуся фонарному столбу, жадно курю и давлюсь сладкой винной слюной. Потом снова бреду, все куда-то бреду... Куда и зачем?

Наконец почти стемнело. В сумерках прихожу на железнодорожный вокзал, он изнутри ярко освещен. В зале ожидания – наполовину пустой бачок для питьевой воды с привязанной к нему щербатой кружкой, огромный лоснящийся фикус в кадке, пустые, отливающие бильярдным блеском лавки...

На стене большая картина в раме изображает крымский пейзаж – зачем, почему? – бугристое черно-зеленое море с парусником, похожая на мохнатую шапку зеленая гора с цветущим деревом...

В зале ожидания и в кассах пусто. Горит свет, людей – никого, и от бессмысленности «освещения сих опустевших палат» делается еще тоскливее.

«Бежать! Куда-нибудь, — но только бежать от этой серости, убогости, от безлюдья и бессмысленности всего происходящего, точнее – не происходящего!» — приходит в голову сумасбродная мысль. Пересчитываю выуженную из карманов мелочь и покупаю билет – мне уже все равно куда – до незнакомой станции Кичиксу.

Это оказалось совсем недалеко, в получасе езды пригородным поездом. Но расстояние от города до Кичиксу мне безразлично, лишь бы уехать побыстрее от давившей меня душевной и физической тоски.

Сонная от безделья кассирша вручает билет, и почти уже на ходу я прыгаю в готовый отправиться поезд. И через минуту раскачиваюсь в его пыльном, полупустом чреве, оглушенный и раздавленный выпитым вином, грохотом и воем летящего в неизвестность вагона и тоскливым одиночеством.

Выхожу на станции, когда совсем уже стемнело.

Кичиксу – маленькая татарская деревушка, затерянная в степи и ограниченная редкой стеной лесополосы. Пахнет сухими листьями, увядшим лесом. Из деревни тепло и сладко тянет свежим навозом. Мычит не доеная корова и еле слышен убаюкивающий женский голос:

— Фатьма-а, Фатьма-а!..

На околице деревни, на самой границе со степью, непрерывно и беззлобно, словно играя, тявкает собачонка...

Темно, но свет в деревне не зажигают. Мне нравится, что здесь безлюдно и мертво и что жизнь в деревне как будто идет и вместе с тем ее присутствие совершенно не доказуемо. И в этой тишине, пустоте и недоказуемости так легко, привычная давящая тоска уходит, я успокаиваюсь и тут же принимаюсь строить планы на будущее: как я буду жить завтра, послезавтра, — после... Но делиться невнятными и прекрасными планами

мне не с кем, да и незачем: людей, к великому счастью, не видно. Негромко звякнет в тишине пустое ведро да мелькнут, заколеблются таинственные черные тени.

Деревня тихо хлопочет, отходя ко сну.

А за деревней жуткая и черная пропасть ночи, ее бессмысленная и страшная в своей бессмысленности глубина... Черный квадрат Малевича...

Домой я возвращаюсь глубокой ночью, случайно подвалившим к станции поздним московским поездом. И, раздевшись, бросаюсь на не разобранную постель, тупо, по-обломовски, глядя в пустой беленый потолок: Господи, зачем ты даровал мне жизнь?!

1984 г.

КНИГА ЭССЕ «СМЕРТЬ СРЕДИ ВАРВАРОВ»
Анатолия Николина

Сборник историко-литературных
и художественно-философских эссе,
публиковавшихся в разное время
в периодических изданиях России,
Украины и Германии.

Тематика классична и определяется
кругом так называемых «вечных проблем».

ЛИТЕРАТУРНОЕ za za ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Яков Лотовский. Парк культуры юбилейных времен. Небольшая повесть

Лотовский, Яков Калманович. Прозаик. Закончил Литинститут им. Горького, семинар Н.Б.Томашевского. Был членом СП Украины. Книги: "Семнадцать килограммов прозы" (Москва, "Советский Писатель", 1991), "Подольский жанр" (Филадельфия, 1998), «Рассмотрим мой случай, или Резиновый трамвай», Филадельфия, 2007).
Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Театр», «Интерпоэзия», «Зарубежные записки», «Радуга», «Слово-Word», «Вестник», Информпространство», «Артикль», «Кругозор», много печатался в газетах «Новое Русское Слово», «Панорама» и других. Переведен на английский, немецкий, украинский, итальянский, эстонский языки, а также на иврит. Лауреат литературного конкурса радиостанции "Немецкая Волна" (1991, Кёльн, Германия). Живет в США.

Жизнь всего лишь игра. Живи, по данному тебе сценарию, не вздумай заниматься "отсебятиной" и будешь счастлив. Схема проста. Но сможет ли герой повести Нюха, младший библиотекарь не самого центрального Парка, остаться в рамках выданной ему роли? Не прорвется ли наружу его давно забытое Я? Читайте, смейтесь, вспоминайте безвозвратно ушедшее прошлое.

Олеся Янгол

1

И веселенькое же было время на дворе! Его теперь называют "застойным". Я бы еще назвал его "юбилейным". Казенные юбилеи накатывали вал за валом. Не успеет отшуметь один — ан другой катит в глаза. И снова парады-алле, большая раздача наградного металла, фанфары с песнопением и переплясом. И все под фонограмму, чтобы без сучка, без задоринки, а то неровен час кто-то что-то не по делу вякнет или, чего доброго, возьмет фальшивую ноту, или — того хуже — антисоветскую, мало ли моча какая стукнет в голову. Государственные торжества и юбилеи развили в советском человеке вкус к всенародным гуляньям, каковые выплеснулись даже на городские кладбища под видом тризны. Не поймешь — то ли тризна, то ли торжество? С духовыми оркестрами, играющими "День Победы" и вальсы, с разливанным морем водки и горами жратвы. Примогильные столики, накрытые скатертями, с расставленными на них разносолами, салатами-оливье, холодцами да голубцами, горячая картошечка с укропом, водка с вином. Поминальные тосты, переходящие в здравицы. Только что шампанского нет. Вусмерть пьяные между могил. Сыто икающие кладбищенские побируши.

От тех времен остались повсеместно сиять вывески с названиями *Юбилейный, Юбилейная, Юбилейное* на всевозможных заведениях, магазинах, бутылках, одеколонах, мыле, — на чем угодно. По сей день попадаются на глаза там и сям. А какой юбилей они знаменуют — пойди разбери теперь. А знаменуют они всего-навсего 70-е годы и начало 80-х. Их я и называю юбилейными, эти советские годы.

Под такой сияющей вывеской привелось служить в достославное то времечко моему приятелю Науму Соркину, которого по-свойски все прозывали Нюхой.

Танцевальный павильон, сооруженный по типовому проекту в парке культуры и отдыха, где нашел себе поприще мой приятель, просто обречен был на столь же типовое имя — "Юбилейный". А как еще иначе? Сооружение из бетона и стекла своим далеко выдвинутым козырьком над входом и параболически выгнутой вверх крышей напоминало офицерскую фуражку с высокой тульей. Строго говоря, место деятельности Нюхи находилось вне павильона "Юбилейный", в сотне метров от него, под открытым небом, на деревянном помосте, но все же имел он и к павильону касательство.

2

— Внимание, — вещает Нюха в микрофон с равнодушием вокзального информатора. — Уважаемые посетители парка и гости нашего прекрасного города-героя Киева. Через десять минут на нашей центральной эстраде состоится лекция на тему "Достижения советской космонавтики". Приглашаем всех в наш лекторий. Повторяю... — и с магнитофонной точностью повторяет то же самое.

Его призывы через динамики раскатом разносятся по небольшому пространству парка, но не производят никакого эффекта. В парке пусто и мокро. Сеет нудный дождь. У него даже нет сил смыть тополиный пух, что застрял на деревьях, сбитый в войлочные клочья. Небо обложено темной наволочью. На ее фоне проносятся низко разорванные белесые, как дым фабричной трубы, тучи.

Рядом с Нюхой в радиорубке стоит лектор планетария Рубашевский. В руке у него путевка. Похоже, что он сегодня получит свои двенадцать-пятьдесят, не читая лекции: нет слушателей. Если, конечно, Нюха подпишет ему путевку. Рубашевский кротко ждет.

Спустя несколько минут Соркин опять повторяет приглашение на лекцию. Произносит постно, без энтузиазма. Как вокзальный диктор, от которого требуется лишь точная информация. Однако Соркин все же зазывала, и равнодушию в голосе не должно быть места. Но у него свой расчет. Его также устраивает, чтобы лекция не состоялась. Ему бы поскорей попасть в павильон "Юбилейный", где сухо, тепло и светло. Сегодня там будет еще и весело и, скорее всего, пьяно. Парк проводит очередное юбилейное мероприятие с концертом, танцами и дармовым угощением. Оттого Нюха теперь такой постный зазывала. Не чета балаганному или ярмарочному.

Отец рассказывал, что в прежние времена, здесь была конская ярмарка. Теперь коней здесь можно найти только на карусели, в виде облупленных деревянных лошадок. Рядом расположен старейший в стране трамвайный парк. В марте 1961-го он сильно пострадал от мистического селевого потока, что хлынул из Бабьего яра, точно возмущенного решением властей устроить зону отдыха на человеческих костях. Соркин-старший все путал место работы сына, — считал, что служит он не в парке культуры и отдыха, а в парке трамвайном. Интересно, кем отец его там числил: кондуктором, диспетчером, сторожем? В общем, Нюха вполне готов был быть кем угодно после безуспешных попыток найти себе работу с нескладной его профессией кинокритика, которую он получил, закончив заочное отделение московского ВГИКа.

И все же — не кем угодно. Где же еще может быть поприще уместнее для *культурного* человека, как не в парке *культуры*!

3

Нынешний парк культуры и отдыха некогда представлял собою клинообразный островок зелени (12 гектаров) на перепаде расходящихся на разной высоте улиц. Среди полуденного городского ада с его размякшим асфальтом, пылью, взметаемой бешено мчащимися трамваями, скрежетом автомобильных тормозов, с вареными, жареными, пареными пешеходами — здесь, в ложбине, был тихий мирок. Темная зелень листвы, на траве шевелятся солнечные пятна. Они лежат на чуть выпуклых асфальтовых дорожках, на стоящих по их краям, слегка запрокинутых назад чугунноногим скамьям, на пологих куполах цветочных клумб, на людях, собаках, детских колясках, на гипсовой скульптурной группе, изображавшей советскую двухдетную семью, уверенно шагающую навстречу коммунистическому завтра, не смотря на общую облупленность и висящую у кого-то из них на проволоке руку. На всем, что оказывалось в его пределах, парк ставил свою скользящую пятнистую мету, как бы набрасывал маскировочную сеть и стягивал ее при выходе из парка. Был он простым парком для отдыха, почти скверик.

Потом все стало развиваться в сторону "культуры". Соорудили открытую эстраду, павильоны, карусели, танцплощадку. И скверик получил статус Парка культуры и отдыха 2-й категории. Культурные объекты продолжали расти, валили деревья, закатывали траву асфальтом. Тенистый зеленый островок все больше превращался в "очаг культуры". Тишина и покой заменились звуками громкоговорителей, скрежетом и визгом качелей-каруселей, ржавым разворотом колеса обозрения, выстрелами в тире. Птичьего щебета, поскрипыванья рессор на детских колясках, шелеста газет слышно не стало. Культурное строительство ускорилось с приходом кипучего директора Городько. Был он прежде беговым жокеем, но видом скорее напоминал коня, вставшего на дыбы — и ростом, и бешено или испуганно косящим глазом, игравшими желваками, иногда даже пену ронял изо рта. Бывший спортсмен, человек состязательный, он задался целью получить более высокую категорию. Рос штат обслуги. В парке культуры и отдыха — отдыху и покою теперь не было места, зато культура била ключом. Здесь при культуре 35-летний Нюха Соркин и состоял, можно сказать, был профессиональным культуртрегером. С сезонными функциями.

Зимой он числился младшим библиотекарем. Старшего библиотекаря над ним не было. Но он все равно был младшим, пусть и единственным. Был бы он старшим или даже просто библиотекарем, ему причиталось бы жалованья не 62 руб.50 коп., а, скажем, 72 руб.50 коп., а то и все 80 рубликов положь. А это, сами понимаете, уже сильно будет жирно для парка второй категории, если сам директор парка получал сотни полторы. Так что Наум Соркин состоял младшим библиотекарем. Но только в зимнюю пору.

Своеобразие Нюхиной должности состояла в том, что никаких книг за библиотекой не числилось — одни газеты и журналы. Так что "библио" тут не совсем будет к месту. Нюхе полагалось собирать газеты в подшивки, выставлять в витрины под стекло, а журналы складывать стопкой на полочке. Читателей тоже не было. Разве что вот приходил один бесприютный старикан. Зато читатель он был истовый и регулярный, приходил изо дня в день. По существу, ради одного этого деда и должен был

Нюха ездить сюда электричкой, чтобы до его прихода успеть подшить газеты. Когда старик не находил свежей газеты, возмущался и ходил жаловаться по начальству, а если начальство отсутствовало, то передавал жалобы через маркера Бориса Ароновича. Надо сказать, что читака он был заядлый. Прочитывал все газеты от доски до доски, начиная от девиза "Пролетарии всех стран соединяйтесь", что помещался над логотипом всякой газеты, заканчивая составом редколлегии, адресами редакции и типографии, набранных петитом в конце. В свободное же от чтения газет время сей старикан обшаривал все уголки парка в поисках винных и водочных бутылок, брошенных там и сям любителями выпить на скорую руку. Бутылки он сдавал в пункт стеклотары и получал за это какие-то копеечные деньги, что служили ему немаловажным подспорьем к пенсии. Сдал пустую поллитровку — купил батон белого хлеба. По бедности не так уж плохо, да? Ему бы радоваться такой пьяной вольнице. Она тебя кормит. Ан нет. Испорченный советскими газетами с их демагогией, он и свой жалкий приработок выдавал за добровольно-общественную функцию, борьбу за поддержание чистоты. Набрав полную сумку бутылок, он притворно возмущался, что бросать где попало посуду это свинство. Будто не он с увлеченностью грибника шарил по кустам ошкуренной палочкой, с цирковой ловкостью выкатывал и подцеплял нею порожнюю "портвейную" бутылку, в азарте поиска шуровал и в урнах своим посошком, где мусору быть и надлежит. И коль ты такой уж общественный санитар, то отчего, выудив из куста бутылку со щербиной, за которую не заплатят в приемном пункте, ты брезгливо отшвыриваешь ее туда же под куст? Зачем выдавать себя общественным деятелем, когда ты просто ищешь себе пропитание через неприютную твою старость? Нюхе иной раз хотелось высказать это ему, когда тот, оторвавшись от чтения "Правды" и преисполнясь гражданской силы, обрушивал негодования на американских империалистов, сионистов и прочих врагов мира, неизбежно переходя на местных алкашей (как бы подверстывая и их в тот же вражеский ряд), что засоряют парк бутылками. Но как мог Соркин обвинить его в двоедушии и притворстве, если оно присуще было всем вокруг — и Нюхе самому в том числе. Разве Соркин не произносил чужие слова, становясь с наступлением лета "культмассовым сектором"? Когда он брал в руки микрофон и вещал голосом записного советского диктора о соцсоревновании, коммунистическом труде, торжестве идей, всего такого — разве не двоедушием это было?

Да-да! Каждый раз с наступлением летнего сезона с Нюхой Соркиным происходила чудесная метаморфоза, и он из никому невидимого младшего библиотекаря, становился самой видной и слышной в парке фигурой: заведующим культурно-массовым сектором, с жалованьем целых 80 рублей. Как неприглядная гусеница с наступлением лета из личинки преобразуется в пеструю бабочку, так и Нюха выпархивал в свежезеленеющий парк из зимней своей библиотечной личинки. Из *младшего* становился *заведующим*. Теперь его рабочее место перемещалось на открытую эстраду, стоявшую на перекрестке всех парковых троп и на этом дощатом помосте его, бородатого красавца, мог видеть любой мимохожий. Нюхин голос, усиленный динамиками, достигал любого уголка парка. Работал он с вольной, бесплатной публикой, с народной массой то есть. Ему надлежало завлечь ее, собрать вместе, сколотить хотя бы мало-мальский кворум для лекций, концертов, трудовых рапортов подольских предприятий и прочих не ахти каких впечатляющих зрелищ, что числилиь по разделу пропаганды и воспитания массового посетителя парков культуры и отдыха. Его инструмент — микрофон, три динамика-колокольца на столбах по периметру, из которых

один какой-нибудь непременно выбывает из строя, да заемная, казенная словесность. Эта казенщина для него, как броневой щит. Как бы не он говорит. Говорит его функция. И он неплохо владел этим щитом. Даже не без блеска. Вчера, например, Нюха получил одно лестное предложение после проведения *вечера-рапорта* швейной фабрики им. Смирнова-Ласточкина. Подошел к нему один мужичок навеселе и состоялся такой разговор. Нюха замечательно передал его в лицах — как-никак театральный закончил. Точно изобразил характер и манеру выражаться жлобоватого деятеля при культуре. Что-то он от себя, конечно, добавил. Я в точности записал. Слегка только приперчил. Как без этого?

4

— Слухай, борода, шо тебе здесь платят? Не, я — сурьезно. Я, когда ты вышел на сцену, думал, шо это ты будешь лекцию читать, а не этот чмурик. Шоб я так жил! Слухай, так сколько говоришь, ты тут имеешь? Сколько-сколько?! Ты шо — сурьезно? Ой, ратуйте меня, люди добрые! И за эти копейки ты здесь уродуешься?! Иди ко мне. Бросай тут все к чертовой матери — и переходи! Четыреста — гарантия! Ты ж представительный мужик. Ты Евтухова знаешь? Да знаешь ты! Евтухов! Эрнст! Ну, такой представительный из себя, тоже с бородой. Кандидат. Да знаешь ты Евтухова. Он еще с этим всегда напару, с Пальчевским. Ну? Антилеригиозная пропаганда: леригия — опиум. Пальчевского ты должен знать! Ну, Пальчевский же!.. У него батя академик. Академик Пальчевский. Слыхал? Он же ж его батя! Ну, вот. Я ж говорю, шо ты их всех знаешь. Я ему говорю: вот тебе четыре путевки, по двенадцать пятьдесят за лекцию, с трех — тебе, с одной — мне... Так он меня, как отца родного. Интеллигентный человек! Шо ты хочешь — сын академика. Я ж их всех, академиков, кормлю. Они все ко мне с уважением. “Иван Лукьянович, дорогой”. Академики же тоже ж живые люди. Им же тоже ж надо ням-ням.

— Так говоришь, лекций не хочешь? А жаль... Тебе с твоей вывеской и делать ничего не надо. Ты это, выйдешь только и отак от по бороде проведешь... интеллигентно так... И все! И готовченко! И — двенадцать пятьдесят в кармане! Тебе и говорить ничего не нужно при такой вывеске!.. Да и кому ты нужен, между нами девочками, со своей лекцией. Хто их слухает вобше, хто? Вот я и говорю — рукой проведешь от так от о... Все! Двенадцать пятьдесят — гарантия. Устраивает? Да ничего не надо делать, пришел в общество, отметился — и гуляй на все четыре стороны. Пришел, аванс получил, зарплату получил, расписался — опять гуляй. Как я. Ко мне все с уважением. Видишь, прийнял как следовает — хорошо! Между прочим, исключительно коньяк. Понюхай — ху-у! Я ж говорю: исключительно коньячок. И так — всю дорогу под шахфэ. Я их кормлю — они меня поят. Все правильно. Опять же — кумач. Ну который на праздники... Тебе ж нужен кумач? Как не нужен? Хороший, крепкий. Отмотаем. Я ему говорю, завхозу: “Шо ж ты своих забываешь, Петрович?” А я, понимаешь, забегался перед праздниками — там вырезку обещали, там балычок, выпивон там всякий, киевский торт, сам понимаешь. “Где ж тебя носит”, — говорит. Погундел, но отмотал. Немного прижимистый. Но нащёт выставить навстречу бутылку — это в обязательном порядке. Другой выпьет с тобой на халяву, а чтоб со своей стороны — от такой от болт. Не, Петрович всегда бутылочку навстречу, как часы. Сейчас — в сейф. Сейф у него, с колесом, на три проворота. Короче, интеллигентный человек.

— Сидим как-то... А стены у нас — во! Метр семьдесят. Шо ты хочешь — исторический дом. Строили, сам понимаешь, — зодчество. Сидим, значит... Транзистор врубили на полную катуху. Хорошо так сидим... А за стеной — художники, натуралисты, мастерская у них там. Не понимаешь? Натуралисты? Ну, которые девчат в натуре рисуют. Короче, голых как есть. И что ты думаешь, стены — во! — а унюхали. Чуткие они, зараза! Приходит один... Интеллигентный человек! Панове, говорит... Вежливо так: панове... у вас выпить малость не найдется для вдохновения души? Петрович на меня смотрит. Я ему моргнул, он ручку круть-круть, три поворота. Выпили, значит. А он и говорит: панове, желаете сказку увидеть? Пошли. А я когда под газом, куда хочешь пойду. Идем. Заводит он, значит, к себе... И что ты думаешь? Баба — голая как есть. Сидит, стерва... от так от... Мне, бляха-муха, стыдно, а ей хоть бы хны. Сидит как сидела, в раскоряку. А белая вся, как молоко. Груди, собака, здоровые — а торчмя! Не падают, понимаешь, хотя здоровые, как дыни. Он мне: хочешь пойти с ней. А я такой — когда сильно под шахфэ, куда хочешь пойду... Пошли к ней... Ну, сам понимаешь, то-се, пятое-десятое... Но, между нами, хоть и красивая, а шо-то не то. Резиновая кукла, йий-богу. Ни ласки, ни огня.

— Вот библиотекарка наша — совсем другой компот. Начитанная, между прочим, женщина. Я как-то к ней клинья подбил... и это самое... короче: прямо на подоконнике... в рабочее время... У нас подоконники — человек свободно ляжет: зодчество... Так это ж совсем другой компот... Библиотекарка ласковая — и так тебя и сяк... Короче, интеллигентный человек! Меня интеллигенция любит. А куда она денется!

— Слухай, на вечеринке у нас на работе... Я, само собой, под этим самым делом, под шахфэ... Подваливаю к нашей Ольге Аркадьевне... У-у, интеллигентнейшая женщина! Что ты!... Доктор каких-то наук, книжки печатает... Староватая, правда... Но станок еще ничего. А я когда под мухой — очень веселый. Подваливаю, значит, танцевать. Пошла... А я, знаешь, все эти твисты-шейки так шурую, шо будьздоровчик. Ты не смотри, что пузо. О-го-го! Плевать на пузо!.. Танцуем, значит... Поехали, говорю, к тебе. А она: ах, что вы! У меня взрослый сын! А я: ну и что, что сын... Х-х-х-х! Ну и что, говорю, что сын... У меня у самого дочь замужем! Шо ж мы, разве ж не живые люди? А она — вас, говорит, нельзя в обшество впускать! Это, говорю, в которое обшество — часом не в “Знание”? А она: я имею в виду приличное обшество. А в обшество “Знание”, говорю, впускать можно? Она молчит. Сказать, что впускать нельзя, не может — кто ж тебе, мымре, сосватает клиента на твою тягомотину про каких-то там ящуров и прочих бесполезных ископаемых. А если можно впускать, то получается обшество “Знание” — неприличное. Х-х-х-х! Усек? Короче, посадил ее в галошу... Хоть книжек не пишем и званиев не имеем. Вот, и прикинь, кто из нас интеллигентнейший...

— А на что мне эти звания. Я и без них красиво живу... Мебель, то-се, цветной телевизор... короче, квартира от и до — ляля! Слухай, а икона у меня есть — закачаешься! Старая, итальянская, на полотне... Этот... ну, как его... короче, там фамилия стоит... Так ей цены нет, йий-богу. Я тебе ее ни за какие деньги не отдам, ни за какие доллары... Озолоти — не отдам. Слухай, ты в иконах понимаешь? Интересно, на сколько она потянет? Просто так, для интересу. Я ее у сестры забрал. Сеструха у меня есть. На районе живет. Дом, хозяйство, участок семь соток. От батька осталось. Я ей говорю: поделись, зараза! Тебе половину и мне. Мы же ж живые люди — поделись! Ленин сказал делиться. А то я такой человек... канистру карасину — и

спалю! Все спалю к чертовой матери! И будет справедливо — ни тебе, ни мне. Раз по-интеллигентному не понимаешь...

Слухай, так ты серьезно не хочешь лекции? Чего ты? В конце концов, не тебя же, а меня будут сажать. Твоя хата с краю... От так о провел рукой — и все, и готовченко. Двенадцать пятьдесят в кармане. Йий-богу. Честное пионерское. У тебя ж вывеска интеллигентная. Я б с такой вывеской... Слухай, а шо, если и себе бороду завести, а? Йий-богу, заведу! Шоб я сдох! Мы б тогда с Эрнстом и Пальчевским дали бы такую гастроль! Тут, на Подоле, все лекции были бы наши. От и до! Взял бы на себя антилеригиозную. Леригия — опиум народа. О-го-го! Будь здоров — тоже кое-чего соображаем! Шо правда, борода у меня получится седая. Шо ж ты хочешь — мне ж пятьдесят пять, слава богу... Да-а... Пятьдесят пять стукнуло... стукнуло-грюкнуло... Но я еще хлопец хоть куда. Особенно, когда под шахфэ. Сам же ж видишь...

5

Мой приятель Соркин снова нуднейшим голосом произносит сегодняшний свой призыв. Даже кто и услышит, то поймет так: что вот, мол, предлагается вам очередная тягомотина да еще под дождем, которая, сами знаете, и в хорошую погоду невыносима.

Минут пять спустя он выходит на деревянную, щелястую эстраду обозреть зал и окрестности. Его объявления не возымели никакого результата. Глас вопиющего в пустыне. Скамейки мокры и пусты. Ни души. Если, конечно, не считать того же старика-читателя в плаще с капюшоном и мокрой дерматиновой сумкой, куда он собирает бутылки. Он тоже, как и Нюха, вертит головой в поисках себе компании, знает, что для него одного лекций читать не станут. Нюхе, конечно, ничего не стоит запустить лектора и для одинокого старика. Нюха вынес бы на авансцену столик с двумя стульями — один для лектора, другой для себя, поставил бы на стол микрофон на подставке, включил бы, если надо, боковые софиты, придвинул бы к себе микрофон и произнес бы с напускной взволнованностью: “Дорогие друзья! У нас сегодня в гостях лектор общества “Знание” товарищ Рубашевский. Тема сегодняшней беседы: “Достижения советской космонавтики”. Прошу вас, товарищ лектор” — и придвинул бы микрофон к Рубашевскому. И отказываться лектор не вправе. Точнее, он вправе отказаться. Но и Соркин вправе не подписать ему путевку, и он не получит свои двенадцать пятьдесят. Так что Рубашевский никуда бы не делся — заработать-то охота. Но, во-первых, старик слышал эту лекцию уже сто раз и все из одних и тех же уст. Во-вторых, делать посмешище из Рубашевского Нюха не хочет — ему симпатичен этот лектор. Нюхе чем-то нравятся его лекции. Даже не сами лекции — они самые заурядные, — а то, как он говорит, его вид и манеры. Он хорош в своем роде. Он не врет. Он верит в то, что говорит. Рубашевский Нюхе напоминает энтузиастов времен ликбеза, просветителей пролетарских масс. В нем слышна убежденность, и голос у него митинговый. Иногда Нюха представляет себе как жгут его на средневековом костре, а он все гнет свое, что, дескать, наука не подтверждает существование Бога. Пафос всех его лекций антирелигиозный. Одно из главных его доказательств отсутствия Всевышнего банальное и наивное — что вот, мол, летают же наши космонавты наверху и никого там не видели. А почему бы Ему не находиться еще выше космических трасс? Или вовсе в стороне. Публика не очень любит Рубашевского. На ее вкус он сильно ученый и пресный. Нюхе же он нравится. Ему интересно, сидя рядом с ним за столиком на сцене, украдкой

разглядывать его длинноносое, худощавое лицо с выступающей толстой губой, роговые очки, крупные уши, внутри которых Нюхе видна сера, пиджак осыпанный перхотью и лоснящийся на локтях, неглаженый костюм, отстающие подметки, из-за чего его ногам теперь мокро. И в третьих, — Соркин и сам непрочь по-быстрому разделаться сегодня со всей этой докукой и быстрей попасть в павильон "Юбилейный", на праздничный вечер.

Рубашевский терпеливо стоит у радиорубки и ждет решения: выходить ему с лекцией или не выходить. Он кротко примет любой исход.

Чуть поодаль толчется Игорь, добровольный во всех парковых делах помощник. Он выжидательно поглядывает на Нюху своими глазами сен-бернара с опущенными нижними веками, красной их изнанкой наружу. Стоит лишь мигнуть, и Игорь со всех ног пустится выволакивать на сцену стол, стулья, микрофон, софиты. А самое главное для него наступает после лекции: он показывает фильмы. Он способен все проделывать самостоятельно, без чьей-либо подсказки. Причем все делает бескорыстно. Ему достаточно того, что ему доверяют, не гонят прочь. Если бы умел он членораздельно произносить слова и расписываться в лекторских путевках, вполне можно было бы обойтись и без Нюхи. Но он безграмотный и вместо слов издает булькающие звуки, которые Нюха не сразу научился разбирать. Половина его лексикона матерная. Матерщина выходит у него вполне внятно.

Как-то Городько, видя самоотдачу Игоря на культурной ниве, взял его в штат на полставки. Но Игорь эту тридцатку сразу пропил с первым встречным, тут же в парке. И оставался лежать до утра на газоне. Получалось, что денег давать ему нельзя. Ему же во вред. С тех пор Игорю не платят. Но это нисколько не убавляет его рвения. Для него достаточная награда, что его не гонят. А похвалишь его, он и вовсе на седьмом небе: потупит взор и счастливо улыбается. Улыбка у него чистая, как у младенца, целиком преображает его бульдожье лицо дауна с вислыми брылами щек и вывернутыми, провисшими нижними веками.

Теперь он зло зыркает на Нюху, чувствуя, что дело катится к отмене лекции и сегодня ему не дадут развернуться. Он готов даже броситься рыскать по парку и волочь за шиворот, кто попадется, чтоб сколотить мало-мальскую аудиторию, если надо и собой пополнить ее. Но вряд ли ему удастся сегодня найти, хотя бы одну праздную душу. Смеркается, мокро, сыро. Только из бильярдной доносятся горячие голоса и костяной стук шаров.

Бильярдисты — это отдельный мир. Они торопятся к своим зеленым столам мимо эстрады и даже искоса не взглянут в сторону лекции или концерта, выступай здесь даже Кобзон вместе с космонавтами. Они идут играть на деньги. Здесь это запрещено, но они рассчитываются, не очень при этом таясь, разве что слегка отвернутся от окна. Старый маркер Борис Аронович закрывает на это глаза, он имеет свою долю от ставок. Директор знает о том и тоже закрывает глаза — видно, имеет и свою долю от маркера. Один глаз у старого маркера, и в самом деле, почти закрыт, зато другой не по-старчески зорок и даже с искрой. Отсюда впечатление, что он постоянно целится. Возможно, лицо осталось таким от бильярдного прошлого. Впрочем, нет — бильярдисты, целясь, не прикрывают глаз. Просто стариковская асимметрия, часто проступающая на лицах старых евреев. Поздняя осень и зима — лучшая пора для бильярдистов: посетителей в парке мало. Можно, рассчитываться почти в открытую.

Соркин еще раз для очистки совести объявляет приглашение на лекцию и, чуть повременив, подписывает путевку Рубашевскому. Тот благодарит и уходит. Игорь недовольно матерится. Нюхе легче: подошьет себе свежие газеты и отправится в павильон “Юбилейный”, где сухо и светло, праздничный концерт с угощением. Игоря туда не впускают. Как узреют, тут же машут руками и гонят прочь. Слишком благородное заведение для его сопливого вида. Тем более, сегодня, когда все там будут разодеты в пух и прах.

Предстоит торжественная юбилейная акция, Нюха сам не помнит точно по какому случаю. Можно лишь сказать, забегая вперед, что начал ее Наум Соркин казенным служащим культуры и лояльным гражданином, а закончил буйным вольнодумцем, схваченным в наручники. Возможно, это было 30-летие Победы или же форсирования Днепра, освобождения Киева или еще что-то в том же духе. Юбилеи шли сплошным потоком.

6

Прежде, чем идти в павильон, на праздник, Соркину надлежало привести в порядок газетные подшивки, пока дед-читатель не успел нажаловаться. Нюха метнулся в свою комнатушку, не имевшую окон, и сноровисто стал подшивать свежие газеты.

Кто-то постучал в дверь.

— Входите, — крикнул он, не поднимая головы. Наверное, дед — больше некому. Не терпится ему погрузиться в газетные листы.

Дверь открылась, Нюха взглянул и слегка опешил: на пороге стоял Люсик Барабой.

С Люсиком он встречался только раз в году, на именинных застольях у их общего друга. С чего это вдруг он пожаловал? Люсик — человек серьезный, партийный, борец за семейный достаток, которого достичь никак не умел. Дело непростое: трое детишек. И все дочери.

— Не помешаю, Наум? — спросил он.

— Да нет. Садись, — не скрывая удивления, сказал Нюха и искоса взглянул на часы. До начала мероприятия оставалось четверть часа.

— Есть мужской разговор. Пришел посоветоваться, — сказал Люсик, аккуратно вешая курточку на спинку стула и отряхивая зонтик.

— Извини, я буду слушать и подшивать газеты. Читатели ждут.

Читатели! Нюха напускал важность на свое занятие.

Люсик помолчал, не зная, как приступить. Видно, дело у него деликатное.

— Понимаешь? Пришел посоветоваться с толковым человеком.

Нюха оторвался от подшивки и взглянул на него с юмором:

— Нашел толкового человека.

— Больше мне не с кем, — произнес Люсик Барабой довольно драматически. — К тому же ты умеешь держать язык за зубами.

И посмотрел на Нюху испытывающе.

— От жены бабу завел, что ли? — спросил Нюха.

— Ты что! — воскликнул Барабой. Он даже шуток не позволял на счет своей добропорядочности. Нюху всегда убивала его серьезность.

Люсик замолчал, видимо, еще раз прикидывая, стоит ли Нюху посвящать в какую-то свою тайну, раз тот позволяет себе такой легкомысленный тон. Возможно, успел пожалеть, что тащился сюда на трамвае, даром тратил время и деньги на проезд, лучше бы купил ситро для дочек.

— Понимаешь, какое дело... — помялся он. — Только давай так — строго между нами. — Он сказал это с такой серьезностью, что у Соркина холодок побежал по спине. — Есть возможность свалить за бугор, в Америку. С семьей.

— Есть возможность — сваливай, — сказал Нюха безразлично. Он таких вещей не понимал: взять и свалить. И не оттого, что патриот, просто не был готов. Даже думать о таком не хотел.

— Ты бы поехал, если бы предложили? — спросил Люсик и посмотрел Нюхе в глаза.

Ничего себе: "предложили". Кто это у нас предлагает такое? На каких условиях? Он понял по Люсика виду, что есть какие-то условия. Хотел было спросить, но решил не лезть в эти темные дебри.

— Мне и здесь хорошо, — сказал Нюха, как бы любуясь своей работой, с подчеркнутым старанием прокалывая газеты наконечниками ботиночных шнурков и, продевая их сквозь прижимную планку, завязывал заботливо, точно детский ботиночек.

— Тебе хорошо: у тебя один ребенок. У меня — трое. Я никак не могу их здесь обеспечить.

— Тогда езжай, — говорит Нюха, — раз предлагают.

— Есть один нюанс, — говорит Люсик, отводя глаза.

Нюха молчал, начиная догадываться, что дело тут нечисто.

— Понимаешь... предлагают давать информацию о всяком... разном... Ничего такого... О наших, как им там живется и все такое.

— Кто предлагает? — спросил Нюха.

Барабой помолчал и тихо уронил в тишине:

— Органы.

— Какие органы? Половые? — сказал Соркин, делая попытку все обернуть шуткой и показать, что он не готов к столь серьезной теме.

— Не валяй дурака. Сам знаешь какие, — обиделся Люсик.

Нюха знал. Он покончил с подшивкой и потащил всю стопу подшитых газет в зал. Что это? Провокация? Проверка на вшивость? Он разложил по столам подшивки и вернулся к Люсику.

— Извини, — сказал Нюха и открыто взглянул на часы. — У меня начинается ответственное мероприятие в павильоне.

— Как мне быть? Ну ты бы поехал?

— Сам смотри. У каждого своя работа. Мне моя нравится, — сказал Соркин. — Вот сейчас надо идти в павильон проводить ответственное мероприятие.

Он давал понять Люсику, что ему незачем никуда ехать. У него и здесь государственной важности дела. За 62 руб. 50 коп. в месяц.

— А сколько ты тут имеешь? — спрашивает Люсик Барабой, чтобы знать стоимость этих государственных усилий.

Лишь Нюха собрался ответить, раздался звонок. Его спрашивают из газеты "Культура і життя". Нюха напечатал там два своих рассказика под фамилией Сорокин, букву заставили добавить для благозвучия. Нюха из-за одной буквы не стал упираться. Перевод на украинский они сделали сами. Звонит завотделом, который и переводил его опусы.

— Вам, конечно, известно, Наум, что идет всенародное обсуждение проекта новой конституции СССР?

— Как не знать, — отвечает Нюха.

Новое в конституции то, что компартия признана руководящей силой уже не общества, как было прежде, а государства. Раньше руководила *де-факто*, а теперь будет *де-юре*. Даже Сталин до такого нахальства не догадался в своей сталинской конституции.

— Как вы, — спрашивают в трубке, — относитесь к проекту?

Нюха насторожился: еще одна проверка на вшивость? Блин, со всех сторон обложили.

— Одобряем, — говорит он заученно, — а как иначе?

— Не могли бы вы откликнуться в газете?

Нюха молчит и про себя думает, черт дернул меня соваться к ним со своими рассказишками. Хоть бы рассказы были приличные. А то так — юмор, хохмачество.

— Текст уже написан, — звучит в трубке. — Позвольте только поставить ваше имя и должность.

Ну, это легче, подумал Нюха, не надо тужиться врать.

— Прочтите текст, — говорит он. Такой вот принципиальный и взыскательный!

Тот стал читать общепринятую казенную жвачку. А Нюха в это время соображает: откажусь — перестанут печатать. Блин, обложили со всех сторон. Люсик Барабой сидел, затаив дыхание. Сообразил о чем речь.

— Ставьте, — говорит он.

— А какая у вас должность?

— Младший библиотекарь, — говорит Нюха. Хотя и на дворе уже начался сезон его большого административного скачка в заведующие сектором.

— Напишем — просто библиотекарь.

— Нет, — уперся Нюха, как на последнем рубеже обороны. — Пишите младший.

— Почему? — удивляются на том конце трубке его внезапной принципиальности.

И тут он говорит так:

— Во-первых, это правда. Во-вторых, звучит лучше. Сами подумайте: народные низы одобряют. Самые младшие.

Там подумали.

— А вы правы, товарищ Сорокин.

— Соркин, — поправил Нюха.

— Какая разница?

— Большая разница, — снова уперся Соркин, на этот раз себе же во вред, и совсем расстроился — лучше бы подписали Сорокиным, пусть Сорокин и одобряет, меньше бы ему лично сраму вышло.

— Хорошо. Спасибо, Наум. Так и напишем: младший библиотекарь Соркин. Кстати, что-то давненько вы не приносили нам новые рассказы, дорогой?

Хрен вам в зубы! Ни черта больше не принесу, решил Нюха, кладя трубку. Чтоб не смотрели на меня, как на своего. Гадко стало на душе. Ну, чем он не Люсик!

Люсик же Барабой сразу сообразил, о чем был разговор, и в результате взор его посветлел. Похоже, решился на американский вариант, поскольку, уходя, поблагодарил Нюху, как если бы тот дал ему добрый совет.

После мужского разговора с Барабоем и телефонного с газетой на душе у Нюхи как-то скверновато было. Послать бы их всех подальше! А тут еще вспомнился вчерашний случай с лектором. Проводил лекцию один такой — лауреат ленинского комсомола. Вещал о техническом прогрессе в Советском Союзе. И вдруг вне какой-либо связи сморозил такое: евреи — это ни что иное, как “пятая колонна сионизма” в нашей стране, это, мол, всем известно. И Нюха вместо того, чтобы съездить ему по роже, или хотя бы как-то возразить, промолчал. Более того, по окончании лекции поблагодарил в микрофон за интересную беседу и прочее, как требовал того ритуал, да еще пожал руку. Хотя бы руку не пожимал гаду! Потом весь вечер мысленно бил его по роже, и тот падал с катушек и грохался на деревянный помост эстрады. На глазах пораженной публики. Но облегчения не испытал. Лучше разок бы дал бы ему по роже наяву, пусть даже не сильно, чем сто раз посылать его в нокаут в своем воображении. Интересно, знал ли лауреат, что Нюха — еврей, ”пятая колонна”. И вдруг он подумал, что Люсик Барабой под видом мирного еврейского иммигранта как раз и собирается быть в Америке чем-то вроде ”пятой колонны”. И там наверное, кроме него есть и другие такие же. Но сионизм-то здесь при чем?

7

Уже отгремела концертная программа в павильоне “Юбилейный”, и все работники парка, теперь сидели по бокам танцевального поля за столиками с конфетами и кислейшим вином. Директор парка Городько с инструктором райкома партии гуляли отдельно в кабинете Люсьены, заведующей павильоном, которая на правах хозяйки накрыла стол, спроворила угощение и выпивон. Вместе с ними гуляли поэт-фронтовик Буйлов и массовик-затейник Федя Циркель, отработавшие в концерте.

Буйлов сочинял довольно складные стихи о войне, о павших на фронтах героях. Напевно декламировал их со сцены. Но все слова у него была затасканные, набившие оскомину. Ни свежего словечка, все побывали в длительном употреблении и в незыблемых сочетаниях. Когда он говорит “раны”, значит тут же будут непременные “ветераны”, а если — “солдата”, то неизбежно жди “автомата” или “комбата”. Выступал с праведным гневом. С

ненавистью смотрел в зал. Казалось, что ненавидит он публику за то, что она жива, что не погибла. Ему бы хотелось видеть вокруг слезы и рыдания. Он простирал над аудиторией руки, как ангел смерти Азраил крыла свои. Казалось, пепел, прах сеялся с них, оседая на слушателях. Это был его час. Он бил в свой поминальный колокол. "Герои умирают не тогда, когда у них перестает биться сердце, а когда о них забывают", — всякий раз, предваряя чтение стихов, провозглашал он свою коронную, где-то ухваченную фразу. Он мстил не врагам. Он мстил тем, кто забыл павших, полегших, и такие, конечно, здесь среди присутствующих, есть. И он зорко всматривался в темноту зала. Он и отставным товарищам по оружию ставил на вид их благодушие. "Все ветераны — кто на рыбалку, кто у телевизора, кто в "козла". А я не могу себе позволить, не имею права. Я сажусь за стол. Я должен писать стихи, — провозглашал он. — Пулю или осколок, предназначенные мне, получил в сердце кто-то другой. Как я могу играть в "козла"? Я обязан писать стихи о погибших вместо меня." Иной раз, грешным делом, возникало у Нюхи подозрение, он не знал даже, чем вызванное, возможно, оловянными его глазами, неубывающей его злостью, прямизной спины: уж не служил ли он в карательном СМЕРШе или в заградотрядах во время войны? И защитники родины, от которых Буйлов представительствует, от его рук и полегли. Уж очень он тревожен и неугомонен. Под старость лет боится возмездия. Стихи о павших бойцах — возможно, форма его покаяния.

Бывалый конферансье Федя Циркель насквозь цивильный, житейский человек, с хищноватым лицом пожилого Чарльза Спенсера Чаплина, предстал сегодня в военной форме, что, казалось бы, больше приличествовала фронтовику Буйлову. Федя работал завклубом в МВД и ему полагался мундир с красными погонами прапорщика и поскольку был военный праздник, ну как тут не предстать при полном параде, напомнить всем, что он человек государственный. Праздничные концерты он всегда начинал, крича в микрофон: "Снова и снова мы поздравляем..." — как бы подливая масло в бушующий огонь торжеств, будто перекрывая гул праздничных толп, хотя слушало его десятка два человек. Излюбленный свой зачин он перенял у дикторов, что ведут крикливые репортажи с первомайских и ноябрьских демонстраций, когда их разгар уже идет на убыль. И еще у записных конферансье на правительственных концертах в Кремлевском Дворце. "Снова и снова мы поздравляем наших дорогих соотечественников со славным праздником Великого Октября и от всей души желаем новых свершений...", "Снова и снова мы приветствуем в этом зале..." К тому же в этом его "снова и снова" была и своя хитрость. Обычно он прибегал, запыхавшись, с других праздничных халтур, перед самым началом, иногда даже с опозданием, и это его вступление, как бы давало понять, что он никуда и ни на что пустое не отвлекался, что полностью вовлечен в ход празднования. Публика могла даже испытывать неловкость, когда он, начиная концерт, с ликованием провозглашал: "Снова и снова мы приветствуем наших славных химиков, которые самоотверженным трудом украшают нашу Родину". Публика даже могла устыдиться, что не знает, что вся страна, оказывается, всенародно празднует День Химика и передовые ее, верные сыны в лице Феди Циркеля уже не раз ("снова и снова") успели воздать должное химикам, а ты вот, темнота, не в курсе дела, так не будь хоть теперь безразличен, горячей аплодируй.

За барский стол было звано еще одно лицо: Олег Германцев, артист с ленинской темой. Но он с холодной вежливостью отказался: не его круг. Германцев обретался в иных, более высоких сферах. Участие его в концерте

влетело парку в копеечку, зато одно его присутствие повышало ранг культурной акции. Олег Германцев продавал себя на самом высшем уровне. Для того он завел себе внешность старого социал-демократа, а ля Жорж Плеханов — седые вислые усища, седая грива с коком, перстень на руке, степенный дог на поводке, трость — аристократ. Тема его концертов была возвышенная и строгая: показать Ленина интеллигентным и благородным, а также "живее всех живых". Хитрость была в том, что от себя он не говорил ни слова — сплошь цитаты, никто не подкопается, если захочет уличить, поймав за язык. Тонкость же состояла в том, чтобы и видом своим, и манерами, и намеками на некий подтекст показать насколько теперешние партийные нравы и руководители совершенное не то, что прежде, при Ленине. Нет-нет, товарищи, все у нас, конечно, по-ленински, но все же... все же... И не подкопаешься под него — сплошные цитаты из классиков марксизма.

Как-то встретился он мне в джинсах. Я чуть не покатился со смеху. Представьте себе Жоржа Плеханова в джинсах и кроссовках, его многодумное чело со свалившейся на лоб прядью, усища, свисающие ниже подбородка и закрывающие рот, важность и даже угрюмство — и Wrangler's blue jeans.

На его "Лениниану", которая именовались театром одного актера, никто, конечно, не ходил по доброй воле. Принуждали делегатов съездов и слетов, провинциальный партактив, солдат, школьников. Театральная, неврастеническая манера исполнения, прихотливые всплески эмоций, с телесным вздрогом, умным поднятием брови и профессиональные, какие-то кельнерские пассы кистями рук в паузах должны были восприниматься, как столичные сценические манеры.

Однажды он выступал здесь в танцевальном павильоне, оставив своего спокойного дога привязанным за ножку стола в культотделе павильона. Был утренник, видимо, по случаю очередного дня рождения Ильича. Пригнали ПТУшников. Германцев со своими плехановскими усами, перстнями, тростью и глубокомысленными паузами (чтобы публика вдумывалась в ленинскую глубину ума), — и гомонящий от скуки зал, заполненный подростками в униформе. "Плеханов" несколько раз надолго замолкал, давая понять, чтобы зал утих. Один раз в открытую потребовал тишины, не выходя из строгого образа, и наконец протестующе стукнув стулом, резко ушел со сцены. В культотделе он выразил нам, организаторам, свое негодование, что не сумели подготовить аудиторию к благоговейной тишине, давая тем понять, что может дать сигнал об этом куда следует, отвязал своего дога и уехал. Примечательно, что при всем своем недовольстве, путевку с тройной оплатой подписать у худрука не забыл. За восемь-десять минут сей Плеханов-Ленин со своим догом получил рублей около сорока, что составляло половину Нюхиного месячного жалованья — летнего, завсекторского.

Ну как мог Олег Германцев, пребывая постоянно в образе основоположников русского марксизма, закусывать в такой пошлой компании? Скорее всего, и сама компания не огорчилась его отказу. Его присутствие внесло бы в застолье неестественность, даже некий сюрреализм. Хотя каждому очень любопытно увидеть, как можно выпивать и закусывать, когда усища загораживают рот. Должно получаться, как в том сказочном случае, когда по усам текло, а в рот не попало. А может, и он был рад закусить, да просто не мог, поскольку ест только дома, надевая что-то

вроде наусников. И сигарету в таких усищах не зажжешь, разве только трубку.

А вот любимца вольной парковой публики, старика Коваля, артиста оригинального жанра — "нанайская борьба" — и не думали приглашать к привилегированному столу. А все потому, что его номер не был "идейным", чтобы сидеть за привелигированным столом, а чистой развлекаловкой. Не было в нем казенной идеологической нагрузки, а ежели и была, то очень отдаленная, типа дружбы советских народов, малых в том числе. "Нанайская борьба" пользовалась неизменным успехом у посетителей парка. И в самом деле, сколько ни смотришь ее — всегда помираешь со смеху. Для тех кто не знает или забыл — напомню. На сцене две куцые фигурки в меховых шубах, намертво вцепившиеся друг в дружку в борцовском захвате. Они комично волтузятся, ставят подножки, дерутся ногами, катаются по полу, подхватываются на ноги, на мгновение замирают, раздумывая какую каверзу учинить сопернику или норовя зацепить его ногой, и вдруг снова взрываются в яростной борьбе, беспощадно трясут друг друга за черти. Наконец один из нанайских борцов вздымает другого над головой вверх ногами — и тут меховая шкура сползает с них и публика вместо двух борцов видит перед собой очень пожилого артиста Коваля, насквозь пропотевшего из-за этой возни в меховой полости с приделанными к ней чучелами двух сцепившихся борцов. Оказывается, этот пожилой человек на четвереньках изображал яростную схватку, то цепляя рукой себя же за ноги, валясь на бок или по-собачьи вращаясь вокруг себя, то полувыпрямясь, и в финале вставая во весь рост, чтобы сбросить под ноги свою меховую шкуру и предстать перед хохочущей публикой для аплодисментов. Пусть ты и знаешь секрет номера, знаешь, что внутри под мехами возится артист оригинального жанра Коваль, все равно хохочешь — уж очень уморительно волтузятся два существа, проявляя то коварство, то остервенение.

Коваль после выступления всегда насквозь мокрый. А помыться в парке негде. Так и уходит он восвояси, к трамваю, таща свой большой старый чемодан с реквизитом. Куда ему, потному, в такое изысканное общество. А он и не рассчитывал на это. Ждет не дождется пенсии.

8

Зато к почетному столу был допущен Артур Козырян, хоть и был он не менее потный, чем старина Коваль. В заключительным номере программы, которая как всегда строилась по принципу "от официоза до клубнички", чтобы интерес шел по нарастающей, выступал цыганский ансамбль. Во время зажигательной таборной пляски на сцену из зала вдруг взбежал наш коллега Артур и стал исступленно плясать, азартом своим и самозабвением даже превосходя самих цыган. Этих ресторанных цыган сам он и пригласил.

Несмотря на свою беспартийность, но благодаря природной бойкости, Артур Козырян получил под свое начало загородный филиал парка с лодочной станцией. И вскоре стал извлекать из своего положения разные себе блага. Время было доброе, (вот уж воистину "добрые старые времена"), руководитель страны тоже добряк, который как-то при встрече с комсомольским активом по-отечески говорил, что, дескать, мы и сами были комсомольцами, и делали так: грузим, например, мешки с чем-то там — один мешок на машину, другой себе налево. Так что, какой с Артура мог быть спрос? Лишь бы все было бы чин чином, и чтобы без идеологических вывихов.

Теперь Артур бешено тряс плечами, вскидывал колени, вывертывал ногу и так, и сяк, и позади себя, беспощадно ударяя себя ладонями по всем частям тела, стучал каблуками, одновременно обеими руками как бы приглаживая прическу. Сами цыгане поражались его запалу. Видя такую в нем самоотдачу, они били в ладоши, поднося их к его скачущим ногам, и еще больше подстрекали удалыми кликами: «Эх, пошёл! Эх, да распошёл! Да эх, да распошёл! Ха-арошая моя!», точно подбрасывали поленья в огонь его пляски. Горячий плясун и сам не оставался безмолвным. "Чавэ-э-ла-а!" — пронзительно кричал он, напрягая жилы и раздувая ноздри. И весь зал хлопал в лад, поддавая ему жару. Плясал он на совесть, на измор, как шаман. Пот градом катился по его лицу, спина взмокла. Добросовестной, неистовой своей пляской Артур Козырян показывал преданность парковому культурному делу, клялся ему в верности. И в то же время это был искупительный, очистительный акт, доведенный до шаманского накала, изгнание грехов распродажи казенного имущества лодочной станции.

Сегодня перед началом работы зашел он к Нюхе в комнатушку со строго-озабоченным, "гражданственным" выражением на лице. Таким лицо у Артура делалось, когда он брал слово на собраниях — прямо государственный муж, на чьих плечах бремя ответственности за судьбу страны. На его всегда плутоватом лице такое выражение забавно было видеть. Все знают, что ничьими судьбами, кроме своей, да и то не слишком, он не озабочен. Но всем это нравилось: даже такой шалопай, как Артур, и тот понимает как нужно вести себя на официальных мероприятиях. Он в эти минуты казался себе "идейным товарищем". У него и голос звенел чистотой и убежденностью, как у подмосковного пионервожатого, и "принципиально" напрягались крылья ноздрей.

С таким вот "гражданственным" лицом он и явился в Нюхину конуру. Точнее, вошел он с обычной своей плутоватой физиономией и пошел всегдашний треп, шуточки, как делишки, то да се. Это потом он вдруг посерьезнел, посчитав, что предмет предстоявшего разговора того требует. А предмет был такой.

Обозревая свои владения, то есть берег озера, где находилась вверенная ему лодочная станция, он обнаружил в лопухах валявшуюся статую, которую он в последовавшем разговоре с Нюхой настойчиво называл памятником.

— Я вгляделся в него внимательно, и у меня в глазах потемнело. Ты себе представить не можешь чей это памятник! — Он немного помолчал, внимательно изучая Нюху, достаточно ли тот заинтригован. На его лице теперь добавилась боль, будто он нашел памятник с могилы их с Нюхой общего деда, или что-то наподобие того. — Это памятник Зое Космодемьянской. Представляешь? Тот самый памятник, который — помнишь? — стоял в скверике на Контрактовой площади.

И он по-граждански сокрушенно воззрился на Соркина, ища сочувствия.

— Какой же это памятник, — сказал Нюха. — Это статуя.

— Какая разница?! — воскликнул он, показывая Нюхе на неуместность здесь жанровых определений, когда речь идет о таких кощунственных явлениях.

Конечно, Нюха помнил эту гипсовую статую серийного производства, когда она и в самом деле была почти святыней.

Как было не помнить! И я помню. Извините, что вставляюсь. Мы, подольские школьники, маршировали к ней под треск пионерского барабана

и надсадные, гнусавые звуки горна, которые больше походили не то на звуки узбецкой зурны, не то на исступленные крики мартовских кошачьих поединков. В ногу идти не получалось из-за нечеткого барабанного боя и срывавшегося горна. Поэтому мы не столько шагали, сколько брели, пиная по пути жестянки и камушки. Мы бы и непрочь по-солдатски помаршировать. На уроках военной подготовки очень у нас получалось же. Особенно, когда мы шли по школьному коридору, мимо классов, среди тишины уроков — как раз, когда военрук не велел топать. Но именно тогда мы маршировали, как какие-нибудь юнкера, изо всей силы, твердо и разом ставя ногу на вощеный паркет, лишь бы досадить учителям, что за дверьми чинили допрос нашим однокашникам по теме учебных занятий или читали нотации, и наша железная поступь вынуждала учителей пережидать грохот и с недовольной гримасой коситься на дверь, а особо нервных с возмущением высунуться из класса.

Пионерский наш отряд влекся по Подолу в очередной раз давать торжественную клятву на верность делу Ленина-Сталина в скверике на Контрактовой площади. Там перед клумбой стояла гипсовая статуя в человеческий рост героини Зои Космодемьянской: ватник, стриженая под "полубокс" головка, босые ноги и связанные за спиной руки. Фигурка партизанки-страстотерпицы, канонизированной советской властью, была также культовым предметом для отправления пионерских обрядов на Подоле, поскольку другого изваяния поблизости не было, если не считать бюста Мичурина в соседнем круглом, без деревьев скверике, который меньше был пригоден для таких обрядов. Впрочем, если бы не было Зои, и Мичурин сошел бы. Он ведь тоже — мы своими глазами видели в кино — был героем и патриотом, когда отказался ехать за границу, в Америку, не соблазнился на буржуйские калачи. Выходит, что Люсик Барабой, которому нужно трех дочерей кормить, оказался умнее Мичурина — и патриотом станет, и девочки будут расти на буржуйских калачах.

— Значит так. У меня есть прекрасная идея, — сказал Артур. — Надо восстановить этот памятник. — Он по-прежнему называл статую памятником. Слово “статуя”, видимо, не отвечала масштабам его намерений. — Молодежь совершенно пошла циничная, ни во что не верит. Мы восстановим памятник и создадим торжественный ритуал.

Это была пора, когда над Киевом поставили Большую Бабу из нержавеющей стали, названную Родиной-матерью.

Нюха посмотрел ему в глаза: шутит или нет? У всех у них, парковских, была странная манера говорить надвое — на грани шутки и серьеза. Несет какой-нибудь официоз будто бы серьезно, а посмотришь — в глазах бесенята. И пойди пойми его. Скажешь ему: что за чушь собачья? А он тебе: да я же пошутил. А скажут ему: что это ты шутки шутишь с серьезными вещами, а он тут же ответит: какие могут быть шутки, я так считаю, это мое мнение, и говорит уже на голубом глазу.

Артурово “мы” Нюху насторожило. И он постарался иронией охладить его пыл.

— С церемонией снятия покрывала, — продолжил Нюха в тон Артуру, — с митингом, торжественным концертом, клятвами и прохождением колоннами с равнением на статую.

Нюхиной иронии Артур не расслышал. Глаза Артура разгорелись.

— Неплохо бы пригласить представителей ЦК комсомола из Москвы, ветеранов войны и партии, — продолжал Нюха тонко иронизировать.

Артур решительно не воспринимал иронии. Нюхе и самому вдруг померещилось, что выходил из него не свой голос. Слова вываливались целыми блоками, ирония была лишь смазкой. Без нее застряли бы в горле.

Артур не выдержал и выпалил:

— Вот ты и напишешь сценарий! Ты ведь сценарист. Все остальное я беру на себя!

В ответ Нюха лишь неопределенно хмыкнул. Артуру нужен был политический капитал для прикрытия своих делишек. "А мне оно зачем? — размышлял Соркин. — Что меня заставляет вещать казенные слова в микрофон? А без микрофона они застревают в глотке и становятся невыговариваемыми (как это слово). Микрофон для меня связан с враньем, официозом. Почему я вчера не нашел силы дать отпор лауреату?"

После столь самозабвенной пляски и своего проекта по восстановлению кумира для назидания молодежи Артур Козырян был вправе претендовать на приглашение к кабинетному пиршеству. И он был приглашен. Нюхе подумалось: каковы же грехи у властей предержащих, если, замаливая их, они возводят над городом такого колосса, как Стальная Баба.

9

Украшением начальственного застолья была Стелла, из всех парковских наиболее сегодня заметная и красивая. Красивой она была всегда, но сегодня — и вовсе раскрасавица в своем вечернем туалете: длинной до полу юбке и белой батистовой блузке с пышным жабо, которое еще более подчеркивало ее полную, наполовину открытую грудь. В каком бы углу зала не оказывалась Стелла, все взоры следовали за этим жабо. Даже когда на сцене шли выступления, все больше глядели на Стеллу, что стояла на виду, у сцены, раскрасневшаяся и благоуханная, со свернутой в трубку программой концерта и по-хозяйски следила, чтобы все шло без задоринки. Она каждый раз по лесенке всходила на подиум и объявляла в микрофон исполнителей, красиво, "по-московски" выговаривая слова. Затем спускалась по лестнице, приподняв длинный подол юбки, и Нюха всякий раз подскакивал к ней и галантно протягивал ей руку, и она одаривала его благодарным взглядом и тайным пожатием пальцев. Нюхе приятно было состоять при первой красавице, приятно, что нашлось и для него хоть какое-то применение на этом празднестве.

Румяное лицо, пышно взбитые волосы и это умопомрачительное жабо на груди делали Стеллу главным аттракционом вечера. Инструктор райкома просто не мог не положить на нее глаз. Уже по одному этому удостоена была Стелла гулять с первыми лицами за закрытыми дверьми, а не с остальной парковской сошкой, сидевшей за столиками с уксусно-кислым вином и глазурованными пряниками. Она хохотала там, пила шампанское, кокетничала, произносила тосты за культуру Подольского района, а также советской страны в целом.

Хозяйка павильона Люсьена, кругленькая и необыкновенно проворная дамочка, уже несколько раз с пылающими щеками выбегала из кабинета, взбегала по лестнице на балкон, в бар, в "безыдейное", злачное место, где можно выпить коктейль и потанцевать рок-н-ролл, как бы кусочек Запада, но все же на советский лад — с мошенником-барменом, недоливавшим коньяк в коктейли. Туда не добивала с первого этажа агитация и

пропаганда, увязала в клубах сигаретного дыма и звуках музыкального автомата.

Через несколько минут Люсьена возвращалась с корзинкой, с наброшенной поверх и оттопыренной полотняной салфеткой, будто кто-либо из нас, постно и кисло гулявших, мог сомневаться в ее содержимом. Глядя на эту партийную гульбу за счет павильонных прибылей, некоторые, и Нюха в числе первых, не выдержали и метнулись в гастроном через улицу за вином.

10

Избранные закончили пировать, когда танцы в павильоне уже были в разгаре, а танцоры — под хмелем: Нюхин почин по винно-водочным броскам в гастроном был подхвачен широко. Они бы пировали и дальше, но, видимо, Стелла побудила их выйти на люди, на танцевальный паркет. Ее сегодня могло удовлетворить лишь множество восхищенных глаз на себе, а не пара-другая. Подхватив Стеллу, инструктор с размахом завальсировал с ней в центре паркета. От инструктора сильно веяло дармовым коньяком из бара, где он запрещался к продаже кроме как в коктейлях. Подвыпивший фронтовой поэт тоже не отрывал от Стеллы хмельных, жадных глаз. И при первой же возможности словил ее в свои объятия и закружил в вальсе. Она не посмела ему отказать, ибо это означало бы отказать павшим на фронтах.

После этого пьяневший на глазах инструктор уже промашек не давал — не выпускал Стеллу из своих рук. Он просто облапил ее, обнял в охапку. Она изнывала от такого откровенного напора. Ее лицо было пунцовым от конфуза. Она старалась вежливо отстраниться от партнера подальше, но ей удавалось только отклячить зад, облитый ниспадающим шелком, узковатый на Нюхин вкус.

Все это происходило под музыку и пенье. Пели Нюха с Геной, парковым стажером из театрального института, игравшим на рояле. Вот уже четверть часа без передыху, возбужденные вином, они распевали в микрофон модную песенку “Пора, пора, порадоваться на своем веку”. Пели по доброй воле, на радостях, не преследуя корысти, не как Артур, пустившийся в перепляс с цыганами. С ними поначалу включился петь Серега, радист павильона, с которым они на троих выпили четыре бутылки “плодово-выгодного” по рупь-двенадцать, он же за ними и в гастроном бегал, если быть протокольно точным. Но Серега сильно фальшивил, портя исполнение. Они прогнали его с эстрады. Как вскоре оказалось, совершенно зря. Серега обиженно ушел к себе в радиорубку. Ему, может, больше других нравилась эта песенка из ”Трех мушкетеров”. У Сереги были все основания обижаться на Нюху с Геной: пили на троих, как три мушкетера, а поют на двоих.

Без Сереги песня наладилась. Нюха с Геной исполняли ее на два голоса, со всеми руладами и переливами. Пели с такой же страстью, с какой инструктор прижимал теперь Стеллу. Получалось, что своим пылким исполнением они еще больше разжигали райкомовца, подбивали его к активным действиям, были ему сообщниками. А и в самом деле, пора, пора порадоваться, самое время, — видимо, думал инструктор, — целыми днями торчишь среди всей этой казенщины, выслушиваешь нотации первого секретаря, таскаешься по низовым парторганизациям, сидишь на ихних нудных отчетно-выборных партсобраниях, чтобы в низовые секретари не пробрался случайный человек, сил не щадишь, никто спасибо не скажет.

Пора порадоваться, черт возьми! Самая пора! И он еще плотнее притянул к себе Стеллу, его рука, лежавшая на талии, скользнула вниз по ее упругим шелкам.

И тут произошла совершеннейшая дичь. Вдруг поперек их песни из динамиков раздался голос политического обозревателя Анатолия Максимовича Гольдберга из вражеского радио Би-Би-Си. Он говорил о советских психушках, диссидентах, насильственном лечении и все такое. Видно, расстроенный Серега да еще с пьяных глаз перепутал какие-то там тумблеры и штекера. Серега привык слушать втихую вражьи голоса.

Директор парка бросился в радиорубку. Он стал молотить кулаками в запертую дверь. Очумелый от вина Серега не сразу открыл ему.

— Ты что творишь, гад антисоветский! — страшным голосом заорал Городько, сам бросился к аппаратуре и повыдергивал шнуры питания.

— Что случилось? — ничего не понял хмельной радист.

Ты, падла, мне ответишь! Перед органами ответишь! — разбрасывая пену изо рта, орал директор. — Все! Уволен!

Серега не сразу сообразил хмельной своей головой, что обнародовал свой тайный грех. Свой — это еще ладно. Но так подставить бедного директора! Городько и без того получил сегодня болезненное замечание от райкомовца, когда тот еще был трезвый и казенный, и директор не знал, во что замечание ему отольется. Оказалось, что новый портрет Брежнева, недавно установленный в парке, уже устарел, из-за того, что на нем наш государственный лидер имел всего три золотые звезды, в то время как месяц назад у него появилась четвертая. А ведь совсем недавно Городько заказал новый портрет по поводу третьей звезды. Парк не поспевал за скоростью награждений генсека. (В дальнейшем директор не заказывал новых портретов, а велел пририсовывать новые награды и обязал Соркина внимательно следить за указами Президиума Верховного Совета. А Нюха перепоручил деду-читателю, пусть хоть какая-то общественная польза будет от его чтения). Видя нешуточный интерес райкомовца к Стелле, Городько теперь всей душою жаждал, чтобы инструктор склонил Стеллу к интиму и смотрел на эту пару благословляющим взглядом. Он даже поощрительно подмигивал Стелле сразу двумя глазами, чтобы та была податливей. Вроде бы, ему удалось отчасти искупить свой грех с недостающей звездой, щедро угостив райкомовца. Но для верности было бы славно, если райкомовский инструктор получил бы сполна и от Стеллы, звезды нашего парка. Короче говоря, директор хотел подсунуть живую звезду вместо рисованной. Иначе тот озлится и поставит вопрос о политическом промахе.

А тут — на тебе! — новая каверза: БиБиСи! Это похуже будет, чем недостача звезды. Да еще во время политического мероприятия. Тут диверсию пришьют.

Между тем, инструктор продолжал лапать Стеллу в центре танцевального круга и перебирать ногами по паркету. Распаленный похотью он, похоже, не заметил идеологической вылазки радиста. Он что-то говорил ей на ухо и Стелла старалась отвести голову назад. Потом вдруг она вспыхнула и отпрянула от инструктора. Ей удалось лишь выгнуться назад, поскольку она была крепко притянута жадными руками за талию и ниже. Но она яростно уперлась в инструкторскую грудь, вырвалась и убежала на сцену под Нюхину защиту. Ведь никто иной, как Нюха, весь вечер был так галантен,

подавая руку. “Сволочь такая! Эсэсовец!” — произнесла она всердцах, поправляя жабо на груди.

Оказывается, он среди танца стал склонять Стеллу к интиму, кивая на свой авторитет. Он стал даже угрожать, напоминая, что их, райкомовцев, в народе называют эсэсовцами, выводя это название из последних двух “эс” в слове КПСС, и давал тем понять, что называют так неспроста, учитывая их всесильность и легкость на расправу с неугодными.

Нюхе хорошо бы вступиться за Стеллу перед агрессией партайгеноссе, дать официальному лицу по рылу, но сробел он перед этим лицом, зная, что оно запросто лишит его работы, а то и сделает пакость похуже. Увы, он снова спасовал.

— Поделом. Знай с кем водиться, — лишь сказал он ей не без мстительности.

Пировала, кокетничала с начальством, была рада, что сподобилась особой чести с коньячком, шампанским, а ты тут бегай по гастрономам, пей бормотень по рупь-двенадцать.

Вспыхнув, Стелла повернулась и совсем расстроенно застучала каблучками из зала, на ходу утирая слезы кружевным платочком, который выдернула из кружевного же полурукавчика. Спустя несколько мгновений Нюха виновато бросился за ней вослед. Все парковские сделали вывод, что у него со Стеллой амуры. Впрочем, об этом давно шли толки среди сотрудников и даже завсегдатаев парка, сразу скажем, неверные толки.

Он догнал ее в рощице, в темном уголке парка, неподалеку от городка аттракционов. Она расплакалась сильнее, и Нюха принялся слабо ее утешать. Немного спустя, он понял, что ей требовалось не только утешение, а и утеха, поскольку она стала тыкаться в него своей вздымавшейся грудью, которая у нее торчала дальше ее локтя, когда она поправляла пышную свою прическу или потом, когда забросила Нюхе руки за шею.

Здесь я слегка приторможу, чтобы подумать, стоит ли излагать далее этот эпизод? А если излагать, то показать ли моего приятеля Соркина хотя бы здесь на высоте положения, чтобы восполнить его неуспехи и малодушие, проявленные за два последних дня? Ведь мне ничего не стоит подверстать сюда более выигрышные для Нюхи случаи, хотя бы ради читателя, который всегда желает успеха литературным героям в столь интимном деле — не так ли? И все же прошу прощения — я выбираю правду, какой бы она ни была постной, излагаю так, как рассказывал мой приятель Нюха Соркин. Короче говоря, дальше осязательного, что ли, контакта у них со Стеллой дело не пошло. Нюху, как того ноздревского зятя Мижуева, дома ждала желанная жена (прожужжали четыре "ж" кряду). Тут можно смеяться, но интимная сторона осталась единственной у него вещью, нетронутой принципом того времени — жить по двойному стандарту. Между прочим, оглушительный успех сериала «Семнадцать мгновений весны», шедшего как раз в ту пору, имел глубинное объяснение. Герой его, советский разведчик Штирлиц, стал как бы выражением брежневского времени, когда советские люди так же, как и Штирлиц, жили по принципу двоемыслия: на вид заодно с системой, а в душе — порознь с нею.

Что же касаемо моего приятеля Нюхи, то будь на его месте любой — тот же райкомовский эсэсовец или даже фронтовик — они, конечно, извлекли бы куда больше себе пользы. Да и кто смог бы устоять перед чарами красивой женщины, готовой вам отдаться и даже выпустившей на волю из-

под жабо свои пышные перси? Скажу честно, я бы не устоял. Я ему сказал полушутя, что лучше б он был принципиален в остальном, но не в этом. У Нюхи все ограничилось тисканьем и лобзаньями. Это все, что мог он от себя предложить. Опять же, он не защитил Стеллу от грубых посягательств партийного инструктора, и это еще больше усугубляло его перед ней вину и не давало ему права воровато воспользоваться расположением дамы. В результате, он стал испытывать перед Стеллой двойную вину, ему было крайне неловко перед ней. Пришлось сделать вид, что пьян в стельку. А когда Стелла совсем расстроенно ушла домой, он вернулся в павильон и еще добавил с Люсьеной — мы люди не гордые — коньячку с начальничьего стола, когда погасли последние свечи отгремевшего бала.

11

Когда Нюха Соркин возвращался поздним вечером с этой юбилейной вакханалии, случился ему в трамвае военный офицер. На Нюху почему-то офицерские погоны всегда действовали, как красная тряпка на быка. При их виде возникал в нем род, что ли, бретерства. Возможно, это были остаточные впечатления от идиотизма армейской службы, на которую он истратил три года жизни. Но Нюха — не бык, раздражение свое умел скрывать, как мы в этом смогли с вами убедиться. В пьяном же виде все тогда и вышло наружу. Способствовала тому его досада, что сплоховал он в этот день перед власть предержащими и не раз: подписался под фальшивой газетной статьей, не послал куда подальше порученца в разведчики, не вступился за Стеллу перед райкомовским "эсэсовцем". А накануне пожал руку лектору-антисемиту. В его глазах офицер этот представлял оную власть, государственную машину, а не индивида. На нем он отыгрался за все свое давешнее малодушие. Уж и не знаю, что он ему там наговорил, видно, какую-то антисоветчину. Нюха и сам не помнил. Закончилось тем, что когда Соркин сошел с ночного трамвая на Контрактовой площади, его каким-то мистическим образом уже поджидал наряд милиции и дружинников. Нюха никак не мог приложить ума, как они узнали, что у него с офицером распря в движущемся трамвае. Ведь они ждали именно Нюху, поскольку без лишних слов тут же подхватили его под микитки и поволокли, как только он сошел с трамвайной ступеньки. Находясь под парами, Соркин стал отбиваться, ругаться, лягаться, то есть "оказал сопротивление работникам правоохранительных органов", как будет затем написано в "телеге", которую пришлют на имя паркового начальства. В ответ менты заломили ему руки назад, защелкнули наручники на запястьях и втолкнули в милицейский "бобик". Диаметр наручников нужно было ослабить все-таки, чтоб так не впивались. Привезли в Подольский райотдел милиции, что рядом с пожарной каланчой, в Хоревом переулке, с которой у нас с Нюхой связано много мальчишеских впечатлений.

После школьных уроков нас часто приводил сюда Борька Сидорюк, сын начальника пожарной команды. Это было огороженное высоким забором мужское пространство, почти монастырь. Мы проводили время среди благодушных пожарных. В своих расстегнутых до пупа гимнастерках с вывернутыми свежеподшитыми подворотничками (чтоб не марались) они дни напролет забивали "козла", двигали шахматные фигуры на потертой картонной доске, играли в волейбол через провисшую сетку. Мы с Борькой поднимались на каланчу, — и весь Подол был виден, аж до самой

Куреневки. Слегка полюбовавшись знакомыми видами, мы хватали в обнимку толстую медную трубу, пронзавшую все этажи, отполированную многими телами дозорных, стремительно скользили по ней вниз и плюхались на маты. Здесь однажды, праздно и бездумно лежа почти в той же позе, но уже в обнимку не с вертикальной медной трубой, а верхом на буме, что был элементом пожарно-тренировочной полосы, свесив вниз руки и ноги в горизонтальном покое, я вдруг впервые ощутил сладостные судороги проснувшегося к действию напряженного пола и исступленно-счастливым, соловеющим взглядом обвел этот мирок пожарной команды с устремленной вверх дозорной каланчой, которая, становилась как бы фаллическим символом, что соответствовал моему тогдашнему половому наитию.

Привезли моего Нюху в отделение и втолкнули в тесную камеру, отгороженную от служебного помещения полупрозрачной перегородкой из толстого плексигласа. Здесь уже томилось несколько душ: бомжи, проститутки, алкаши. Но наручники были только на Нюхе. В горячем своем состоянии он стал молотить ногами и орать, чтоб немедленно выпустили его. На его стуки и вопли никто не обращал внимания по ту сторону стекла: капитан со сплошными золотыми зубами во рту писал протокол, другие "менты" входили-выходили, принимали телефонные звонки, занимались рутинным своим делом. Нюха бил ногой изо всех сил, чтобы хоть ослабили ему хват браслетов. Никто ни рылом, ни ухом не вел в его сторону, точно находился он в ином от них измерении, будто в романах Кафки. Но все же он видел, что его грохотанье слышно им. Там был один штатский лоботряс, милицейский подручный, на вид из лимитчиков, готовый из усердия на все, лишь бы прижиться в столице. Он уже дослужился до дубинки. Теперь он грозил Нюхе ею издали, чтобы утихомирить его. Нюхины сокамерники, видя такой бурный порыв на волю арестанта в наручниках, притихли. Один из них сказал успокоительно: "Кочумай, борода. Придет время — отопрут". Видно, музыкант, лабух. Проститутка сказала ему с упреком: "Пусть шумит. Не видишь? Чувака захерачили в браслеты". И сама стала визжать из солидарности. Некоторое время они орали дуэтом в диссонанс. Нюха продолжал наносить удары носками ботинок. Милицейский пособник не выдержал и рванулся к нему. Он стал бить своей дубинкой по плексигласу, к которому Нюха припал лицом. В ответ Нюха еще сильнее стал бить ногой по перегородке. Тогда и тот припал к прозрачной перегородке с другой стороны, испепеляя Нюху взглядом, исходя от ненависти и зависти к городской Нюхиной прописке. Нюха со всей яростью, на какую был способен, вперился в его глаза и по-блатному делал угрожающие вздроги лицом — откуда что и взялось, хотя он ненавидел блатарей. Не будь его руки скованными за спиной, он бы еще нацелил на него «козу»: два растопыренных пальца, "выдавлю глаза". Этот поединок уничтожающих взглядов длился очень долго. Их лица были на расстоянии дюйма. Кабы не перегородка между ними, сцепились бы насмерть. Стальные наручники придавали Нюхе звериную ярость, которой он за собой прежде сам не знал. Наручники делали его как бы частью миллионной армии советских "зэков" и вся их ярость умножала его силы. Он, разумеется, числил себя теперь по разряду политических, но совсем по-блатному готов был выдавить глаза этому прихвостню, ментовской шестерке. В конце концов, щедро харкнул ему в рожу, точнее, на стекло, и слегка отвел душу.

Мало-помалу милицейская жизнь за прозрачной перегородкой утихала. Устав молотить ногами, Нюха Соркин опустился на пол у стены. Рук он уже не чуял за спиной, онемели, отнялись. Он был насквозь пропитан потом в

своем толстом, плечистом пальто. Когда из него весь пар вышел, открылась дверь, вошел дежурный и добродушно сказал: “Ну что, борода, — утих?” Он снял с Нюхи наручники. В Нюхиных руках постепенно восстанавливался кровоток, и они переставали быть ему чужими. Так он и уснул при своих руках, препровожденный в помещение, где рядами, как в казарме в два яруса, стояли койки.

Могу лишь представить себе, каким печальным было его пробуждение в милицейском участке, поскольку сам однажды побывал в его положении. Было муторно ему с похмелья и тошно на душе. Нюха глядел неподвижным взглядом на каштан за окном, как роняет он плоды из слабеющих ветвей, как раскатываются по асфальту, выскочив из развалившегося зеленого футляра, коричневые, лощеные ядра, и думал о том, что совсем сделался конформистом. Что на службе, что на досуге. А ведь, было время, считал себя человеком незаурядным, особым. Смешно сказать, в детстве и юности он даже смерть к себе не прилагал. Пусть все ей подвержены, но не знаю каким образом, однако Нюха считал, что она не про него. Он, Наум Соркин — нечто отдельное, особое. Ему предстоит стать великим и бессмертным. Он даже, представьте себе, собирался основать новое вероучение, стать основателем новой, истинной веры, как принц Гаутама. Или чем-то в таком духе. Не меньше. Но, увы, эту свою особость он постепенно стал сдавать позицию за позицией. И, как видим, оказался в конформистах. По своей вине и оказался. Стал простым смертным по своей вине. Он стал смертным.

Повели нашего принца Гаутаму подписывать протокол о вчерашнем дебоше.

— Сопротивление работникам правоохранительных органов. Пьяная драка с представителем вооруженных сил. Антисоветская пропаганда, — забивал ему гвозди в мозг капитан Василенко, сверкая золотом зубов.

Нюха струхнул не на шутку. Какая пропаганда? Что он там наворотил, в трамвае?

— Товарищ капитан! Какая пропаганда? Я же написал сценарий ритуала вручения новых паспортов. Вы ж помните, тарщ капитан. В начале этого года, — жалостно заблеял Нюха, напоминая о своих заслугах перед родной подольской милицией и ее паспортным столом.

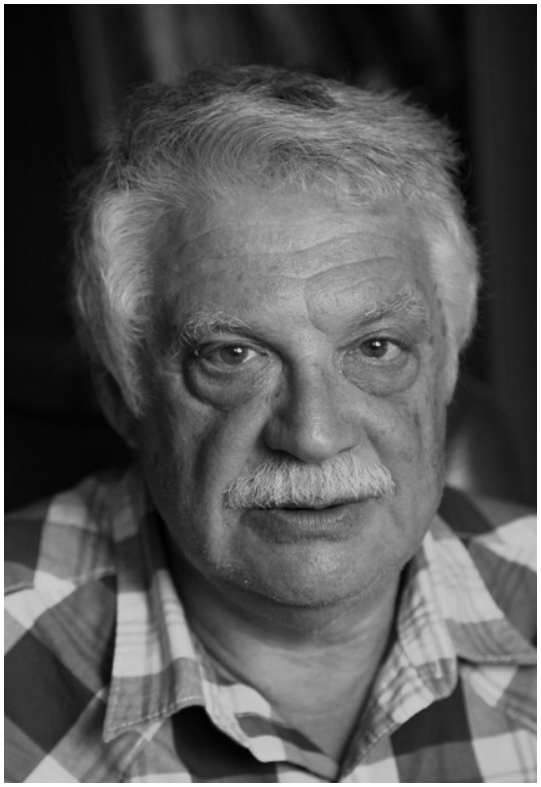
Было дело. Они вместе с давешней Стеллой, кстати говоря, и сочинили. Вышло у них очень даже красиво: ”молоткастый, серпастый”, музыка, фанфары и все такое. Стелла от сценария была в диком восторге. Потом оформила его как дипломную работу в своем заочном институте культуры.

Капитан Василенко посмотрел на Нюху долгим взглядом. Соркин виновато отвел глаза.

— Хороши работнички культуры. Ладно. Смотри, чтоб в последний раз. Заплатишь червонец за ночлег. Подписывай, — сказал он и пододвинул к Нюхе для подписи протокол задержания. И еще один какой-то. Наверно, в другие органы.

Нюха подписал оба, не читая. Подавитесь, козлы!

Иосиф Гальперин. Смотритель облаков, создатель смыслов… Стихи



Родился 23.02.1950, живет в Москве и Болгарии (Благоевградская область, община Сандански, село Плоски). Стихи переведены на болгарский и итальянский языки, публиковались в альманахах и коллективных сборниках, в журналах “Стрелец”, “Крещатик”. Вышло семь книг стихов (Уфа, Москва,

Париж-Москва-Нью-Йорк), последняя - избранные стихотворения "Бронзовый век", издательство "Зебра-Е", 2010 год. В журналах "Нева" и Знамя" вышли две повести и несколько рассказов. "Зебра" выпустила и книгу прозы "Крики во сне" (2011).

Финалист премии "Поэт года 2015". Лауреат первой премии конкурса "Писатель года 2015". Финалист премии "Наследие" за 2016 год.

Кажется на первый взгляд, что жесткий мир, в котором существует лирический герой Иосифа Гальперина, не оставляет места для доброго и вечного. В каждом стихотворении представленной подборки — приговор современному обществу, его рабам и господам. Холодная палитра созданных образов неспособна, однако, скрыть от читателя яркий темперамент, живущий под пеплом рассудочного осмысления. Да и не стало бы стихотворчество Гальперина поэзией, не будь у мастера совершенно особенных, родственных отношений с Гармонией этого мира.

Наташа Борисова

Табор

Корабль утонул, а крыса плывёт и плывёт.
Спасибо Феллини за целое море метафор,
но это же Босх! Разъедающий мозг переплёт,
куда мы попали, гадалка, скажи, - в дичающий табор?

Все тронулись, мечутся в хаосе, бьют по воде
столетней войны, продолжая на ней партизанить,
на лодках спешат к берегам, выгрызая проходы в беде,
и точат по капле престол, Европой по-прежнему занят.

Подводные лодки идут в Новый Свет, усами торпед шевеля.
Сподвижники в хаосе - жертвы, пираты и воры,
и снова, как в древности, крикнет обманщик: “Земля!”,
а там лишь брильянты и кровь. И умные, блин, разговоры.

* * *

Вавилон,
сосущий кровь наших детей
ради башен своих,
иерархий,
халдейских затей,
город глины,
гончарного круга,
звенящих речей,
дымка вони стоит над клоакой твоей.

Город-царь, город-вор, город-раб, город-блуд,
не удержит запор
тех, кто в горы идут,
тех, кто к морю бегут,
кто в пустыне плывут,
кто на звёзды глядят и глаза берегут,
выбирая закон,
а не пряник и кнут.

Край крылатых быков
и распутных богинь,
тороватых купцов,
бородатых святынь,
от бензиновой гари оглохших разинь, -
этот город забудь,
эти храмы покинь.

* * *

Молчок обещает погром.
Захват предвещает распад.
Безволие царских хором.
Подделок циклический ряд.

Надежды вещают под нос.
Лгуны просвещают невежд.
Бумагу готовят под нож.
Норд-ост отменяет зюйд-вест.

Фонарь освещает пятно.
Туман обольщает глаза.
Истерика краденых нот.
Обрубков глухая буза.

Немногих прельщает прогресс.
Безделье прощает застой.
И лишь нетерпимости бес
всё трудится над собой.

* * *

Бог, раздающий откровенья,
как интервью,
как узник после заточенья,
как парвеню,
Бог, раздающий указанья
на каждый чих, -
не командир, а наказанье,
не важный чин.

Но что ж ему — молчать, закрывшись
внутри души,
церковные читая вирши
и витражи?
Зачем тогда приделал руки,
открыл глаза?
Он ждёт ответа, как науки.
Как приказал…

* * *

— Что естественно, то не безобразно, -
сказал людоед, поднимая палец. –
Наши жизнеутверждающие традиции — наше естество,
их глубокие и давние корни
посейчас определяют каждый наш день,
связывают с каждым человеком,
со всем человечеством. –
И он принялся за другую косточку.

Портрет

Ивану Жданову

Смотритель облаков
Создатель смыслов
на выжженных площадках красноречья
Гонитель прочь
сомнения в себе
Объёмный преобразователь ветра
Накопитель
набившихся в глаза соринок
Шпатель
для красок, наносимых на века
Ценитель амальгам
их растворитель
Изготовитель
одиночества на вынос
Невыносимый
Необъятный
Один.

Песенка от лукавого

К вам прибыл гонец от лукавого,
он в чёрном пальто от лукавого,
привёз он пакет от лукавого,
в пакете — лукавый совет:
гребите к себе — от лукавого,
цените в себе — от лукавого,
сомнения все — от лукавого
и в этом сомнения нет!

Лукавый желает вам лучшего,
поэтому он — враг хорошего,
лукавый не скажет вам лишнего,
он любит, что любите вы.
Не бойтесь, не плюнет он в душу вам
(и даже не плюнет он в рожу вам!),
лукавый, он хочет быть ближе к вам,
с учётом запросов живых.

Откройте лукавому форточку,
доверьте лукавому деточку,
отдайте лукавому денежку -
и легче у вас на душе!

Теперь вы живите безропотно,
теперь вы живите бестрепетно,
продайте лукавому душеньку -
и пусто у вас на душе.

* * *

В наших эмпиреях со звукозаписывающей аппаратурой,
с чтением мыслей и разоблачением чудес
водится нечисть безумья, бездумья и макулатуры,
эхо повторов бросает ответы вопросам под пресс.
Видео за невидео, наблюдения и регистрация
вместо решений и результатов, грязный восторг
мелких инстинктов, рефлексов — это протуберанцы
чёрной дыры опрощенья, указывающей на восток.
Скучно подслушивать, гадко подглядывать, прятаться
тошно,
то, что открыто каждому, - отнято у невидимого тебя.
Распродажа селфи-зеркал с изображением понарошку,
вирус проказы в чешуйках распыляешь, душу скребя.

Виктор Брусницин. Игра в подкидного. Новелла

Брусницин Виктор Михайлович, Екатеринбург. Лауреат международного литературного конкурса имени Михалкова, Москва, II конкурса короткого рассказа «Сестра таланта», Карелия, дипломант конкурса «Зов Нимфея», Украина, «Премии им. Виктора Голявкина», Санкт-Петербург, финалист конкурсов «Литературная Вена», Австрия, «Русский Stil», Германия. Дипломант X кинофестиваля «Лучезарный ангел», финалист VII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Публикации в журналах «Урал», «Бельские просторы», «Сибирские огни», «Невский альманах», «Русская жизнь», «Клаузура», «Венский литератор». Книги.

Мужчины, женщины, отношения. Кто голова, а кто шея? Как видит женщина мужчину? А мужчина, как он видит женщину? Все запутано, оплетено вечными вопросами полов. А секрет-то прост.

Олеся Янгол

На скамье в аллейке, по которой неторопливо и редко перемещались прохожие, сидели две молодые женщины современного кроя. Рандеву непритязательного, дежурного накала — сумки, стало быть, пиво. Приятно давила тень от раскидистого дерева. Юля, соответственно, и Вика.

— Ты снова перешла на Вог. Вроде садилась на Вирджинию.

— Представляешь, губы отторгают, у помады становится другой вкус. Ну думаю, зубная паста — дантист порекомендовал новую. Новозеландская — на каких-то замороченных растениях. Вернулась к старой — нет, привкус остался… Слушай, мой зубничок новую технологию освоил — специально ездил в Данию — хочу передний зуб поменять.

— Один что ли?

— Ну да, у меня правый немного косит.

Вика оскалила зубы, показывала. Юля внимательно изучала.

— Правый относительно меня или тебя?

— Меня.

— Да, есть… Старый удалять?

— Разумеется.

— Ой, так боюсь зубной боли! Другой раз думаешь, может, и не браться.

— Ты вроде недавно убирала.

— А куда деваться! Ты же видела мои нижние клыки.

Синхронно прикоснулись к пиву. Вика поделилась:

— Представляешь, у Сашки знакомый в Новую Зеландию укатил на пээмжэ. Рай якобы: Гарри Потер, другие заморочки — там снималось. Водопады, седьмое-пятое.

— И что с них, водопадов, на стол не подашь.

— Да ну, на тебя не угодишь!

Курили, смотрели перед собой параллельно.

— Юлька, у тебя знакомого психотерапевта нет?

— Зачем тебе?

— Ты меня убьешь, жизнь — сплошной стресс!

— Жорка говорит, в России не нужен. Мы, вроде, сейчас терапией и занимаемся.

— Издеваешься? — Вика круто повернулась к подруге. — Ну-ка объясни сон. Иду по аллее, лежит пьяный мужик поперек. Я остановилась, думаю, с какой стороны лучше обойти. Пошла где ноги. Только обогнула, голос жуткий — чистый и звонкий: «Не ходи по воде, она мокрая…» И эхо — «мокрая, мокрая». А?

— Все что ли?

— Еще что-то было, но запомнилось это.

— Ну, вода… там несколько толкований… А-а, вот, какие-то неприятности, но ты сумеешь предупредить.

— Знаю. Глухой номер, дело не в воде, а вот что — «мокрая». Подспудные страхи! Подсознание, сублимация!

— Ага, либидо еще.

— Сама ты лебеда.

Засмеялись… Тянул безобидный ветерок. Моргали, комфортно располагались в прелести объективного дня. Юля посерьезнела:

— Нет, про страхи ты прекращай — чревато. И вообще, я помню как ты в школе Рувку Гуткина уделала.

— Причем здесь Гуткин, он у меня жвачку стянул! Я в детстве жутко боялась собак — страхи обязательно… Между прочим, я Рувку недавно встретила.

— Да ты что — ну-ка!

— Весь из себя. Вспомнили, посмеялись. Визитка где-то.

— Звонила?

— Нет, подумает еще.

— Чем занимается?

— Туристический бизнес.

— Визитку не теряй.

Ветерок гнул свое: не одолевал. Юля:

— Надо на Бали съездить, все нынче туда прутся.

— Мы в ноябре опять в Эмираты, с Осиповыми.

Интервал. Юля:

— Слушай, а мне крокодил приснился. Почему-то красный. Пасть разевает и запах сирени.

— Да ну тебя, во сне запахов не бывает.

— В том и дело, сама удивилась. И знаешь, вспомнила: я в детстве летом у бабушки часто гостила в деревне. У нее сосед был — отвратный дядька. Напьется, жену поколотит, потом за ограду выскочит, падет на колени и плачет: простите, люди, прадед каторжником был, молекула выступила.

— А причем здесь крокодил?

— Так крокодиловы слезы.

— Ты думаешь? А может, насчет того случая — Жорка лупит?

— Фи, еще не хватало — чипсом румяным не поперхнется?

— А сирень причем?

— Черт ее знает — люблю сирень. Ты хочешь, чтоб бензином пахло?

— Да ну тебя — дура!

Захохотали. Успокоились, приложились к пиву. Юля:

— Взяла, глядя на тебя, лёвенбрау — дрянь.

— Чего это дрянь? Нормальное немецкое пиво.

— Щас, немецкое! У нас делают — но, верно, по их технологии. Известно, вода наша, работнички. На брэнд берут.

— Надо на зеленый чай переходить.

— И на питание четырех-пятиразовое.

— Ага, пятиразовое, у нас-то на фирме. Такой урод начальник — гэбэшник бывший. (Ерничая) Дисциплина — залог конкурентоспособности!

Пауза. Юля:

— Впрочем, рожа красная у мужика была — вот и крокодил красный.

Возник порыв ветра, симпатично зашелестело дерево позади скамьи, Вика поправила волосы:

— Правильно, что в ресторан не пошли. Погода — прелесть.

Юля задумчиво молчала, но недолго:

— Так хочу мебель поменять.

— Ты же года три назад гарнитур покупала.

— Да ну, уродский. Скидки были порядочные, мама подначивала — бери. Соблазнилась… У нашей главбухши кухонный гарнитурчик — сказка. Вообрази, барная стойка под мрамор, стеклянный двухуровневый стол.

— На вашей кухне бар — окстись!

— Сломать стенку, я давно думаю… В прошлую субботу квартирный вопрос смотрела? Очень миленькую кухню показали.

— Осиповы отделочку сварганили — это что-то!.. Да, чуть не забыла. Хочу Саньку отравить — ты у нас специалист по этому делу.

— Почему непременно отравить? — сейчас все пуляют.

— Пф, пулять. Представляю Сашку в гробу с дырой во лбу — мерзость! Нет, положительно травить.

— Легко сказать, травить. А чем? Цианистым? — так он пахнет так противно. И потом — доказывай, что из лучших побуждений. Кстати, умертвить с какой целью?

Вика задумалась, но вскоре взгляд сломался:

— Ой да, не придумаю что ли!

— Во-первых, на что ты будешь существовать?

— Верно, как-то не подумала. Пусть живет?

— Простили — постель хоть согреет. Раньше у аристократии специальные люди койку грели.

Из облака вынырнуло солнце, трава рьяно залоснилась, Вика, накренившись, аккуратно сплюнула сбоку скамьи:

— И вообще, ты, говорит, Вука-Вука.

— Вука-вука?

— Ну эта — для стоячки!

— Хи-хи. Пусть живет, конечно!

Юля зажгла новую сигарету, замысловато пустила дым:

— Блин, романтического хочется.

— Это которое?

— Ну… подарок какой-нибудь.

— Причем всегда.

Случился вздох Вики, возможно, романтический:

— Очутиться бы на бале, где-нибудь в семнадцатом веке!

— В России в семнадцатом не было балов. Ассамблеи ввел Петя.

— Да ты что, никогда бы не подумала!.. — Вика лукаво посмотрела на собеседницу. — Значит, говоришь либидо… Слушай, а ты с евреем спала? Обрезание, это что такое?

— Ну ты даешь — крайняя плоть! У них там лишняя кожа, отмахлячивают в детстве. Гигиена, все такое.

— Во-первых, насчет даешь — кроме Саньки давненько уже никому. Виновата. А вот лысенький член — забавно. Трехдневная щетина на щеках и плешивенький товарищ. Прикольно… Слушай, но ведь должен оставаться шрам! А? Остается или нет?

Обе глубоко задумались. Вика:

— У тебя знакомый еврей есть?

Юля озарилась, поразмыслив:

— Гуткин же еврей!

Разом посмотрели друг на друга и задорно засмеялись. Вика осунулась и озадачилась:

— Слушай, мода в газетах пошла писать, что солярии вредны. Уже и раком пугают — просто атаку соорудили. Так психанула, Санька у меня издергался.

— Психанула? Вот дура! Нельзя мужикам показывать свои эмоции.

— Почему это нельзя? Над близкими только и изгаляемся.

— Ты не путай! Папе с мамой — это верно, а мужику ни в коем случае. Этого надо в недоумении держать. Относительная недоступность — чтоб чувствовал себя невежей.

— Ага, разбежался, почувствовал.

— В этом и искусство… А пожалуй, не так — таинственной.

Вика сморщила лобик:

— Да? Какие жуткие вещи ты говоришь.

Где-то неподалеку застрекотал неопознанный механизм. Юля безмятежно курила. Вика задумалась, спустя мгновение сообщила:

— Юлька, я же креститься собралась.

— Иди ты!

— Клянусь цветом лица!

— А я зачем-то плаксивая стала.

— Слезы очищают.

— От чего? Я чиста как червонное золото — несколько раз подряд Жорке не изменяю.

Вика коротко взглянула, улыбнувшись. Отвернулась, посерьезнела. Юля:

— Черт, с пива потянет, а заскочить некуда.

— Тут недалеко открытая кафешка, там биотуалет.

— Нет, я теоретически… А чего мы сразу туда не пошли?

— Да ну, я бы непременно сползла, а ты же знаешь, диета… И вообще тут клево, даже есть романтическое.

— Пожалуй…

Задумчивое удивление Вики:

— Мама говорила, что когда беременная мной была, мочилась часто. Ей все казалось, что выльет меня.

— Хым… Ты собираешься?

— Да ну. Ты же знаешь, то живем с Сашкой, то нет… Да и вообще, успеется. — Посмотрела строго и вопросительно на Юлю. — Вот у тебя квартирных проблем нет.

Подруга вздохнула:

— Нда, квартирный вопрос… Жорка не хочет. Собственно… Да нет, я бы родила… Опять же на работе чуток кризис, в декрет теперь никак уходить нельзя. У нас, похоже, пертурбация грядёт, главбухшу в крупную аудиторскую компанию зовут.

— Да ты что! Ну?

— Ой, такая возня идет — куда бежать! Ничего не ясно.

— Вы же с ней вась-вась!

— А причем здесь она? Скворцов будет решать.

— Ну так юбочку укоротить — тебя ли учить, лебеду.

— Ага, я одна умная! Усуетились все, смотреть противно… Да и он такой махровый… Впрочем…

Вика ущипнула подругу:

— Колись, чего ты, ей богу!

Юля замялась, задумчиво поерзала. Подобралась:

— Тут как-то Ольга, ну главбуха наша…

— Да знаю, знаю.

— …в командировке была. Ну, Скворцов к нам приходит. Девочки, надо чтоб кто-то со мной в налоговую съездил. Кто в курсе по «Омеге»? И смотрит на меня… Любопытно, что я действительно в отчетах участвовала. Но откуда знает? И вообще, Людка тоже занималась, однако он на меня смотрит… Ладно. Я так это скромненько отвечаю: вот — мы с Людмилой Ивановной…

— Это красиво, Людмила Ивановна! Она, вроде, на год всего тебя старше.

— Ну да! Короче, Скворцов вякает: Юля, соберите бумаги, поедем… (Меняет позу.). Едем в машине. Обрати внимание, оба на заднем сиденье. Правда, я по ходу ему там кое-что показываю. Но… не суть. В общем, в налоговой все чики-чики — я даже удивилась. Обычно… Словом, на обратном пути заявляет: вы, несомненно, не обедали, не составите компанию?

Вика в ужасе схватила локоть подруги:

— Да ты что!!

— Я. А это удобно?

Вика потрясла локоть:

— То есть заведомо подчеркнуть неделовой характер!

— Ну да!.. Всё. Обстоятельно так это располагаемся в Астории.

— Блин, ни разу не была.

— Да я тоже… Слушай, показалось, что и он впервые, так неловок был. Правда, она рядом с налоговой…

— Постой, я закурю, воздуха не хватает.

Вика закурила:

— Юлька, а ведь я вашего так и не видела…

Девушка неуверенно пожала плечами.

— Да так, ничего особенного… Ну вот, приносят меню…

— Молчи, молчи! Скворцов заказывает спиртное!

Юля страстно кивнула:

— Юля, мне понравилось, как вы вели себя в налоговой. Должен признаться, я побаивался. Как вы отнесетесь, если мы сопроводим это коньячком?.. Я делаю вот так…

Поднесла ладонь с изящно отогнутым мизинцем ко лбу и потрогала бровь. Одновременно потупила взор. Подняла уже взгляд.

— В обед коньяк я прежде не испытывала, но отчего же. И потом, странно было бы вам отказать.

— Юлька, я умру.

— Итак, Хеннеси. Ну там, на обед ничего особенного, я специально выбираю самое умеренное. Понятно, после восприятия разговоры. О фирме, естественно, поначалу. А дальше пру в наглую. Вы подвергли себя немалому риску, угостив меня коньяком. Я — женщина, от чего совершенно не намерена отказываться, отсюда существо любознательное и озабочена как вся женская составляющая фирмы, впрочем, и мужская — о вас мало что известно в отношении личной жизни… И слушай! Неужели я с этой стороны могу представлять интерес, произносит он?

— Вот перешница!

— Я, само собой, делаю глаза. Шурую. Прежде всего, вы совершенно респектабельно выглядите, наконец, начальник, а люди с такими характеристиками имеют свойства. Это вообще, а есть и частное, которое открывать категорически не стану. Короче, пру беспардонно… Ну, он так посмотрел… пронзительно, я бы сказала... и общими местами: дескать, сын в Москве, дочь за границей замужем. Внук недавно родился, собираемся ехать на смотрины. Всякая, словом, ерунда. И прохладненько, надо сказать… Но — это уже через пару дней, там-то мы отобедали и на работу — Юля, зайдите ко мне. Заметь, не просит взять никаких бумаг! — Ольга, как ты понимаешь, еще не приехала. А я, конечно, мельком девкам уже скинула насчет ресторана. И, значит, в ответ делаю понимающую улыбку… Ты бы видела Людку…

Юля замолкла, вынула пудреницу, посмотрелась в зеркало. Вика, нетерпеливо:

— Ну!

— Дальше вообще интересно… Садитесь, стало быть. Сажусь, делаю строгое лицо… Представь, он встает, начинает прохаживаться. Э-э… Юля, я хотел бы поговорить вот о чем. Э-э… в некотором смысле вы мне обязаны. В общем, меня интересует Екатерина Львовна. Ты, наверное, не обращала внимания, недавно пришла. Серейшая мышь — в очках, такая, с короткой стрижкой…

— У окна сидит, фото на столе.

— Она. Слушай дальше… Понимаете… конечно, есть резюме, но хочется знать основательней. Она ладно справляется с делом, а мы будем расширяться. Нужен человек на деликатное направление. Мы тогда побеседовали и, представляется, вы видите людей.

— Блин, они все бывшие гэбэшники!

— Я делаю улыбочку и нагло заявляю: а я вас в этом ракурсе не интересую? Он лупит глаза и уведомляет: лучше, если вы будете думать, что нет.

Вика откинулась на спинку скамьи, жест был преисполнен чувства. Юля:

— Что делаю я… (Сооружает трагическое лицо.) Более отвратительного человека не встречала. Жадная, подлая, пахнет нехорошо. Давайте сразу уже охватим остальных. Людмила, которая Ивановна. Стяжательная, собственно, воровата, хитра, блудлива. Мне продолжить?.. Вы меня, конечно, извините, но это как-то странно — я не смогу. Катя хорошая женщина, скромная, это все что я могу сказать. Вы уж дождитесь Ольгу Владимировну. Мне можно идти?.. Он смеется. Ну хорошо, идите.

— Юлька, это класс!.. Слушай, а ведь останется — про Людмилу особенно.

— Между прочим, я только потом сообразила. Так отвратно себя чувствовала — выпалила не думая. Так вот, на другой день в коридоре встретились. Он: вы меня, Юля, извините. Считайте, просто хотелось с вами пообщаться.

Юля умолкла, вперившись в подругу. Вика выдохнула:

— Юлька-а, это этап.

— Да ну. Все это месяц назад было… и никаких движений. Переиграла, похоже.

— Нет, Юль, это интрига. Подруга, ты чудо.

— Гадство, не хотела ведь говорить — сглазить, все такое… — Женщина положила сигареты и пудреницу в сумочку. С досадой заключила: — Если главным бухгалтером у нас стать, все дороги откроются. А ты говоришь, рожать… Ну что, пойдем?

Встали, охлопали тылы, собрали принадлежности, тронулись, талдыча разное друг другу.

***

Парк, вялые сумерки, на скамье сидят Павел Васильевич — мужчина за сорок в ладном костюме, обладающий достойной шевелюрой, молодая, лирическая седина идет, во всяком случае, карим, пристальным глазам — и Дмитрий Петрович, гражданин безусловно более поживший. Первый обращается, голос крепкий и вместе покладистый:

— Вы добры.

— С чего вы взяли?

— Вы же помогли мне.

— Тем более, зачем же меня в эту груду сваливать?

— Груду? Не понимаю, что вас задело.

— Добрым обозвали — терпеть не могу эту пакость.

— Позвольте, это же признанное достоинство!

— Что за глупости! Во-первых, нужно спрашивать, хочу ли я быть добрым. Огульно подстраивать всех под общие правила — пакость.

— Извините.

— Послушайте, что за манера говорить пошлости!

— Ну хорошо, я буду молчать.

— Уж лучше молчите… Впрочем, молчать тоже гадко.

— На вас не угодишь.

— Вот это пригодно… Хм, однако добрый! Кажется, слышал о подобных человеческих расстройствах, однако мало знаком непосредственно. Я так понимаю, вам это свойство известно — опишите.

— Странно… Ну, помочь другому бескорыстно.

Дмитрий Петрович будто на вкус пробует:

— Помочь бескорыстно. Хм... Корысть — это, как я понимаю, выгода и преимущественно материального рода. То есть просто взять и помочь?

— Вроде того, получаешь при этом душевную пользу.

— Вы уверены? Действительно получаешь?

Павел Васильевич, кажется, чувствует подвох:

— Вообще говоря, Христос учил.

— Хм, Христос… это тот, что сын господнев.

— Ага, вы надо мной смеетесь!

— Не имею малейшего намерения. Я сейчас представил картину всеобщего бескорыстия. Вообразим, все друг другу помогают, иначе говоря, отдают свое. Я тебе, мне другой и так далее. По существу получается обмен не имеющий смысла!.. (Предупредительно поднимает руку.) Заведомо согласен, существует неравенство — один может отдать, другой нет. Но получится, что родиться или оказаться в худших условиях станет выгодней — сидит сирый в бездействии и блаженствует, ибо все озабочены деланием бескорыстных вещей. Исчезают стимулы, очень мрачная картина.

— Вы что же предлагаете, повсеместно зло учинять?

— Я ничего не предлагаю, это вы изволили нравоучениями облагодетельствовать.

— Но вы же попираете истины!

— Ни малейшего намерения не имею. Истина, что на земле не исчезают войны. Насилие! И возьмите-ка соотношение затрат на поддержание войн — я имею в виду оружие, матобеспечение и прочие научные совершенства — и затрат на благотворительность. Порядки! Наконец сам материал человеческий… Полагаю, если б не существовало войн, давненько бы на земле рай сотворился… Обратите внимание, даже в благословенной Америке значимые капиталы произошли на эксплуатации, по существу, на грабежах и воровстве — на насилии. После этого вы призываете награбленным делиться? Да вы к насилию и призываете!

— Несусветная чушь! Человек, главным образом, создает. Уж затем продает оное.

— Давайте возьмем эту сторону! Продавец пользуется тем, что покупатель не обеспечен. Он пользуется его слабостью, неспособностью обеспечиться самому.

— Естественно. Перераспределение. Да как же вы мыслите по-иному? Уж не свыше ли распределять? Проходили!

— Но причем же здесь добро? Форменная корысть, голимая. Призыв к добру у вас послан непременно к злодеям, либо к корыстоимцам — так оных казнят. Что за болезнь мозга?

— Странная у вас логика.

— Ничего странного. Польза — да, это субстанция. А доброта!.. Опять Америку возьмите, с исподнего корыстна — богатейшее и привлекательное создание однако… Москву приспособьте — слезам, как ведомо, не верит. Бескорыстие — болезнь, нормальному человеку оно противоестественно.

Павел Васильевич разводит руки:

— Ну… я просто не знаю.

— Да-с! Именно противоестественно. Оно основано на вере, и вы недаром приспособили Христа… Да ведь вера — удел сирых, образованный человек

действует знанием, либо соображением… Знаете что, а возьмите-ка вы у меня тысячу рублей.

Дмитрий Петрович лезет в карман, достает кошелек.

— Ничего я у вас не возьму, оставьте ваши эксперименты.

— Ага, защипало! Ну-ка признавайтесь, почему отрицаете?

— С какой стати? Я совершенно не нуждаюсь.

— Нет, любезный, нужда — это вторая штука. Вы обязанность почувствуете, ваша душа, простите, станет уязвлена, невыгодно — вот и вся недолга… Ну так нате три тысячи.

Павел Васильевич щурится:

— Знаете что, я обижусь.

— Да я же вот к чему — вы меня добрым теперь, пожалуй, не назовете. А я деньги бескорыстно предлагаю… Или корыстно? Оно если корыстно, то почему не взять? Вы подумайте.

Павел Васильевич делает улыбку с лукавинкой:

— Знаете что — а вы хотите, чтоб я взял? Ну ответьте, коли вы такой психологический!

— Совершенно отвечу… Оставим для строгости в стороне деньги. Конечно, вы бы не взяли. Потому что я бы и не дал… Вот тут и притча — именно не знаю, чего бы я на самом деле желал! Вот она, истинная проблема мозга. (Стучит себя по лбу.) Горазды мы нагородить, отсюда резон и теряем. Затея всякой мысли — опорочить предыдущее, сбить с курса и довести до бессмыслицы.

— И что же вы в таком случае предлагаете, любопытно? Уж не покончить ли разом, так сказать?

— Опять бессмыслица! Ибо смысл жизни как раз апробирован и един — не умереть. Это, знаете, женщиной утверждено. Вот уж кто о смыслах не заботиться, и это истинно… Ева — жизнь означает. В материнстве и воплощено — возрождение. Мужик так, пособник. Оттого и ковыряется, что собственная ущербность теребит… Или возьмите, из ребра Адама составлена, шутим мы — единственная крупная кость без мозга. А тут не шутки, тут круг.

Павел Васильевич давно сменил недоумение и смотрит сейчас на

Дмитрия Петровича с любопытством, что подтверждает невеликая улыбка.

Рассуждает:

— Любопытный вы товарищ… Послушайте, вы действительно женщин уважаете, либо это очередные загогулины?

— Не сомневайтесь. Последним фибром души ищу соприкосновения, ибо считаю безукоризненной опорой.

— Нет, серьезно?

— Более чем… Да разве не очевидно, что все искусство посвящено половым отношениям? Если же взять, что сочинители в основном мужики, то и можно принимать, что объект вдохновения — женщина. А искусство,

уважаемый, круче науки — простите великодушно за новояз, — ибо не на потребление направлено.

— Доводы против позволите?

— Помилуйте, требую!

— Соломону, мудрейшему из царей, приписывается: «Горше смерти — женщина». А древний обычай вырыть перед родами яму в песке? Над ней мать рожала, сидя на корточках. Если ребенок, падавший в нишу, был «всего лишь» девочкой, отец тотчас решал, сверяясь с демографией, зарывать ли продукт.

— В пику приглашу вас в историю глубже: первыми языческими богами считались женщины. Многомужество, пожалуйста — оно лежало в основе. Одногрудые женщины воины — амазонки! Есть множество фактов… Да вы взгляните, современный мир женственеет. Бизнесвумен, простите. В век потребления и спекулятивной самореализации, куда нас неизбежно тащит прогресс, женщина ловчей устраивает бытие.

Павел Васильевич все так же внимательно смотрит на Дмитрия

Петровича, раздумчиво доводит до сведения:

— Вот какая мысль мне теперь пришла. А если я вам предложу беседу в более смелом ракурсе? — что меня побуждает испробовать ваша замечательная относительность… Надо же, я, кажется, вашим языком заговорил! Как вы посмотрите?

— Отчего же. Разумею — вы заметили, что я не избегаю беседовать.

— Э-э… понимаете… даже не знаю, как сформулировать… Собственно, чего юлить, мы с вами люди посторонние, независимые. Тут такая история. Я — руководитель довольно успешной фирмы. Это к тому, что властью и могуществом в определенном ареале располагаю… Во-от… Словом, некая молодая особа — подчиненная, как вы понимаете — неожиданно… м-м… ну, скажем так, воскресила эмоции…

— Замечательно, просто замечательно.

— Понимаете, случай расхожий, и с психологией в части уяснения мотивов я знаком достаточно. Избитые построения меня не устаивают в силу того, что я намерен воспользоваться этим самым эмоциональным ажиотажем. Однако будучи трусом по жизни, хотел бы какого-то подкрепления. Собственно, ваш подход к вещам и видится мне в данном случае годным. Собственно, это предложение!.. (Улыбнулся.) Корысть, кстати, тут вполне сгодится — я более чем обеспечен.

— Превосходно! Я относительно корысти и тем более прочего… — Дмитрий Петрович задумывается. — Пе-пе-пе… поступимте так. Вы мне расскажете весь ход событий, а я затем предложу некую роль. Как вам такой наклон?

Павел Васильевич молча глядит. Встает, начинает размеренно ходить.

— Поехали, стало быть… Надо признаться, я сразу эту женщину приметил, что само по себе странно… Симпатичная — красавицей бы не назвал — пожалуй, средняя внешность. Поведение — обыкновенное. Умеренно шустра, достаточно толкова — да подобное не может же составлять причин! Словом, если очевиден вообще мотивационный механизм — огрубелость и монотонность жизни — то почему именно она взъерошила, мне непонятно.

— Вы насчет труса уронили. Как правило, люди таких признаков тянутся к матерям.

— Мне подобное знакомо, супруга, знаете ли, тот экземпляр. Здесь не то, загадка.

— Ну а такое. Мелькнуло, было, нечто, вполне безобидное, а вы и зацепились — от досужия исследовать пустились, да сами себя и вовлекли.

— Тоже приходило в голову. В том и штука, эмоция сразу сделалась устойчивой.

— Превосходно! Нуте-с, таким образом, пойдемте по частностям.

— Отчетливо помню тот вечер. Шел домой пешком — я это регулярно произвожу — стояла весна. Да, представьте себе!.. Воспаленные облака и прохладная синева, старого кроя дома с ранами облупленной штукатурки, мелкий ядреный лист на акациях вдоль тротуара, сосредоточенно-непринужденные прохожие. Свободная, созерцающая голова… Она шла недалеко впереди, но тогда я еще не знал, что это она. Собственно, и не обращал внимание… Стало быть, высокие каблуки. Случилась выбоина, женщина немного подвернула ногу. Ее шатнуло к кустам, напоролась на ветвь и порвала чулок. Я даже не предпринял помощи, шел отрешенный. Впрочем, этого не требовалось, ничего болезненного не произошло… Словом, я поравнялся. И услышал, как она выругалась. Не грязно, вполне публично: порвала колготки — понятно, для женщины, доступной постороннему обозрению, тождественное чрезвычайно. Но это отчего-то было одновременно… и пугающе и забавно… Если бы я понимал, что здесь моя сотрудница, то не подал виду, но все случилось автоматически. Теперь же и особа машинально огляделась, и мы встретились глазами. Представьте меня! Естественно, я сделал сочувственный вид. Что сказать, не нашел — по-моему, весьма глупо развел руками… Сейчас пострадавшая. Досада от порванного чулка и вдобавок неудобное положение в виде начальника. Вероятно, я был готов к чему-либо скомканному, неловкому, однако получилось совсем иначе. Она улыбнулась. Вроде бы закономерно — но не виновато, не растерянно… Мило! Если хотите, свежо… (Павел Васильевич достает сигареты.) Угощайтесь.

Дмитрий Петрович отрицательно выставляет ладошку и мотает головой.

Павел Васильевич мнет, крутя, сигарету:

— Не возражаете?

— Очень люблю запах хороших сигарет… Между прочим, никогда не курил. Даже не пробовал ни разу… При этом всегда мечтал испытать.

— Серьезно, не пробовали? Удивительно.

— Не поверите, но и не пробовал ради того чтоб не истребить мечту.

— Однако.

— Ну так вернемтесь.

Павел Васильевич обратно садится:

— Что — нет никаких соображений?

— Комментировать пока погожу, притом что желание, как вы непременно догадались, уже возникло.

— Вы конечно об этой ее улыбке подумали.

— Отнюдь — вы дивно описали вечер. Но не останавливайтесь.

— Было еще обстоятельство. Когда подвернулась нога, она промолчала, что, согласитесь, неожиданно для женщины — обычно вскрикивают. Выругалась позже. Но тогда я не придал значения… Собственно, тронулся дальше… Ну да, почему-то приключение отложилось и возникало. Было при этом… э-э… уютно… Помню, заснул в тот вечер моментально, что для меня необычно. Более того, случился сон. Я их никогда не запоминаю, а этот накрепко.

— Извольте-ка!

— Я оказываюсь на неком обжитом острове. Городок в средневековом стиле, знакомые, близкие. Действия — все это довольно смутно. Но вот апофеоз: то ли событие, то ли провал, не помню, и я оказываюсь в одиночестве. Улицы, дома, безмолвие. Мечусь — все удивительно отчетливо. Выбегаю на окраину городка. Дорога. Вдали по ней вяло приближается негустая и невеликая толпа людей в балахонах. Вглядываюсь и вижу — прокаженные.

— Великолепно!

— Небось, дадите толкование?

Дмитрий Петрович разводит руки:

— Несилен… Знаете, я слукавил относительно дивного вечера, чтоб вас не сбивать. На самом деле подумал именно об улыбке… Я вот к чему. Вы замялись, когда собирались обозначить качество улыбки, и сказали милая. А вам не показалась она в действительности озорной?

Павел Васильевич задумывается. Отвечает:

— Черт возьми, теперь я именно так и думаю. Пожалуй что, озорная. Тогда я ее аналогично квалифицировать не мог. С какой стати? — совсем не случай озоровать. Однако теперь!.. То есть вы хотите сказать, что она сразу назначила игру и я вляпался? Позвольте, да не склоняете ли вы думать, что и аварию она специально подстроила? Ну, знаете — так всякий интерес к нашему разговору пропадет!

— Да вещь не в том отнюдь, что было на самом деле. Истина в таких мероприятиях как чувства совершенно не нужна, да и напрасно ее искать. Весь смак в самой игре, и уж коли угодили, так не грех играть напропалую.

— Легко сказать, напропалую. Кабы лет убрать, тогда пожалуй — но если вдуматься, чревато.

— А как же не сомневаться!.. Послушайте, влюбленность — чудная пора. Светлая зависимость. Но эйфория проходит, начинаются обстоятельства: два связанных чувствами человека начинают хотеть разное. Не находите, что ситуация становится противоестественной?.. Слава богу, сейчас чувства покупаются. Деньги — аллилуйя! Так и действуйте.

— Что-то вы свернули… как-то неуклюже.

— Вот и отлично. Вы увидели разочарование? Оттого что я сбил романтику. Ну так это только означает, что она есть. Так и вперед.

***

В парке в беседке за столиком сидели Павел Васильевич и Дмитрий Петрович, шел день, слабый ветерок возился в редких и тонких волосах последнего. Он достал карты.

— Послушайте, а не перекинуться ли нам в дурака?

— Странное желание. Не намек ли это с вашей стороны?

— Избави бог! Уверяю вас, чрезвычайно релаксирующее предприятие. Всегда применяю в затрудненных обстоятельствах.

Павел Васильевич пожал плечами:

— Извольте. Коли я доверился вам, то сделаю это всецело.

Раздали. Дмитрий Петрович увлеченно шлепал картами в ответ на аккуратно подкладываемые Павлом Васильевичем, азартно сопровождал:

— Отличное название у игры — дурак. Это чрезвычайно по-русски… Возьмите Ивана-дурака. Русский ничуть не числит себя ущербным, будучи дураком или балдой. Обратите внимание, играя в карты каждый априори готов примерить слово на себя — отсюда играет вполне охотно. А?.. И вот что еще! Существует Марья искусница, Василиса премудрая — героиня типа Лушки дуры отсутствует напрочь — вот вам русская быль. Мужик русский весьма деликатное существо!

— Ну, баба-яга.

— Нет-нет, это неуместно. Баба-яга — реалистический персонаж. Или возьмите старуху из Сказки о рыбаке и рыбке. Типаж характерный, абсолютно аутентичный. Реальность не может быть деликатной… А вот именно дамочку. — Дмитрий Петрович хлестнул карту о ломберную поверхность.

Партнер постно сообщил:

— Коварно. Однако пока мы контру отыщем.

— А знаете ли какая мысль теперь во мне расположилась! Такая снисходительность к персонажу — и именно мужская — от русской коллегиальности. В обществе, дескать, и дурак в доход.

— Хм, зыбковато…

Неподалеку, приближаясь, шествовала молодая, пригожая женщина — миленькая кофточка, все дела — ее имя звучало Вика. Да-да, состоялась именно та особа, что в начале повествования рассуждала с Юлей. Шла медленно, задумчиво. Увидев мужчин, остановилась. Тут же тронулась, зашла в беседку.

— Извините, у вас нет зажигалки?

Дмитрий Петрович оживился:

— За что я должен вас извинить?

Павел Васильевич между тем подал зажигалку. Вика взглянула с любопытством:

— Ну, так принято говорить.

— Принято говорить — отменное выражение…

Вика прикурила, возвратила зажигалку и намеревалась выйти. Притом не преминула:

— Благодарю. Или и это вам покажется излишеством?

— Отчего же. Послушайте, вы не торопитесь?

— Ровно это я и делаю.

— Знаете что, не хотите ли составить компанию относительно партии в дурака?

Девушка улыбнулась:

— В дурака? Чудненько. Кем же я буду в такой компании?

Дмитрий Петрович торжественно посмотрел на Павла Васильевича.

— А? Я вас поздравляю, русская женщина решительно не желает записываться в дуры!

Вика несколько язвительно прокомментировала:

— Какой нонсенс!

Дмитрий Петрович с задором повернулся к ней:

— А вас не смущает, сударыня, что игра в дурака есть вполне умственное занятие. Да будет известно, Карпов — я на всякий случай уточню, имеется в виду чемпион мира по шахматам — совершенно не чужд оным занятиям.

Особа резко погасила улыбку:

— Да пусть хоть в козла играет, мне-то что!

— Я так понимаю, вы разумеете домино.

— Я разумею вот что — мужик как родился, так и попер козлить.

Не удержался Павел Васильевич:

— Кажется, девушка не в духе.

Его напарник осведомился:

— Вы не в духе — и где же, таким образом, осмелимся поинтересоваться?

— Какое вам дело? — отстаньте от меня.

— А я отвечу на подобный вопрос. Видите ли, мы с товарищем пришли к выводу, что мужчина суть особь неким образом коллективная, а вот женщина — напротив. Именно эта идея лежит в основании того заключения, что мужчина согласен быть дураком в противоположность женщине. Вот какое нам дело.

Вика, смотревшая прежде внимательно, сделала это теперь легко, благосклонно.

— Дяденьки вы забавные. Ну давайте побеседуем, мне все равно ждать... (Устроилась рядом.) Слушайте, а может наоборот — коллективный потому что дурак?

— Замечательный оборот мысли. Таким образом, против чего вы восстаете, против коллектива, либо дурака? Насколько я понимаю, мужчина все-таки вас устраивает при всех обозначенных характеристиках. Коллектив — не в такой степени. И тем не менее вы не хотите быть дурой.

— Отчего же, может, и хотела бы. Да вы упорствуете. Высокомерны и беспомощны. Невольно приходится с вами управляться. Тут не до глупости.

— Браво.

Павел Васильевич поддержал:

— Браависсимо.

Дмитрий Петрович обратился к Павлу Васильевичу:

— Ну вот же! Так не просить ли нам в помощницы уважаемую сударыню? (Повернулся к Вике.) Голубушка, всемерно согласимся в собственной ограниченности. Отсюда и просим вспомоществования.

— Пользуйтесь, так и быть. Так что же, сдавайте на меня.

Дмитрий Петрович сдавал. Женщина поощрила мужиков:

— Я так понимаю, мне надобно стараться проиграть. Однако и тут вы промахнулись: у меня полно козырей.

Дмитрий Петрович серьезно поведал:

— Никогда не сомневался, что все козыри у женщины.

По очереди подкидывали карты. Вика убрала небольшую паузу:

— Это надо понимать в фигуральном смысле?

— Разумеется, в фигуральном.

Вика попеняла Павлу Васильевичу:

— Э, товарищ! Вы кроете не той мастью.

— Ах, дьявол, простите великодушно. Всегда путаю вини и черви.

Павел Васильевич положил другую карту. Вика прозондировала:

— Я гляжу, вы мне мозги путаете. (Дмитрию Петровичу.) И какие же у нас козыри?

— Красота — и прочие слабости.

— Фи, красота — на хлеб, как говорят, не намажешь.

— Как сказать. Имеется в виду, простите за прозу, приторговать можно.

Павел Васильевич присоединился:

— Действительно, покупаем. И это недурной вопрос — отчего непременно предпочитаем красавиц? Инстинкт рода, самоутверждение?

Дмитрий Петрович просветил:

— Есть мнение, что шурует сие от идолопоклонства… Кстати, и украшения отсюда — они вносят элемент неодушевленности.

Павел Васильевич:

— Хм, вправду любопытно. Я не раз заставал себя на том, что неприятно видеть, когда женщина ест. Может это обожествление? — трудно представить бога жующим.

Женщина капризничала:

— А туда же — продать. Покупать бога? Впрочем, что такое молитва — замаливаем, покупаем.

Оценил Дмитрий Петрович:

— Замечательно.

Павел Васильевич посмотрел на Вику:

— И я такое спрошу — как насчет поменяться местами?

— В каком смысле?

— Ну, пошли бы вы в мужчины?

Вика задумалась.

— В мужчины… (Улыбнулась.) У меня есть… м-м… приятель, словом. То есть стать им… Бузгать пиво, пинать по мячу… Нет, вряд ли.

Дмитрий Петрович не удержался:

— Бесподобный прагматизм — пиво, футбол. Таким вы представляете мужчину.

— Да представлять-то мне не надо — я ж сказала, имеем факт.

— Погодите, но ваш приятель наверняка где-то работает.

— Ну, вроде того… Нет, он, конечно, занимается делом. Недвижимость, риэлтерская фирма. Что-то продает. Однако на работу к нему как не придешь, сидит за компьютером — то в шахматы дуется, то иные игры.

— То есть этот аспект вас категорически не прельщает. Вы меня раздразнили — может, отыщите хоть что-либо заслуживающее ваше почтение?

Взгляд женщины раздумчиво затуманился. Нашла:

— У него шикарные волосы. Из них можно сделать классную прическу.

Дмитрий Петрович и Павел Васильевич синхронно ударили в ладоши, аплодируя. Первый предложил:

— Послушайте-ка, а не могли бы вы теперь же встать… э-э… ну, как бы на его место.

— Да он сейчас сам должен подойти — его и жду. Опаздывает как обычно.

Всунулся Павел Васильевич:

— Вообще, это женская прерогатива.

— Угу, посмела бы я.

— Он тиран?

— Не сказать. Впрочем, не без амбиций.

Дмитрий Петрович:

— Ну вот же — ипостась. Неужели вас совершенно не манит власть, и вы не хотите взять сие от вашего друга?

— Я, когда надо, особенно-то не попускаю. Методикам обучены.

— Оп-оп! Здесь минуточку. Обучены нарочно, и кем в таком случае — либо все-таки инстинкт врожденный?

— Господи, да вашим братом и обучены. Язвимые-то места видны — и пальцем тыкать не надо.

Павел Васильевич:

— Слон имеет все основания опасаться мышь — забравшись в хобот, мелюзга случается неуязвима и вредна.

Дмитрий Петрович:

— Я правильно понял, что власть вас некоторым образом все-таки привлекает?

— Уже говорилось — не ради ее самой. Чтоб вашего брата на дорогу отвести. Голова, шея — вещь известная.

Павел Васильевич напрягся:

— Я где-то прочитал, что материнство — в чем-то компенсация тяги к власти.

— Не задумывалась. Во всяком случае, рожают точно не ради этого.

Пауза, оперировали картами. Дмитрий Петрович закинул крючок:

— А не пройтись ли относительно любви!

Вика театрально закатила глаза:

— Начинается… Ну да, любовь. Никто не знает что это такое, и все знают, что она непременно уходит.

Дмитрий Петрович патетически воскликнул:

— О, современные женщины! Романтизм — ау!

Павел Васильевич не спустил:

— Неужели вы не мечтали вскружить кому-то голову, или сами увлечься!?

Дмитрий Петрович:

— Хм, вскружить голову — замечательный состав букв.

Вика возмутилась:

— Прекратите.

— А на это могила есть. Уж там непременно.

— Наивно было бы сопротивляться радостным чувствам. Только любовь уж больно изношенное слово.

— Изумительно. Из всех придуманных — слово любовь, по-видимому, наиболее оправдывает такое нелепое обстоятельство как гомо сапиенс. Впрочем, очень хотелось, чтоб вы этого не поняли.

— Чего тут не понять.

Павел Васильевич совершил любезность:

— Надо признать, вы чрезвычайно трезвы.

— Просто перед вами не требуется из себя корчить.

— Иными словами, притворство — ваша суть?

Дмитрий Петрович взял оборот на себя, улыбнулся:

— Несомненно. И именно оттого что глупым притворится можно, а умным нельзя, мы имеем то что имеем… — Он воодушевился, обращаясь к Вике: — И теперь я предлагаю вам замечательный шанс. Некоторую игру, где вы можете поиграть роль мужчины — то есть вам не надо будет притворяться. Дело вот в чем — наш друг (указал на Павла Васильевича) попал в деликатное обстоятельство. И в целях усвоения им, скажем так, материала и приноравливания к кондиции было бы не грех сыграть некий спектакль.

Вика предъявила женское:

— А что за обстоятельство?

Дмитрий Петрович встал. Пел:

— Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош… — Сел. — Ситуация понятна? Итак, попытаемся изобразить следующее. Вы — Виктор, мужчина в возрасте, владелец приличной фирмы. Павел Васильевич — молодая женщина,

сотрудница. Между вами возникло нечто — в тлеющих производственных отношениях взбодрился язычок пламени житейского значения.

— Знаете что, это забавно. Тем более что… — Повернулась к Павлу Васильевичу. — Извините, а как зовут ваш предмет?

— Юля.

— Я согласна, — тотчас пылко сообщила Вика. Обратилась к Дмитрию Петровичу: — Только чего вы хотите от таких пертурбаций?

— Ну как же, попытаться забраться в натуру, потрогать психологию.

***

Павел Васильевич и Вика сидят в ресторане. Павел Васильевич состоялся в женском облачении, Вика в строгом мужском костюме. Она говорит, глядя исподлобья на партнера:

— Как вы отнесетесь, если мы сопроводим это коньячком?..

Павел Васильевич жеманно поводит плечами:

— В обед коньяк я прежде не испытывала, но отчего же. И потом, странно было бы вам отказать.

— Вы дивно выглядите — чудное платье, миленький рисунок.

— Вы разбираетесь. Это так по-женски.

— Да? Вот черт, съехал невольно. Ну, это… вы спортом интересуетесь?

— Не особенно. Собственно, нет, меня не берет.

Вика забавно щурит один глаз:

— Не, ну бокс. Тут Поветкин американца уделал — классно, блин. На по печени, ха по сопате. Классно!

— Ужас, что вы говорите!

— А ччо, в натуре. На по поджелудочной.

— Меня как вашу подчиненную начинает кидать в дрожь.

— Какую подчиненную? Тьфу ты, елки!.. (Вика приобретает осанку.) Вы отменно вели себя в налоговой. Честно сказать, даже не ожидал.

— Отчего же — я вам кажусь серой?

— Вовсе нет… Впрочем… вы мне кажетесь легкой, живой. Наверное это и сбивает с толка. Отчего-то хороший работник мне видится сухим, отдельным, вероятно, дает знать старая закваска.

— Подозреваю, таким образом, ваши симпатии должны доставаться Ольге Николаевне. Ну с короткой стрижкой, у окна сидит. У нее рамка на столе.

— Вы знаете — да. Хоть она пришла недавно, и я совершенно не присмотрелся.

— Замечательная женщина — опрятная, работящая. Мать-одиночка — двое ребят, чудные создания. Я поражаюсь, как она управляется.

— Вы осведомлены.

— Что вы хотите, женский коллектив. Впрочем, там — я относительно Ольги Николаевны — кажется, была какая-то история на прежней работе. Наши шепчутся… Она действительно вас интересует?

— В общем, да. Открываем новое направление, нужна кандидатура. Приходится вглядываться.

— А вы, в свою очередь — личный фронт, все покрыто мраком. Страшно любопытно, женский коллектив.

— Абсолютно мирная ситуация — двадцать пять лет вместе. Сын в Москве, дочь за границей замужем. Внук родился, поедем на ознакомление.

Пауза. Павел Васильевич кокетливо поправляет прическу:

— Ах, какая стоит погодка! Я обожаю погоду. Вы обожаете?

— Ну, если под пивцо.

— Вы — шалун.

— Я — он. Так, знаете, шалю другой раз, просто мухи мрут.

— Я не обожаю мух.

— Ну почему — если под пивцо…

— Ах, надо же — кажется, коньяк меня ударил. Опасная вещь, хи-хи.

— Вещь, чего там.

— Все-таки любопытно, отчего мужчины привержены возлиянию больше нас. Вам нужна провокация, освобождение?

— Провокация? А чего — пригодится. Я так понимаю, еще по рюмочке.

— Какой вы сообразительный.

— Должность.

Вика наливает. Павел Васильевич:

— Тогда я напрямик, коли вы в должности и сообразительный. Поговоримте обо мне.

— Собственно, к чему я и вел.

— Я — изумительная женщина.

— Вы уверены?

— Ничуть. Но вы будьте уверены.

— Ну… хотелось бы все-таки доказательств.

— То есть вы категорически не верите на слово!

— Должность, вы ж понимаете.

— Ну хорошо. Умею быть плохой, когда надо.

— Веско. Как это вы умудряетесь?

— Наследственность, полагаю.

— Это основательно… Елки, а я ведь тоже так поступаю.

— Вот это да! Мы с вами не родственники?

— Ну, общность налицо. Стало быть, еще по? — Вика наливает.

— Пить — унынию вредить.

— По-моему, произошла рифма.

Павел Васильевич поднимает бокал.

— За сообразительность, которая у вас представлена во всей красе.

Пьют. Вика, глядя в упор и грубо:

— Вы мне, похоже, очень тонко польстили.

— Может, хотите потолще?

— Пока сойдет и так… А чего вообще-то приятного в лести?

— Думаю, то же что в вине — провоцирует и освобождает.

— Тогда льстите еще. Можно толще.

— В вас есть что-то страшно обаятельное.

— Думаю, кошелек… Черт, все-таки хорошо быть начальником. Особенно когда в подчинении молодые женщины… А вы бы хотели стать начальницей?

— Можно соврать?

— Валяйте.

Павел Васильевич откидывается на спинку стула:

— Не знаю… Думать, напрягаться. Ответственность… Я бы даже мужчиной не хотела стать. Проблема мужчины в цели — с приближением она становится все туманнее. У женщины более узок мир и цель доступнее — отсюда, кстати, образ головы и шеи. Начальники-мужчины в секретари всегда берут женщину, вы сами обратили внимание… Вам нужна молодая женщина, уж поверьте. Руководитель вынужден иметь физиологическое, коварное возбуждение — это усмиряет негатив мужской мудрости.

— Вы относительно игры?

— Относительно. Впрочем, упражнения такого рода опасны, ибо…

— Ибо что?

— Ибо потому что.

— Уже толще. Стало быть, мне сразу сдаваться или напротив?

— Сразу — ни в коем случае.

Павел Васильевич тянет к Вике пустой бокал. Ветрено:

— Ах, вы сделаете меня алкоголичкой — несносный.

Вика равнодушно смотрит на бокал. Павел Васильевич настаивает:

— Ну сделайте же меня алкоголичкой.

Вика наливает, молча пьют.

Входит Саша, молодой мужчина в модной рубашке и с зарождающимся животиком. Напористо подходит к столику, смотрит размашисто на Вику:

— О, ничего себе! Подруга, ты оборзела что ли? Бухает, блин, в наглую, ты ч-чо вообще о себе думаешь?

Вика, грубо:

— Что за тон! Ты — фофан, поляну вообще-то надо просекать. Тем более что я с женщиной. (Павлу Васильевичу.) Простите великодушно, мадам, мой знакомый опоздал на воспитание. (Саше.) Познакомься, Александр, моя подчиненная, Амалия.

Павел Васильевич жеманно подает руку. Саша в полной растерянности, пучит глаза. Руку, однако, осторожно пожимает. Убито выдавливает:

— Черт возьми, что происходит! Что за маскарад, что за спектакль!

Откуда ни возьмись, появляется Дмитрий Петрович. Пакостливой походкой подходит — ноль внимания на партнеров: наклонившись к Саше, что-то говорит ему на ухо, у того ползет лицо. Оба уходят, притом Саша пораженно поминутно оборачивается. Тем временем Павел Васильевич сладко тянет:

— У вас чрезвычайно славный знакомый.

— Да? Очень любопытно. Мне в голову не приходило применить к нему такие слова.

— Ну, у женщин иной взгляд, — мужчина, то есть женщина, подперев руками подбородок, сладко и тягуче пялится в визави.

— Вот бабы — извращенки, — периодически поглядывая, констатирует Вика, который мужчина.

Стремительно входит Саша, напористо садится.

— Ну что, я все понял. (Хлопает Вику по плечу.) Наливай, приятель.

Вика послушно наливает. Пьют. Саша, натянуто улыбается:

— Прекрасный вечер.

Вика:

— Тонко.

Павел Васильевич:

— Вечером холодней, чем днем.

Александр:

— Утром раньше чем в обед…

В ресторане произошло движение — это рассаживались по местам музыканты. Относительно вялая публика автоматически взбодрилась, шелестящие до того разговоры стали звонче. За окном привычно стрекотал город. Первым не осилил стрекотание Саша:

— А неплохо прошла.

Вика по-дружески чуть наклонилась:

— Слушай, водовка новая появилась. Спиртовая.

— А какая еще должна быть?

— Название — спиртовая.

— Не пробовал. И что?

— Идет исключительно.

— Новье — паленку еще не наладили.

— Само собой. Вообще мягкая, и кайф чистый и бодрый.

— Слышь, сон приснился. Подцепил карася. И прикинь, карась губы — яркие такие — языком облизывает и рассуждает: гарнитурчик на кухне надо поменять. Карасиха, не иначе.

— И мне тут баба приснилась. Красивая-я! На роже почему-то следы протектора, будто наискось колесом переехало. Очень возбудительная баба. — Вика закашлялась. — Блин, горло першит. Но курить не брошу — из принципа.

— Нет, ну можно и бросить. А из принципа — снова закурить.

Павел Васильевич напомнил о себе:

— Саша, а вы кто по гороскопу?

Вика, смеясь:

— Он козерог, естественно.

Александр хмуро глянул на Вику, отвернулся к Павлу Васильевичу:

— Родился в год тигра.

Павел Васильевич зачем-то вздрогнул:

— Я почему-то так и подумала — у вас мужественный вид.

— Тогда еще по одной.

Налили, выпили. Саша азартно смотрел на Павла Васильевича:

— Слышь, Амалия, а ты ничего смотришься. Виктор, как я понимаю, к тебе клинья бьет. Ты насчет него особенно губы не раскатывай. Такой неположительный человек, наобещает златые горы — а на деле… Нет, ты душка, отвечаю.

Вика:

— Александр, что за манеры! Душка, неположительный — где ты набрался таких слов, что обо мне подумают!

— А мне пофиг, что о тебе подумают, неположительный Виктор. Однако я чувствую к Амалии огромную симпатию, и намерен добиваться взаимности.

— Ха, он намерен! Это еще посмотрим.

Павел Васильевич:

— Вы такой стремительный, Саша, я затрудняюсь. У нас с Виктором был вполне доверительный и приятный разговор.

Александр горячо упрекнул:

— Да ты посмотри на это чучело! Ни мышц, ни тембра в голосе… А я! (Расправляет плечи.) Орел!

— Подождите, есть же какие-то основательные характеристики. У нас много общего, нам попросту интересно.

— С ним интересно? Да ты бы послушала его на трезвую и больше чем полчаса.

Вика не сдержала возмущение:

— Ну, знаешь что!

— Что!? Говори, рыба моя.

— Такими методами. Это совершенно не по-мужски.

— Ага! Ну давай по-мужски, продемонстрируй.

— Не собираюсь ничего демонстрировать, мы не в цирке. Есть общая мораль и человека видно.

— Вот это да! О морали разговариваем — оказывается, умеем, когда приспичит. А чего же ты в натуральном состоянии ведешь себя как торговка на базаре.

— Александр — ты не путай.

— Да ведь это вы тут путаники! Театр комических действий устроили, блин — фарс-мажор на злобу дня.

— Знаешь что — заткнись!

— Ага, заткнись — ты сейчас которая? Она или он? Может, оно?

Встрял Павел Васильевич:

— Послушайте, прекратите.

Саша душевно повернулся на голос:

— А ты, душка-трансвеститка, помалкивай.

Тот ответил несколько грубовато:

— Слушай, ты особенно не распускайся. Я не таких видел.

— Как вы чудно заговорили, мадам. Мне это нравится все больше. Воевали, конечно, на амбразуры ложились, в окопах подставляли. Я хочу тебя, Розалия.

— Сам ты Розалия… Нет, все. Я не намерен больше терпеть.

Павел Васильевич встает. Вика растерялась:

— Вы сейчас кто?

— Откуда я знаю — сам запутался… Где Дмитрий Петрович? Пусть растолкует кто из нас кто!

Саша, тонким голосом, жеманно, достав сигарету:

— Мужчина, угостите даму огоньком.

Павел Васильевич угрюмо смотрит. Достает из закромов платья зажигалку, чиркает, соглашается:

— Да, надо закурить. Иначе… (Закуривает, пристально глядит на Сашу. Садится.) Знаете, вам необыкновенно к лицу этот вечер.

Саша манерно поводит плечиками. Шлепает Павла Васильевича по плечу, тот снимает с головы заколку. Глаза его зажигаются:

— Вы озорник.

Вика занервничала:

— Э, подруга, ты что тут вытворяешь! Блин, готова первому встречному на шею вешаться.

— Ах, оставьте ваши нравоучения. Я не собираюсь противиться чувствам.

Тон Вики становится угрожающим:

— Слышь, особа — ты тут не особенно. На разборки нарываешься!

— А мне параллельно.

— Перпендикулярно будет, учти.

— А мне по фьючерсу.

— Сашка, подлец, завязывай.

— А я такая, я жду трамвая.

— Слушай, ну хватит уже.

Павел Васильевич внимательно смотрит на Александру, при этом обращается в Вике:

— Но отчего же, у вас очень перспективная подруга. (Саше.) Я верно понимаю, что вы расположены к чувствам?

— Я жутко чувствительная, просто куда бежать.

— Отчего непременно бежать? Что как не чувства украшает жизнь. И вообще таковые объединяют.

— Как сильно сказано, ваши слова подступают к сердцу.

— Слова — прелюдия чувств.

— Несомненно. Особенно такие: презент, драгоценность, и вообще, деньги.

— Я ваш намек отлично различил. Будет и белка, будет и свисток.

Вика теряет терпение:

— Ну вы, свистки — хорош наглеть. Это уже не смешно!

Александр весь игрив:

— Разве? А нам весело…

Ба-а, к столу подходит Юля. Вика опадает:

— Ну слава богу! Юлька, ты как тут?

— Сашка позвонил. Дескать, вы тут моего начальника окучиваете, и мне надобно его выручать. И где же он?

— Как где! — Вика тычет пальцем в Павла Васильевича.

Взлетают брови у Юли:

— Бог с тобой, это совсем не Скворцов…

Она с удивлением оглядывает Павла Васильевича. Тот подтверждает:

— Далеко причем не Скворцов. Моя фамилия Бякин.

Из-за спины Юли выглядывает Дмитрий Петрович, смеется:

— Отличная комбинация. Впрочем, это даже неплохо, все становится непринужденней.

Вика категорически машет руками:

— Нет уж, хватит с меня упражнений. (Саше.) Отваливаем-ка, голубчик, пока окончательно не заголубел — ты мне еще понадобишься.

— Дай подумать.

— Не надо, займись своим делом.

— Но милая, мне обещали белку. И даже свисток.

— Ох же ты продажная душонка!

— Примериваю шкуру. Вполне уютно, доложу тебе.

— Вот шкура!

— С намерением относиться к тебе впредь с пониманием.

— Такого понимания мне не надо!

Юля вольно смеется:

— Но Сашка, если так прямолинейно, в этом деле подразумевается взаимность. Каким приспособлением ты взаимность будешь соблюдать. Очень любопытно.

— Черт, действительно, на такие жертвы я пока не готов.

— Ты понимаешь теперь, как мы ради вас жертвуем?

— Да, все-таки женщина существо непостижимое.

Дмитрий Петрович вносит лепту:

— Ловко замечено. Я подозреваю, что с вероятием и для самих себя.

Тут и Павел Васильевич:

— Это единственная резолюция нашего мероприятия?

— Совершенно нет. Ибо вся катавасия была проделана исключительно ради отображения некоторых непроизвольных жизненных коллизий. Разрешите представиться — Скворцов, начальник этой милейшей дамы. — Дмитрий Петрович показывает на Юлю.

Та подтверждает:

— Ну да, это Дмитрий Петрович Скворцов.

Вика ширит глаза:

— Ни фига себе!

Павел Васильевич тоже удивлен:

— Однако.

Саше проще остальных:

— Я как ничего не понимал, так и остался при своем.

Дмитрий Петрович по-прежнему ведет:

— Вообще говоря, в этом есть своего рода прелесть — вы не находите?

Саша разглядывает Дмитрия Петровича:

— М-м… вполне возможно… Стало быть начальник — отличная должность. Не хотите закурить?

Дмитрий Петрович сияет:

— Знаете, никогда не курил. И, кажется, пришла пора попробовать…

Дым чудесно осваивал пространство. Саша не без огонька поглядывал на неофита:

— Как вам?

— Вполне. В новизне что-то есть.

— А я о чем!

Юля высказала некоторое недоумение Саше:

— Что-то я не понимаю, кого и от кого ты вызвал меня спасать?

Вика ершисто повернулась к Павлу Васильевичу.

— Так я и говорю, очень миленькое платье. Рисунок.

Павел Васильевич вразумлял:

— Вы на это как раз внимания не обращайте. Смею уверить, имеются вполне мужские начала.

— Я о чем и веду речь.

— Тем самым, свисток и белка — это в силе.

— Обожаю свистеть.

Саша доказывал Дмитрию Петровичу:

— Нет, решительно сигарета придает вам брутал.

— Черт возьми, мне нравится ваш взгляд на суть вещей.

— Дорогой мой, на суть я имею ничуть не один взгляд. Их у меня несколько.

— Предлагаю постепенно охватить все ваши взгляды.

— Ну, такое заманчивое предложение, ну, такое предложительное.

Вика Павлу Васильевичу:

— Говорите, Бякин. Роскошная фамилия. У меня кольнуло, как только услышала. Даже не пойму в каком месте.

— Думаю, есть смысл порыться относительно места. Я вдруг разглядел в себе исследователя. Да что там, это, несомненно, мое призвание.

— Черт возьми, чувствую явную симпатию к исследователям.

— А не разобрать ли нам возникшие настроения досконально? Так сказать в уединенном состоянии.

— Да в каком же еще таковые разбирать!

Парочка игриво уходит. Дмитрий Петрович отмечает факт:

— Однако арена опустевает.

Саша поддакивает:

— Что усугубляет варианты.

— Не намекаете ли вы, что нам следует в свою очередь поступить каким-либо образом?

— Именно образом. Только так и следует поступать в данных ситуациях.

Игриво уходят… Юля размышляет:

— Что-то не въезжаю — а я при каких делах осталась? (Достает мобильник, набирает номер.) Жорка, подлец, ты где шарашишься?

***

На очередной момент текущего бытия склонились сумерки. Обширный офис в неком современном учреждении был наполнен электрическим светом. В обширной комнате стояли несколько столов с компьютерами и соответствующей дребеденью. По окну степенно полз дождь, дивно бухтел в открытую фрамугу.

Один из столов был свободен, тем самым занят: пятеро участников предыдущих баталий расположились за ним — они единственные заполняли сие благословенное пространство. Колода карт ловко и с любовью эксплуатировалась, Дмитрий Петрович, кладя карту, сопровождал жест:

— А получите-ка валета — как вы теперь взглянете?

Таковую отбивала Юля:

— Отважно взгляну. Нас мальчиками всякими разными не возьмешь. Видели мы мальчиков!

Павел Васильевич подкинул:

— Стало быть, дама. Что относительно девочек?

Юля перебирала свой веер:

— С этими товарищами, конечно, сложней…

Вика посоветовала:

— Бери взятку, Юлька, хорошие карты.

— Щас! Даром воевали, зря что ли рейхстаг брали? — Покрыла даму.

Саша обладал скепсисом:

— Последнего козыря небось отдала.

Юля кокетливо поправила волосы:

— Не надо. Все козыри при нас.

Возник Павел Васильевич:

— Ну просветите, Юлинька, в таком случае. Жизнь прожил, да так и не разобрал основные женские козыри.

— Сила слабости, разумеется.

Дмитрий Петрович поддал:

— Отменно сказано, сила слабости.

Павел Васильевич, углубившись в свой набор, бубнил:

— Опять вы повернулись в профиль, фигурально выражаясь. Я надеялся, что отошлете к красоте, и даже намерял процитировать — сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? А вы обкорнали весь мой посыл.

Дмитрий Петрович:

— Собственно, это и ответ… Кстати, Юля, что там отчет? Завтра в налоговую — помните?

— Действительно, кстати. Неужели забуду! Все готово.

— Если все пройдет нормально, за мной, как обычно, обед в Астории.

— С Хеннеси?

— Как водится.

— Я в боевой готовности. Ох, завтра напьюсь!

— За что я вас особенно ценю.

— Вы насчет напьюсь, как я понимаю.

— Именно за понимание.

Саша:

— Нет, поясните, за что такие преференции! Я искренне люблю Хеннеси. Вообще говоря, это первая и последняя моя любовь.

Вика расширила глаза:

— А я которая?

Дмитрий Петрович, углубившись в карты:

— Тогда догадайся с полутора раз — за что.

Саша расстроился:

— Понял, и хочу, тем самым, быть женщиной. Даже точнее выражусь — Юлей.

Вика не уступила:

— Нет уж, оставайся собой. Ты мне такой выгодней.

— Вот она — бухгалтерская жила. — Саша сердечно шлепнул карту о стол.

Павел Васильевич, запальчиво:

— Я трандю. — Кинул свою карту.

Вика огорчилась, карты перешли под нее:

— Какой вы, Павел Васильевич. …

— Какой?

— М-м… транданутый!

— Я — такой.

Вика собрала взятку. Дмитрий Петрович заводил старую волынку:

— Ну так что вам нынче снилось, Юлинька?

— Дались вам эти сны. Я их не запоминаю.

Дмитрий Петрович пальцем, как пистолетом клюнул в сторону Юли, затем поднес палец к губам, подул.

— Ответ неверный… Начальник должен знать сотрудников. Сны, как учили в годы моей службы в чека, отлично раскрывают человека. Сублимация, уважаемая.

— Ой, знаете, был как-то дивный сон! Крокодил. Пасть разевает и запах сирени.

— Позвольте, запахи во сне? Хм.

— Сирень! Чистый, настоянный запах!

— Черт, чека малость недоработало.

Вклинился Саша:

— А мне голая женщина нынче приснилась. И глазом подмигивает, подмигивает. Я объясняю, отойдите, голая женщина, не подмигивайте глазами — я и сам способен мигнуть.

Вика придирчиво гундосила:

— Ну-ка, что за женщина! Ты получишь!

— А пусть не подмигивает. Размигалась тут, видите ли. Хамство бесподобное!

Павел Васильевич пожаловался:

— А мне женщины исключительно одетые снятся. Ей богу, хамство. (Подкидывает в кон карту.) Получите семиту, как говорили у нас в деревне.

Вика продундела:

— Хочу в деревню. Куда-нибудь в Новую Зеландию.

Юля вразумила:

— Архетип лезет, Викуся, крестьянская молекула выступает. Водопады, океан — архетип.

— Ну и пусть лезет.

— Дмитрий Петрович, не дайте дамам умереть — поездочку бы спроворить, а? Молекулы повылазят, дебит в кредит ударится.

Дмитрий Петрович ускользнул:

— А вот такую семерочку побьете?

— Это грамотно. Как приятно с вами работать. Десятка на вашу семерочку.

— Тогда такая семерка.

— Козырная? Я же пошутила насчет поездки…

Тихо и уютно полз вечер, за окном угомонился дождь и возбудились птицы, орали блаженно и насыщенно. Впрочем, наших игроков они не переубедили, раздавались негромкие возгласы: «Туз. Трефовая дама — пардон, пиковая…»

2 книги ***Игоря Хайкина***:

Ebenda
О том, что человечество делится на врачей и пациентов.
Книга не только о медицине,
она — **о людях, родившихся в СССР...**

Блошиный рынок
Книга — попытка понять, как меняемся мы
и что меняется в нас – в изменяющейся жизни.
Что ***мы находим, что теряем и с чем остаемся.***
И что остается нам на память.

ЛИТЕРАТУРНОЕ za za ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Михаил Полюга Стихотворения из книги «Свет мой печальный»

Полюга Михаил Юрьевич — поэт и прозаик, автор девятнадцати книг поэзии и прозы, член Национального Союза писателей Украины и Союза российских писателей. Родился 29 марта 1953 года в городе Бердичеве на Украине. Служил в армии, окончил Харьковский юридический институт, работал на разных должностях в прокуратуре Житомирской области. В 1992 году заочно окончил Литературный институт им. М. Горького в Москве. Роман «Прискорбные обстоятельства» был включен в «короткий список» Бунинской премии 2015 года.

Осень, зима, весна, лето... Мелькают мгновения,
струною отзываются воспоминанья. Все зыбко, все было...
Все промелькнуло сквозь свою осень, зиму, весну, лето.
Строки, которые не отпускают до последней точки.

Олеся Янгол

Бердичев

Хочу вас уведомить: осенью поздней,
лишь только на город опустится вечер
и станет дождя серебристые гвозди
вколачивать в крыши, витрины и плечи, -
прощусь и пойду по безлюдным бульварам,
как будто навеки простился — и сгинул.
Мне город покажется мудрым и старым,
подставившим небу промокшую спину.
Незвучны шаги и исполнено тайны
шуршание листьев — в их шепоте сонном
услышу все то, что когда-то случайно
им ветер сболтнул, протекая по кронам.
И в каждом каштане приятеля встретив,
спрошу о себе как о бывшем когда-то…
Их голые ветви, окислившись медью,
скорбят обо всех, кто ушел без возврата.
Скорбеть бы и мне — только сил не достанет:
живое — живым, или как там ведется?
Из тучи хмельной, как сивуха в стакане,
на город нахохленный льется и льется.
Что плакать, что помнить — занятье пустое,
испить из ладони — и с Богом, и ладно.
Здесь каждый булыжник на память настроен,
и это печально зело и отрадно.

Куст

Среди лета, горчайше-желтый,
ранний куст просочился в зелень,
словно осень, исполняясь желчью,
пролила колдовское зелье.

В сквере пахнет еще озоном
после гроз — но пробилось пламя:
ранний куст, как ожог, в зеленом!
Что случилось со всеми нами?

Если с жизнью слепой в раздоре –
мы седеем, едва за тридцать.
Желтый куст, вероятно, — к горю:
скоро осень должна случиться!

Мир, казалось бы, так устойчив…
Вспыхнул куст, желтизною налит, –
осень в зелени кровоточит,
точно первым инфарктом, жалит.

x x x

Грустно …
Любимая, грустно…
Кажется, дождь — по крыше…
Листья налипли в душу, –
где вы, судьбы кликуши? –
точно душа не слышит.

Грустно…
Любимая, грустно…
Ценностей переоценка,
или уценка, вернее, –
зрелости жизнь виднее…
Ты лишь одна бесценна!

Грустно…
Любимая, грустно…
Что ожидалось — сбылось
с кем-то иным, вероятно…
Прожитое — невнятно,
будто не мне судилось
кануло безвозвратно…

Грустно…
Любимая, грустно…
Кроны мои пожелтели;
годы мои, как птицы,
тянутся вереницей –
за море полетели…
Жил ли на самом деле?

x x x

Казалось, осень в роще жаркой
так бесконечно будет длиться,
но снег, беспомощный и жалкий,
вдруг стал над рощею кружится,
и — повалил. Смешались листья
со снегом — белое с багровым,
и все смешалось: зябли кисти
и щеки жгло приливом крови…
Снег падал, падал, — накаляясь,
звенела осень в красных кленах, –
и длился миг, не прерываясь,
и день таился изумленно.
И все, что суждено за этим,
оказывалось вдруг неважным –
ведь был единственным на свете
тот день, случившийся однажды.

x x x

Дождь упал посреди зимы,
рассмеялся,
снег с ветвей тополиных смыл,
рассиялся,
так влюблено звенящим льдом
в ветви вмерзнув,
звоны высыпал за окном
ночью звездной,
и, юродствуя, сребролик,
все ласкался…
Только тополь к рассвету сник
и — сломался.

x x x

Не живется в любви, не пишется, –
может быть, и любовь — иллюзии?
Снова клен за окном колышется,
как в Литве или где-то в Грузии.

Я старею от одиночества
в мире, полном людей и призраков, –
позабылось вдруг имя-отечество
даже тех, кто мне близок изредка.

Дом оставлен, родство порушено,
ни словам, ни слезам не верится…
Только шелест кленовый слушаю,
только Землю — скрипит и вертится.

Мир незыблем — за что же маемся?
Все не на душу, все не по сердцу.
Срок придет помирать — раскаемся
и сначала прожить попросимся,

чтобы главное: клен колышется
и Земля, как и прежде, вертится, –
даже если в любви не пишется,
даже если в любовь не верится.

x x x

Три скамьи в этом сквере,
три дряхлых скамьи посреди
чахлой зелени, сучьев,
деревьев, кривых и убогих.

Ни тоски, ни надежды –
лишь кажется, что впереди
только сквер и скамьи
посреди неизбывной дороги.

Три скамьи в этом сквере,
и пыльный закат — сквозь листву.
Жизнь ничтожна, и все же…
И все же она бесконечна:

по наследству во мне,
или как там еще?.. по родству
живо то, что в других
было призрачно и быстротечно.

Я — предтеча другим,
но и я — продолжение тех,
кто любил и страдал,
и, казалось, ушел без возврата.

Три скамьи в этом сквере,
а хватит, выходит, на всех:
здесь и вечность, и Бог,
и награда за все, и расплата…

x x x

С последним снегом — слезы первые:
дымят проталины едва еще;
набились по дворам со скверами
сугробы в поисках пристанища;
и заторможено движение
луча случайного над городом;
и соков мартовских брожение
еще не кружит кленам головы;
расквасясь над сырыми крышами,
еще случится туча грузная –
и снег, как легкий дым, колышется,
и плачет ветка заскорузлая.

x x x

В тупике, в вагоне душном
сон, настоянный на травах,
зыбко бродит по подушкам
и в луче, дымящем справа.

Ты опять задремлешь, словно
где-то за полночь уснула.
Будет солнце к изголовью
течь по пыльной спинке стула,

и гореть на гранях бусин,
и теряться в складках ткани…
Будет сон, наверно, грустен
или чем-нибудь обманет.

Пол качнется, весь в заплатах,
или углем вдруг запахнет, –
словно мчимся мы куда-то
в тупике, в вагоне дряхлом.

x x x

Все забуду однажды — себя и друзей,
этот дом и крыльцо из не струганных досок,
и уйду, как когда-то ушел Одиссей,
но уже не вернусь, даже если попросят.

Буду странствовать вечно — да здравствует тлен!
Я нигде — и везде: в этом вздохе у сводов;
у ладоней твоих, у лица и колен –
легким ветром, дождем и твоей несвободой.

Будем живы друг в друге, и даже потом –
все, что выпало в жизни, бесследно не канет:
вновь возникнет крыльцо, и исчезнувший дом,
и опять все, что с нами случилось, настанет.

x x x

Ни слова, ни полслова, ни намека –
лишь сумеречный взгляд из–под бровей.
О чем сказать, чем поделиться с ней?
Все было, было — и прошло до срока.

Ни губ, ни плеч, ни трепетной груди –
лишь губы, плечи, грудь, — какая малость!
Что будет с нами, что там впереди?
Все было, было — что же нам осталось?

Ни страх, ни жар, ни выдох наготы –
все было, было — и ушло, и скрылось…
Но лишь расстались — “Господи, ведь ты
ни разу для меня не повторилась!”

x x x

Сменяет день прозрачный вечер,
и вековая полумгла
ложиться мягко нам на плечи
и затеняет зеркала;
и мир сужается, как рама,
в которой жизни краткий миг
застыл, печально и упрямо,
чтоб кто-нибудь его постиг;
и ты от горечи внезапной,
как будто нас на свете нет,
глядишь,
  глядишь,
        глядишь в глаза мне,
пока вечерний тает свет.

x x x

Захотелось дождя, провисания веток,
монотонности капель, сплетения листьев.
Захотелось того, что случается летом.
Доживу ли, дождусь ли?
                Как снег ненавистен!

Захотелось дождя, одиноких раздумий
в стороне от дороги, машин и строений.
Захотелось того, что граничит с безумьем –
захотелось любви посреди потрясений.

Захотелось дождя, напитавшего хвою,
беспредельности жизни, наполненной смыслом.
Захотелось дождя –
                но над вечным покоем
только снег, да луна ледяная нависла.

18 июля

И больше ничего… На тонкой нити солнца –
рассвета легкий дым, и высветленный дом,
и мы с тобой, и вздох сладчайшей из бессонниц, –
и больше ничего, и больше ни о чем.

И больше ничего… Хрустальный свет бокала,
и пузырька полет в изнеженном вине,
и мы с тобой, и сна воздушней покрывало, –
и больше ни о чем не вспоминай при мне.

И больше ничего… В гостиной дремлют гости –
за дверью нежный храп; а мы с тобой вдвоем –
до смерти, до креста на солнечном погосте, –
и больше ничего, и больше ни о чем.

И больше ничего… В июль раскрыты створки,
и сад, и мы с тобой, как десять лет назад,
и земляники вкус, и губ — медвяно-горький, –
и больше ничего — лишь дом, и сын, и сад.

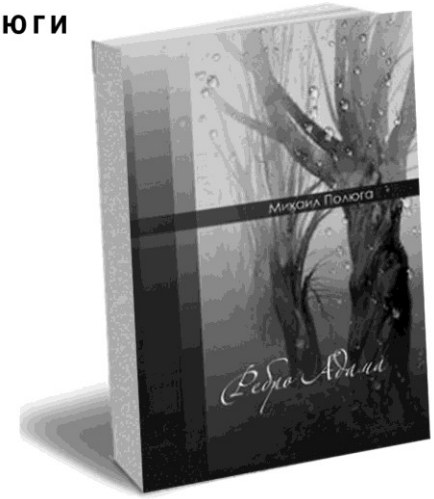
x x x

Когда пройдет товарный поезд
и смрадный грохот отдалится,
в траве, у самых ног укроясь,
засвиристит степная птица;
из оглушенного пространства,
как будто после многоточья,
и упоительно, и страстно
кузнечик звонкий застрекочет;
и, легче робкого дыханья,
перетечет за насыпь ветер,
с пушинкой празднуя свиданье,
недолгое, как все на свете.

Книга «Ребро Адама» Михаила Полюги
о любви и ненависти,
но более широко, чем отношения
между мужчиной и женщиной.

Эти противоположные,
но идущие рука об руку чувства
присущи в подлунном мире всему:
мировосприятию,
поискам смысла сущего,

они — духовная составляющая
каждого человека.



ЛИТЕРАТУРНОЕ za·za ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Василий Бабушкин-Сибиряк. Чужой. Повесть

Я, Гусев Василий Кузьмич родился 1948 году в Красноярском крае, где проживаю и поныне. Работал в тайге на реке Ангаре егерем, лесником. Образование высшее. Женат, три дочери и внучки. Пишу о жизни тайги, о животных, об экологии и сибиряках. Печатаюсь в российских и зарубежных журналах и газетах. Это третья публикация в Za-Za, две предыдущие — в №№ № 16, 2015 и № 22, 2016.
Историческая повесть «Победи в себе зло любовью» о Петрашевском М.В. отмечена литературной премией.
Характер дремучий, хороший семьянин, не член и порочащих связей не имею. Из староверов-кержаков.
Написал более двух десятков повестей и почти сотню рассказов и миниатюр.
Подписываюсь псевдонимом Василий Бабушкин-Сибиряк.

Повесть «Чужой» тоже из жизни тайги, в ней проходит главной нитью мысль о превосходстве природного Разума над разумом человеческим... много философских рассуждений о личности человека (по Кьеркегору)... Наверное, покажется неправдоподобной этакая философская связь с простыми непритязательными жителями тайги, рабочими лесного хозяйства, но так оно и есть, Люди везде пытаются осмыслить свою суть в этом мире...

Автор

Глава первая

Она рассказывает о Сибири, Ангаре, а также знакомит читателя с первыми героями

В начале 60х годов двадцатого столетия шло бурное освоение Сибири. Страна не просто прирастала Сибирью, она стремительно богатела ею. Началось покорение Ангары, строилась Братская ГЭС. По Ангаре вверх катера тащили баржи с техникой, оборудованием, вниз же возвращались с длинными плотами из ангарской сосны и лиственницы.

Вырубались и очищались от тайги огромные площади — дно будущего моря. Заготовкой леса занимались не только многочисленные лагеря с осуждёнными, но и быстро создающиеся леспромхозы.

Вольных лесорубов не хватало, леспромхозы бедствовали с рабочей силой.

Вот тогда то и рванули в Россию шустрые вербовщики от леспромхозов, лесозаводов, лесхозов и других производств за людьми, желающими хорошо заработать в Сибири.

«Купцы», как насмешливо прозывали вербовщиков, приезжая в любой город СССР, расхваливали своё предприятие, обещали огромные деньжищи и «подъёмные», забирали у завербовавшихся паспорта, и везли людей к себе, по дороге расхваливали, не жалея слов, будущий рай.

Многие из вербованных даже не представляли, что из себя есть эта райская Сибирь, где все гребут деньжищи лопатами.

Помнятся истории знакомства приезжих с местными условиями.

Два молодых грузина работают на чокеровке леса, цепляют хлысты, над ними вьётся туча мошки. Один отмахивается от неё чокером и ругается на своём языке.

— Тебя машка кушает?— спрашивает он товарища.

— Нет, у меня маз, только вот не видно ничего сквозь машку, куда цеплять, кого цеплять.

Подходит тракторист из местных ангарцев:

— Вы чего копаетесь, так мы до обеда и ходки не сделаем?

— Сапсем машка глаз закрыла, не видно ничего.

— Какая мошка? Вы видите около меня мошку?

— Нет, не видим, скажи, дарагой, какая у тебя маз?

— Солярка, вот какая у меня мазь, мазут с рук и лица ей смываю.

Грузины идут к трактору и моются соляркой, на какое-то время мошка от них отступает.

Летом донимали мошка и комары, а зимой морозы, но к морозам привыкали быстро, а вот к мошке — нет. В остальном Сибирь всем приходилась по душе.

Красива она до умопомрачения.

Ангара, с её ещё кристально-синей водой и спокойной, усыпляющей ширью, отражает в себе белые облака неба, когда мчишься на моторке, кажется, что летишь по небу, разрезая носом лодки молочные груды облаков.

Тайга прекрасна осенью, в это время первые заморозки-утренники прибивают мошку и комарьё, и наступает пора покоя, грусти и лицезрения чудного мира, созданного Творцом.

По Ангаре в те времена пассажиров перевозили на теплоходах ВТ. Это красивый дизель-теплоход, комфортабельный и для нынешнего времени. Как скучали по нему неторопливые ангарцы, когда на смену ВТ пришли суда на подводных крыльях.

На «Заре», от Широкого Лога до Богучан, восемь часов в тесном салоне высидеть в креслах на жаре и в духоте было порой очень трудно.

А вот на ВТ — красота. Туристический теплоход, не спеша, поднимался вверх по Ангаре, или двигался вниз, а пассажиры, выйдя из кают на палубы, любовались красотой дикой тайги на берегах тунгуской красавицы.

Зачастую к воде выбредали из тайги длинноногие сохатые, или медведица купала в ангарской водице своих шалунов-медвежат.

ВТ поднимался вверх за сутки. Несколько часов короткой летней ночи стоял на якоре, а бегущая ангарская вода, ласково плескаясь в его борта, навевала на пассажиров спокойный сон и умиротворяющее спокойствие.

Вот на этом ВТ и вёз вербовщик от лесхоза, мастер по подсочке сосны Лев Вениаминович, завербовавшихся на сбор живицы женщин.

Лев Вениаминович был человек положительный. Положительный здесь понимается и как человек занимающий положение среди людей, и как человек, имеющий положительные качества при отсутствии отрицательных.

Он был человек семейный, его жена порядочная и интеллигентная женщина, занимала должность зам директора лесхоза.

Она заставила мужа учиться на курсах мастера, одним словом сделала ему положение. И вот первое испытание его на прочность и порядочность — командировка за женщинами для сбора живицы.

Свою работу он выполнил отлично и быстро. В краевом центре на вербовочном пункте ему повезло. Двадцать две женщины желали выехать на работу в тайгу.

Несколько из них были отсидевшими свой срок, несколько по тунеядству, несколько романтиков, а четыре женщины с Кавказа, как тогда говорили, «высланные за сто первый километр за поведение, недостойное советской женщины».

Я остановлюсь пока на этих четырёх женщинах, потому как они все прижились в Сибири, нашли себе мужей и родили детей, ставших сибиряками.

Восточные женщины по своему менталитету быстро завоёвывают мужчину и закрепляют его за собой. Русским женщинам надо опасаться их соперничества. Русские брюнетки умны, но не так настойчивы и даже нагло настойчивы.

Не восточная экзотика прельщает русского мужика в кавказской женщине. Его прельщает полное её внимание к нему во всём. А русская женщина требует внимания к себе.

Кавказцы принимают почтение женщин к себе как должное. Им смешно становится, когда русскому мужу жена говорит:

— Сегодня на рыбалку не пойдёшь.

А русского коробит, когда он видит рабскую преданность в глазах восточной женщины к мужу, хотя та себя рабыней не считает. Одним словом, наша женщина хочет, чтобы муж принадлежал ей, а восточная, чтобы только она принадлежала мужу. Ох, и прав ты, товарищ Сухов.

Две Тамары, чересчур располневшие с некрасивыми лицами и цвета вороньего пера волосами, не привлекали особого внимания. Две же другие, одна Касымова Дина, а другая Алиева Ляля были очень заметны среди завербовавшихся женщин.

Первая была природная блондинка, удивительно, но факт. Она была азербайджанка. Только нос да ещё смуглость подтверждали это.

— Меня выслали за то, что я бляндинка — рассказывала она новым подругам, выговаривая некоторые слова с кавказским акцентом.

— Почему-то вдруг среди всей семьи я родилась белой, никто не говорит, а вот захотели от меня избавиться и отправили в Сибирь. Езжай, говорят, Дина, помогать тебе будем, а с нами тебе жить нельзя, может, и мужа там себе найдёшь.

Ляля не скрывала, что её выслали за любовь:

— Страсть, как люблю белых мужчин.

С первого же момента, как она увидела Льва Вениаминовича, сделала стойку.

— Я впервые увидела голубоглазого блондина, сразу решила — будет мой! — рассказывала она после.

Ляля из общих кают перешла в двухместную Льва Вениаминовича и развлекала того всю дорогу своими дозволенными речами. К концу пути сердце Льва принадлежало Ляле. Бойтесь, львы, льстивого восхищения лисицы.

Ангара несла свои воды к Енисею, а теплоход неторопливо двигался вверх, разрезая своим носом набегавшие волны. Где-то через три часа пути ВТ догнал катер с Маклаковского ЛДК «Муссон».

Пришвартовавшись к теплоходу, он высадил на него двух женщин. Одна, пожилая, вела себя с матросами по-свойски, видно было, что те её хорошо знали, другая, молодая с чемоданом, вела себя очень неуверенно.

— Катерина, кого это ты нам привезла? — спросил пожилую женщину шкипер.

— Да не вам, ишь, обрадовался. Где здесь у вас едет «купец» с вербованными бабами?

— Да вон в той каюте. Только стучись покрепче, он там не один.

Катерина уверенной походкой прошла к каюте и постучала, выждав время, постучала вновь. Дверь открылась, выглянул Лев Вениаминович. Не давая ему ничего сообразить, Катерина вошла и закрыла за собой дверь. Бросив быстрый взгляд на жгучую брюнетку, прикрывавшуюся простынёй, сказала ей:

— Подвинься, красавица, не стоять же пожилой женщине.

Потом сев, повернулась ко Льву Вениаминовичу:

— У меня до вас, милый человек, дело есть. Вы везёте людей по оргнабору, надо принять ещё одну девушку, документов у неё нет, считай, что их спёрли вместе с деньгами. Я так думаю, вы сможете уладить эти проблемы.

— В общем-то, это возможно, — промямлил тот.

— Вот и ладненько, девушка она хорошая, тихая. Я попрошу вас проследить за её судьбой в тайге. Определить её нужно к хорошему человеку. Мы по Ангаре часто на катере проходим, я обязательно проверю.

Так вы пометьте себе там, в бумагах, Середа Анюта из Белоруссии. Прощаться не буду, счастливого вам плавания, пройдёмте, познакомлю вас с ней. Прощай, красавица, ишь, какого ладного мужчину отхватила.

Они вышли вместе. Лев Вениаминович познакомился с Анютой и повёл её устраиваться к другим женщинам. Катерина, поцеловав ту в щеку, пошла к буфету, где купила ящик пива «Жигулёвское». Матрос помог донести пиво до катера. «Муссон», на прощание, взвыв сиреной, развернулся и пошёл вниз.

Лев Вениаминович спросил у матроса:

— Что это за женщина была?

— Катерина, её все флотские на Ангаре и Енисее знают. Авторитетная женщина. Скажет — отрежет, уже за пятьдесят, а всё по реке мотается. Уважают её капитаны, хотя и попивает она.

— Такую зауважаешь.

И Лев Вениаминович отправился в свою каюту к черноокой красавице Ляле.

Между тем ВТ прошёл мимо нескольких деревень, приставая к берегу, высаживая и набирая новых пассажиров.

Наступило время заката. На теплоходе люди готовились ко сну. Замолкали детские разговоры, смех и плач. Уставшие за длинный, полный впечатлениями день, дети прижимались к мамам и засыпали под их ласковый шёпот. Этот шёпот напоминал летний тёплый ветерок, ласкающий и остужающий разгорячённое тело.

Засыпали перебравшие за день «Солнцедара» и пива мужики. Их тяжёлое прерывистое дыхание наполняло каюты смесью спирта, но не даров солнца.

— Мам, мам, а папка где? Мы не потеряем его? — слышался полусонный голос девочки.

— Спи, здесь твой папка, храпит давно.

Солнце спряталось за гористые берега Ангары, и только его лучи расплёскивали краску по небу. Небо, облака меняли палитру этих красок от нежно розового до кроваво-малинового.

А теплоход двигался медленно вверх по реке, оставляя за кормой на глади реки пожар уходящего солнца. Он двигался к восходу, вот уже через четыре часа прямо по курсу солнце вновь окрасит небо, но уже первыми лучами нового незнаемого дня, который нужно будет прожить.

Коротка ночь летом на реке. Два часа покоя и вновь ВТ идёт вверх по реке на восток, навстречу утренней заре.

Ближе к обеду к теплоходу лихо причалила моторка. Привязав её, на борт поднялся крепкий коренастый парень в штормовке. Это был известный в этих местах Петро Панасюк. Сколько крови он попортил рыбнадзору. Поймать его на самоловах и сетях было почти невозможно.

Петро родился на Ангаре от сосланного сюда бандеровца Панасюка и дочери местного ангарца. Работал он в лесхозе вздымщиком, подсачивал сосны для сбора живицы. У вздымщиков ненормированный рабочий день, они, как старатели, сами себе хозяева. Петро был жадным до денег. Он хапал везде и всё.

Рыбу продавал в город, зимой охотился. Пушнину, мясо, шкуры, желчь, кабарожью струю — обращал в деньги. Животных он убивал с наслаждением, потому настоящие охотники его презирали, а он, посмеиваясь, считал, что они завидуют его удачливости.

К теплоходу он примчался с определённой целью. Узнав, по рации, что везут вербованных, он решил первым выбрать себе женщину. В те времена, устроившиеся на сборку живицы женщины жили всё лето в тайге во времянке-избушке с мужчиной–вздымщиком. Он был для неё как бригадир, товарищ по работе. Но не только. Жизнь вдвоём вдали от людей, в одной избушке диктовала свои условия.

Некоторые женщины становились жёнами вздымщиков, некоторые только женщиной на один сезон. Мужики в тайге менялись ими, если они надоедали. Зачастую сами женщины находили для себя приемлемого напарника. Им предоставлялось право выбора.

Заработки на сборе живицы в те времена были большими. Оторванность от нормальных условий жизни, высокая цена собранной сосновой смолы-живицы, перевыполнение плана сбора, когда собранная сверхплановая живица шла по цене, как говорили «рубль за рубль», всё это складывалось в приличные деньги.

Рабочие лесхоза выезжали из леса за покупками в посёлок. Такой «кураж» и разгул посёлок видел только при получке зарплаты «химиков». «Химиками» стали звать рабочих лесхоза, а лесхоз — химлесхозом, когда сменилась технология вздымки.

Для более быстрого течения смолы из сосны, «технологи» стали применять сильнодействующие химические вещества, которые сами «химики» звали «бардой».

«Барда» выжимала из сосны всю смолу, дерево высыхало. Выжать всё из природы, взять от неё всё что можно — наша задача. Так считали и считают виднейшие учёные, получая государственные премии, а рабочие для своей премии выжимали и выжимали…

Несколько дней «химики» гуляли. Они приходили в магазин и скупали всё, что видели, напоминая детей, которые тянутся к красивым игрушкам. Но не только детей. Деньги портят человека, здесь это происходило на глазах. Вот пьяная женщина сборщица живицы покупает себе наряды. Она напялила на себя одну кофточку, вторую, затем третью.

— Вы снимите их с себя, вам же жарко будет — говорит ей продавец.

— Если сниму, то обязательно где-нибудь потеряю, пусть на мне будут. И она стоит в этих трёх разноцветных кофточках с болтающимися ярлыками и требует показать ей самого красивого «тюлю». Продавец разворачивает рулон, набрасывает лёгкую воздушную ткань на женщину. Та в восхищении:

— Беру, всё беру, весь рулон, на времянке шторы повешу. И кричит своему мужу:

— Мишка, гляди сюда, какая красота. А, алкаш, кроме водки его ничего не интересует.

Мишка тем временем перекладывает бутылки с водкой из ящиков в рюкзак, около него крутятся добровольные помощники, помогают, советуют, что нужно взять из «закуси». А он весь в «кураже»:

— Захочу ещё пять ящиков куплю, вот они деньги-то — и хлопает себя по карману.

Через день-два мастера начинают отлавливать своих рабочих по посёлку. Это опытные люди, они с вечера знают, где кто упал в пьяном угаре, и подъезжают за ними на тракторе с тележкой. Одних забрасывают нечувствительными — в дороге очухаются. Других, более трезвых, обязывают следить за пьяными.

Грузят продукты, сохранившуюся водку конфисковывают для себя. Развесёлая пьяная компания орёт, поёт, матерится, а трактор тянет тележку в тайгу. Главное здесь, чтобы тракторист был трезвый и мастер.

Вот сюда то и вёз пополнение Лев Вениаминович, а к нему примчался на моторке лихой «химик» Петро Панасюк.

Они сидели в каюте, и Лев Вениаминович показывал личные дела вербованных женщин. «Кавказок» Петро сразу забраковал:

— Эти работать не будут, они для другого дела созданы.

Освободившихся он тоже откинул — «слишком грамотные», тех, которые ехали «за туманом и за запахом тайги», он просмотрел, но остановился на «белоруске» без документов.

Петро пошёл знакомиться с ней. Он придирчиво осмотрел её с ног до головы, представился, как её будущий товарищ по работе. Он стал

расспрашивать Анюту, где она работала, выносливая, не лентяйка ли. Он спрашивал её обо всём без стеснения с нагловатой усмешкой, и она сразу стала побаиваться его, как начальника.

Она рассказала, что жила в Белоруссии в лесу, привыкла вставать рано, а ложиться поздно и что не боится никакой работы.

— Это хорошо, значит, мы сработаемся, учти, что работы очень много, три месяца: июнь, июль и август придётся пластаться, не разгибаясь, но зато заработаешь столько, что тебе в твоей Белоруссии за два года не заработать.

А сам Петро думал:

— Вот, кажется, нашёл ту, что надо, будет резать за меня, собирать живицу за себя, готовить на времянке, да и для постели сгодится. Она будет работать в тайге за двоих, а я промышлять на реке. За лето ещё одну сберкнижку открою.

А Анюта радовалась, что вот как удачно всё складывается, судьба определилась, с работой хорошо, и с жильём, и с заработком, а там и паспорт со временем выправит. Она стояла на палубе и смотрела, как лихо отчалил и помчался на своей моторке её новый знакомый, будущий товарищ по работе. Её задавленную воспоминаниями и тоской душу вдруг отпустило, появилась надежда на лучшее.

Глава вторая

В ней рассказывается о славном посёлке Маклаково на Енисее. А также о некоторых событиях, предшествующих событиям первой главы. Авторские размышления о лидерстве в человеческом обществе можно пропустить.

На Енисее в те времена хорошо был известен посёлок Маклаково. Вначале один, потом два лесозавода перерабатывали всю древесину, сплавляемую сюда в плотах по Енисею и с Ангары.

Работы было много, рабочих не хватало. Потому вначале вместе с вольнонаёмными работали люди, отбывающие свой срок за мелкие преступления, которых почему-то звали «химиками», или высланными «на химию».

Они жили в бараках-общежитиях вместе с вербованными со всей могучей державы людьми и отличались от них разве только тем, что отмечались в милиции у своих, как они говорили, «вертухаев».

Потому то и славилось Маклаково на Енисее своим криминальным существованием. «Шикалы», так называл енисейский люд жителей из Маклаково, переделав слово «шакалы» на более звучное и точное «шикалы».

Шалый и любящий шик народ посёлка, свезённый сюда на Енисей, постепенно менялся, здесь выживали на трескучих сибирских морозах только сильные личности, слабым места не было. Потому-то славится Сибирь своими людьми, привыкшими к выживанию.

Вербовали людей на работу по всему СССР. Так что в поселке жили люди разных национальностей. Но что такое национальная вражда — понятия не было. Подшучивали друг над другом, но беззлобно. Русские женились на хохлушках и белорусках, хохлы брали за себя местных девок и даже кавказцы забывали про свои обычаи. Сибирь всех делала одной нацией — сибиряками.

Да и съезжались сюда в основном люди, не прижившиеся по каким-то причинам у себя на родине. Здесь, среди таких же изгоев, они забывались и начинали новую жизнь.

Сколько разных судеб, и каких переплетений человеческих жизней только не происходило.

Построили ЛДК в Ново-Маклаково, а рядом двухэтажки и общежития. Завод работал в три смены, останавливаясь только на советские праздники, которых было мало. Живая лента людей всасывалась на пересменке в горло лесозавода и растекалась по цехам. Отработав смену, люди расходились по общежитиям, а кто имел семью, к жене, детям.

Старожилы, наверное, помнят в Ново-Маклаково Климовский магазин. Это был магазин смешанных товаров: галантерея, продукты, спирт, водка, там же была и пивнушка. Магазин имел нехорошую славу воровской малины.

Грузчиком в нём работал немой, впоследствии он стал сожителем Катерины. Катерина летом работала на катерах поваром, а зимой приторговывала дефицитными модными тряпками. Её хорошо знали в посёлке, она была авторитетом среди женской половины жителей.

Это была жёсткая с нехорошим вызывающим взглядом женщина. Её побаивались даже прожжённые мужики. Малоразговорчивая, но умевшая определить человека с одного взгляда, она оценивала людей своими мерками.

О себе она рассказывала иногда по пьянке. О том, что она сирота, что ей досталось от жизни:

— Отца убили в первый год войны, мать умерла от туберкулёза, приютили чужие люди, за кусок хлеба нянчила детей, потом подросла, взяли меня нянечкой в госпиталь, там кровь, боль, смерть. Привыкнуть было к этому трудно.

Бывало, стираю кровяные бинты в проруби, а сама тру ими себе руки лицо, чтобы заразиться и помереть. Но выжила, зачем-то нужна была Богу.

Пила она много, пьяной начинала жалеть себя, а потом становилась злой и всех принимала за своих врагов. Но трезвой была полной противоположностью.

Жалела людей, считая, что люди несчастны со своего появления, говорила, что кто-то проводит над ними громадный эксперимент, заставляет страдать на этой земле, воевать между собой:

— Взять бы этого гада и в человеческое дерьмо харей, харей..

Вербованные рабочие после трудовой смены в основном пили. Одни пили, молча и угрюмо. Другие с ухарским размахом, драками, поножовщиной, этих судили и оставляли на «химии» здесь же в посёлке. Некоторые из вербованных заводили семьи и вливались в основной костяк жителей будущего города.

Колокольчики-бубенчики ду-ду,
А я сегодня на работу не пойду,
Пусть работает железная пила,
Не для работы меня мамка родила.

Колокольчики-бубенчики ду-ду,
А я и завтра на работу не пойду,
Пусть работает железный паровоз,
Что по вербовке в Маклаки меня привёз.

Так пели в те времена под гитару молодые люди, приехавшие хлебнуть романтики, но хлебнувшие, некоторые впервые, неразведённого спирта из Климовского магазина.

Была на заводе партийная организация, был комсомол и в нём шустрые молодые секретари с далеко идущими планами. Они брали на себя обязанность лидера, вожака. Но всегда общество людей делится на части и каждая держится своего лидера.

И партия и комсомол говорили о рабочем классе, но нужен он им был для их собственных планов и карьеры. Призывы, лозунги, агитация доходили только до амбициозных рабочих, желающих получить место бригадира, место передовика производства, а с ними и причитающуюся славу и выгоду. Большая часть рабочих жила по своим законам и имела своих авторитетов.

……это можно пропустить……

Что такое человек? «Человек не что иное, как притворство, ложь и лицемерие в отношении к самому себе», — сказал Фрейд. А Ницше добавил « и в отношении к другим».

Люди ненавидят друг друга. Такова суть их природы. Ненависть и зависть получили они вместе с Разумом. Библейский сюжет с яблоком не лишён смысла. Люди захотели сравняться с Богом и получили свободу пользоваться Разумом. На что они употребляют Его? На борьбу друг с другом и на борьбу с Природой.

Как ни парадоксально, но именно ненависть друг к другу сгоняет людей в толпу. Почему люди следуют за большинством? Только потому, что большинство сильно.

Любой лидер, ведущий толпу, ненавидит её и боится.

Страх сгоняет людей в толпу, но не поиск Правды. Правды в толпе нет! Почему Бог обращается к каждому человеку, но не к толпе, как лидер? Не потому ли, что принцип толпы — искать самое лёгкое решение и выносить приговор большинством. «Распни Его, распни» — вот он этот принцип.

«Множество — это ложь» — сказал датский философ Кьеркегор. Он прославлял человеческую личность. Но личность свободную от мнения толпы. Не всякий лидер, вождь — личность! Если лидер зависит от толпы и выражает её взгляды, боится оторваться от неё — он не личность.

Кьеркегор сравнил человеческое общество с церковью, где отцы церкви владеют верой, но не вера владеет отцами церкви. Призыв « Нынешнее поколение будет жить при коммунизме» привёл бы его в ярость. Он отрицал будущее, жить нужно настоящим!

Спасти человека от массы, спасти его от толпы. Спасти от лидеров, знающих как тебе нужно жить. Но спасение заложено в самом человеке.

----------— ----------— ----------

Беликова Катерина была личностью. Она не претендовала на роль вожака, жила по своему разумению. С детства поняла: если хочешь выжить среди людей, нужно драться. И она отстаивала себя в любой ситуации.

Когда то в детстве ей дали Библию, книга ей показалась слишком мудрёной и скучной. Но почему-то на всю жизнь ей врезались в память слова:

« …если хочешь спасти душу, ты должен потерять её». Для неё это стало призывом к борьбе. Не бойся смерти ради настоящей жизни, так поняла она эти слова. Потому не ведала страха, страх перестал быть её господином.

Люди, встречавшиеся ей по жизни, интуитивно чувствовали это, и сами, испытывавшие постоянный страх, тянулись и подчинялись ей как лидеру.

В семнадцать лет Катерина вышла замуж за приезжего хохла, шкипера енисейского пароходства. У них родилась дочь, которую больше воспитывал отец. Катерина была плохой матерью, наверное, нянчась в детстве с чужими детьми, она стала испытывать к ним отвращение.

Любить мужа и других людей она просто не умела и не хотела. Ей было противно само слово любовь. Потому они с мужем вскоре развелись. Вся её

дальнейшая жизнь летом проходила на воде. От навигации до навигации она дожидалась весны в посёлке, коротая зиму то с одним мужиком, то с другим.

С дочерью, которая вышла замуж за колхозника и уехала в деревню, она виделась редко. Иногда наезжала в гости после навигации, привозила множество подарков ей и своим внукам, которых было уже пятеро.

— Вы деньги на керосине не экономьте, а то в темноте вон уже, сколько наплодили — говорила дочери.

— Вот и помогла бы деньгами, всё равно пропьёшь, прогуляешь.

— Мне никто не помогал, сама выкарабкивалась, вот и вы выкарабкивайтесь.

— Тебе хорошо было тогда? Почему тебе Бог жалости не дал к людям?

— Вот пусть Бог и жалеет людей. А люди не достойны никакой жалости, пожалела я однажды одного, из г…на вытащила, от смерти спасла. Он должен бы на меня молиться, а он, знаешь, что сделал, через год к засранке с тремя выблядками ушёл.

— Значит, полюбил он её, вон отец тоже живёт с женой, что его любит, сёстры и брат у меня сводные, а ты никогда никого не любила.

Но коснулась любовь и ее сердца. Полюбила Катерина своего старшего внука Витьку. Витька изо всей семьи любил свою бабушку. Что бы ни говорила про неё мать и как бы ни ругала её за пьянку, для него она оставалась родным человеком.

Катерину тронула эта детская жалость к ней и любовь, впервые кто-то искренне любил её, не требуя ничего взамен.

Она выделяла Витьку из всех внуков, покупая для него дорогие подарки, однажды привезла семилетнему мальчишке наручные часы.

— Ты смотри, сынок-то у меня с часами ходит, придётся и мне, мать, купить себе, а то, как то несолидно перед ним выгляжу, — смеялся Витькин отец.

— Не балуй мальчишку и не выделяй его среди остальных, — ругала Катерину дочь.

Витька вырос, стал Виктором, поступил учиться в КГУ, а Катерина время от времени посылала ему денежные переводы и посылки с подарками. Остальных внуков она не жаловала.

Для неё стало большим потрясением исчезновение Виктора. В университете Виктор учился хорошо, но со второго курса его отчислили за связь с анархистами. Так Катерине объяснил вузовский особист, к которому она прорвалась со свойственной ей напористостью.

Пожелав ему и его детям немыслимых несчастий, а этой гнилой власти скорейшего конца, Катерина попыталась напасть на след внука. Выяснила только, что тот уехал на Ангару к знакомому староверу.

Прошло ещё несколько лет. Катерина, уйдя от своего последнего сожителя, глухонемого «немтыря», жила в общежитии.

Вот там-то она впервые пожалела вербованную девушку из Белоруссии Анюту Середу и помогла ей.

Однажды она застала в туалете плачущую девушку.

— Что, красавица, жених бросил, или деньги потеряла? Если жених, то радуйся, лучше раньше, чем позже. А деньги навоз, сегодня нет — завтра воз.

— Да как раз всё наоборот. Пристал один тут, женихом назвался, спит со мной и деньги отбирает, а у меня дома мама больная, ей на лечение копила.

— Так не отдавай, а от него уйди.

— Куда идти, он у меня паспорт забрал, а деньги не отдавала, так привёл дружков, таких же уголовников, как сам, и те меня насиловали, пока не отдала.

— Влипла ты, девка, ножом пырнуть, или отравить, поди, не сможешь?

— Да вы что, я и подумать про такое боюсь.

— Тогда терпи, будь при нём рабыней, менты тебе тоже не помогут.

— Сказал, если вякну, сразу дружки кончат.

— Придётся помочь тебе, собирай свои вещи, перебирайся ко мне в комнату.

— Так он и к вам придёт.

— Как придёт, так и уйдёт, это уже моя забота.

Почти месяц прожила Анюта у Катерины. Подружилась, относилась к ней, как к матери. Когда пришёл разбираться «жених», Катерина приставила к его горлу опасную бритву и твёрдо сказала:

— Отстань от девки, она под моей защитой, верни ей документы и забудь про неё, иначе я этой бритвой отчекрыжу у тебя яйца, и будешь ты петухом кукарекать.

Парень оказался сообразительным, о Катерине слыхал от «блатных, потому оставил Анюту, как сказал «на время», а документы не вернул.

Началась навигация на Енисее, и Катерина решила Анюту спрятать от «дружка», она пристроила её к завербовавшимся в лесхоз женщинам, сборщицей живицы. Так Анюта начала новую жизнь, а вот легче ли она будет, узнаем дальше.

Глава третья

Из которой мы узнаем о жизни жителей «сумеречной зоны», или рабочих лесхоза. Познакомимся с Профессором, вздымщиком Наумовым, Майором, а также узнаем их понятие о мудрости.

Лесное хозяйство — это несколько мастерских участков в тайге. В каждом участке до пятидесяти человек вздымщиков и сборщиков живицы. Живут рабочие в основном каждый на своей деляне в рубленых избушках. Избушки ставят ближе к воде и деляне с сосновым бором. Раскиданы эти избушки друг от друга иногда от пяти и до десяти километров, но это не мешает навестить соседа иной раз по надобности.

Разные люди живут и работают в лесхозе. Кого здесь только не перебывало. Работал спившийся прокурор, долго жил и работал бывший секретарь горкома партии, который вдруг осознал паразитическую суть власти.

Уже десять лет жил в тайге бывший преподаватель философского факультета Московского вуза Алексей Ветлицкий. Алексей был поклонником экзистенциализма и проповедовал учение Кьеркегора.

Экзистенциализм никак не вязался с марксистко-ленинской философией и преподавателя вытурили из вуза, чтобы он не туманил головы студентам. Жена, обозвав философа неудачником, ушла к подающему виды комсомольскому вожаку.

А бывший преподаватель, помыкавшись в столице без работы, завербовался и уехал в Сибирь. Здесь в тайге он нашёл для себя полный смысл бытия. Остальные вздымщики находили его немного странным, называли Профессором и считали, что профессора, они все с причудами.

Это Профессор назвал территорию, разделявшую человеческое общество, живущее в городах, посёлках и нетронутом мире тайги — сумеречной зоной. Он думал о рабочих лесхоза, лесниках, охотниках:

— Эти люди не совсем отошли от своего мира и не совсем вписались в мир Природы, они живут и по людским законам и по закону Инстинкта.

Вот с этими людьми, мой читатель, мы и будем знакомиться.

На берегу таёжной речушки стоит времянка вздымщика Наумова Ивана.

Он живёт один, на лето к нему приезжает сынишка, помогает собирать живицу и к сентябрю уезжает в город загоревший, окрепший на чистом таёжном воздухе. Кроме впечатлений он увозит с собой и большие деньги, заработанные с отцом.

Наумова за глаза ещё называют «баптистом», он верующий человек. И не просто верующий, а убеждённый христианин, цитирующий Библию по памяти.

Как и Профессор, он в лесхозе работает почти с его основания. Когда-то он сильно пил. От него ушла жена с грудным ребёнком. Вот тогда-то он уехал по вербовке на Ангару. В дороге ему встретилась семья баптистов, которая прониклась к нему состраданием. Они рассказали ему, какие муки перенёс за всех людей Иисус Христос.

Особенно поразило Наумова, что Спаситель пострадал и за него лично. Они помолились за заблудшую овцу, дали Наумову Библию. Наумов зачитывался этой мудрой книгой в тайге.

Прочитав несколько стихов, шёл работать, работая, думал о прочитанном и разговаривал с Богом. Он, никогда не знавший родителей, вдруг обрёл небесного Отца.

За несколько лет Наумов научился не только понимать смысл прочитанного, но и размышлять, делать выводы. Изменилось его сознание, пришла уверенность, появился смысл в жизни. Он бросил пить и курить с того момента, как осознал, что это грех.

— Любой грех нужно ненавидеть, чтобы он не завладел твоей душой — говорил он.

— От греха может освободить только Спаситель, это Он несёт тяжесть всех грехов человечества на Голгофу. Никакой врач, целитель, знахарь, одним словом, человек не избавит другого человека от греха. Не сможет полностью излечить алкоголь, наркотическую и другую зависимость. Не делайте себе ложных кумиров и идолов из человека.

Уже в первый год Наумов съездил к бывшей жене и убедил её вернуться к нему, говоря, что он, как муж, несёт за неё и сына ответственность перед Богом. Та согласилась, но переезжать в Сибирь отказалась наотрез, здесь у неё работа, подруги, родители.

С тех пор сынишка Наумова каждое лето проводил с отцом, а зимой Наумов жил с семьёй месяца по три.

Он хорошо зарабатывал и большую часть зарплаты отправлял семье, в которой, наконец-то, поселился мир.

Среди вздымщиков Наумов считался «добрейшей души человеком», всегда готовым помочь и советом, и делом. Его часто обманывали, но он только конфузливо улыбался, махал рукой и говорил:

— Бог поругаем не бывает, и никто не знает, может этот обман обернётся для обманщика спасением.

Наумов старался всячески избегать любых пьянок и отходил, как сам говорил, от всякого греха.

Однажды в лесхозе появился наглый вороватый мужичонка. Он занимал деньги у Наумова, жалуясь на нехватку, выпрашивал одежду, вещи, одним словом обнаглел до невозможности. Когда он после, смеясь, рассказывал другим вздымщикам о том, как нагрел «баптиста», к нему подошёл Майор. Майор взял рассказчика за горло, поднял над полом:

— Ты, мразь, верни человеку всё, что взял, иначе я тебя похороню в тайге, не будь я Майором.

Этого было достаточно. Майора все хорошо знали, тот мог это сделать. Когда после, разговаривая с Наумовым, Майор сказал:

— Нельзя быть с подонками таким доверчивым и добрым, они обнаглеют и на голову сядут. Ты же здоровый мужик, пару лёгких затрещин отвесил, и тебя поймут, — тот ответил:

— В слабости ваша сила — так учит нас Учитель. И Он прав, вот мне не пришлось бить этого человека, ты разобрался, а не будь тебя — другой бы вступился. Сам теперь видишь, что смысл глубокий в словах Спасителя.

— Я вот думаю, вокруг много умных людей, многие высшее образование имеют, но вот ты говоришь порой так просто и доходчиво. Откуда у тебя такая мудрость?

— Мудрость не приходит с годами, это не есть жизненный опыт. Мудрость даётся Богом человеку, как дар. Вот возьми поэта А.С. Пушкина, ему, молодому человеку, был дан этот дар Богом. А сколько ещё таких людей. Нужно молить Господа, чтобы Он наделил тебя мудростью. Ведь не имея её, человек не сможет многого понять в Слове Божьем. Библия очень мудрая книга и открывается не всякому. Её читают образованные умные люди, но порой мудрость её проходит мимо их сознания. А вот какой-нибудь неприметной старушке открывается вся её глубина.

— Значит мудрость от Бога? А разве не бывает мудрых людей безбожников?

— Не бывает. Какая в нём мудрость — если нет веры.

— А как же Профессор? Не зря же его мудрецом зовут.

— У Профессора есть вера. Я разговаривал с ним не один раз. Он верит в Создателя. Не любит, презирает род людской, превозносит личность над толпою, но Бог для него существует. А Иисус учил: «Любите ближнего своего...», учил любить всех людей, даже своих врагов.

— Нет, с врагами явный перебор. Любить, к примеру, убийцу твоего ребёнка, или человека, растоптавшего твою душу, твою жизнь, — невозможно.

— Есть понятия, которые просто недоступны человеческому разуму, но это не значит, что они невозможны.

— Мудрёно всё это. Тебя слушаешь, кажется, что твоя правда, Профессора — его.

— Правда у каждого человека своя. Истинная правда — у Бога.

— Правда у Бога, Любовь у Бога, суд и справедливость у Бога, а что тогда Он людям дал?

— Веру в будущее. В то, что человек соединится с Богом и обретёт и Правду, и Любовь, и вечную жизнь.

— Профессор толкует, что жить нужно только настоящим, будущего не существует, а прошлое не может изменить даже твой Бог. Вот взять, к примеру, мою жизнь. То, что в ней было — не изменить, прошлое создаёт настоящее и будущее.

Свою историю жизни Майор рассказывал всем, а после спрашивал, отчего так бывает? Почему все бабы стервы и такие похотливые? Вот его дословный рассказ.

— Служил я в ракетной части. Командовал полковой разведкой. Дослужился до майора и дальше перспективы неплохие были. С женой хорошо жили. Любил я её, души в ней не чаял. Доверял ей во всём, две дочки у нас росли. В отпуск на Чёрное море возил семью, пить я тогда почти не пил, деньжата были. Завидовали мне однополчане-офицеры, мол, жена любящая, верная. Наверное, сглазили. Стал я замечать, что как-то смотреть на меня не так стали, кто с интересом, кто с жалостью. Сказать мне правду боялись, человек я крутой, да и не поверил бы.

Вот однажды анонимку мне подсунули. А в ней расписано, кто и когда к моей жене приходил и что в последнее время она со смазливым лейтенантиком из штаба забавляется. Наверное, такая же стерва из зависти написала, или такой же рогоносец, как я, решил позлорадствовать. Люди — они все дерьмо.

Надо сказать, что я в неделю четыре дня жил в дивизионе в казарме с солдатами. Думаю, девчонки мои сейчас гостят у бабушки, я, значит, живу в казарме с солдатами, жене полный резон принимать любовника. Решил проверить. Срываюсь с дивизиона, на «газике» мчусь в полк.

Захожу домой, жена долго не открывала, но разведчика не проведёшь. Вижу следы поспешной дисклокации, понял: любовник под кроватью.

Сначала смешно стало, ну прямо, как дети, в прятки играем. Сел я за стол, налил стакан до краёв и опрокинул его в себя. Потом запел:

Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной,
Я был за Рассею ответчик,
А он спал с моею женой.

Вытащил пистолет, постучал по кровати:

— Вылезай на свет, товарищ.

Жена в обморок, тот вылез, трясётся весь. Жену облил водой, как очухалась, говорю ей:

— Объясни мне только одну непонятную вещь. Вот я с тобой сплю три дня, ты устаёшь даже от этого, неужели тебе мало, и ты потерпеть четыре дня не можешь. А теперь смотри сюда.

Засовываю я ствол пистолета лейтенанту в рот и говорю:

— Ну, вот и добегался ты, дорогой товарищ, по чужим бабам.

Описался мой писаришка. А я жене говорю:

— И ты меня, геройского парня, майора, променяла на этого сопляка. Скажи, почему?

Молчит. Тогда я плюнул, хватанул второй стакан, вышел, сел в «газик» и погнал, куда глаза глядят. Остановили меня гаишники. Потом разжаловали, а мне уже всё до лампочки. Ушёл я из армии и вот теперь здесь, в тайге. Вот объясни мне, почему бабы такие? Чего им не хватает? А может, я в чём-то не прав?

Наумов почесал голову:

— У каждого человека своя болячка, вот рассуждая по законам библейским, то ты виноват, как муж её, что допустил жену до греха, как когда-то Адам не остановил Еву от искушения. Но ты должен простить её и

не держать в себе зло, потому, что любое зло разрушает в первую очередь душу обиженного.

— Ты сам говорил, что любой грех должен быть наказан. Если прощать всех убийц, педофилов и прочую мразь, человечество скатится в такой хаос, откуда нет возврата. Ведь жили люди по закону «Око за око, а зуб за зуб» и никакого прощения.

— Знаешь, Майор, каждый человек должен сам делать за себя выбор. Тут я согласен с Профессором, что каждый человек — личность. В Библии говорится, что дорога к Богу извилиста и трудна и у каждого человека она своя, а вот широкая и торная дорога, по которой можно идти толпой, ведёт в ад. А ты на правильном пути, ты мыслишь, ищешь Истины, значит, придёшь к Богу.

На том их разговор закончился. Жизнь в сумеречной зоне между тьмой и светом приучала её жителей задумываться, философствовать. После пьянки наступала пора работы и созерцания Природы. Тайга жила своей жизнью и люди, видя эту жизнь, сравнивали её со своим существованием.

Сравнение было не в их пользу. Эти люди жили в Природе, Она влияла на них своим биополем, но изменить до своего уровня не могла. Слишком велико было влияние человеческих отношений. Некоторые уходили в самую глушь тайги и по нескольку лет не выходили в сумеречную зону. Они принимали новую веру. Веру в Природу, в Инстинкт.

Но в любом случае человеку важно общение с другими людьми. Год-два добровольного лишения себя общения, а потом человек начинает тяготиться своим эго. Он начинает ненавидеть свои чувства, мысли. Ему кажется, что он ничтожнейшее и гнуснейшее создание. Некоторые не выдерживают и кончают с собой. Другие возвращаются к людям. Вот он вернулся и видит, что есть другие, ещё хуже его, и вовсе не страдают от своего несовершенства. Тогда он успокаивается на какое-то время. Его покидает чувство недовольства самим собой.

В посёлке лесхозовские рабочие выделялись не только своим ухарским отношением к жизни, но и как думающие люди. Даже ходила такая побасенка. В леспромхозе мужики соберутся так про баб разговоры ведут, в стройке про деньги и заработки, а вот лесхозовские те философствуют.

Между тем наступили в Сибири жаркие дни июня. Тайга успевала жить и готовиться за короткое лето к долгой морозной зиме. Всевозможные запахи цветов и трав наполняли её воздух. Но самым целебным был запах в сосновых борах — запах нагретой сосны и её смолы живицы. Смола, разогретая палящим солнцем, стекала по канавкам в воронки и напоминала слёзы. Людям нужна чужая боль.

Глава четвёртая

В ней проследим дальнейшую судьбу Анюты, побываем в гостях у Профессора. Кто я?— говорит Кьеркегор, и ему вторит Профессор, высказывая свои философские размышления. Вся жизнь — игра, а мы игроки, — выдаёт свою мысль Сеня Игрок. Два друга, Чуваш и Лысый Колька.

«Где я? Кто я? Как я пришёл сюда? Что это за вещь, которая называется миром? Что это слово значит? Кто тот, кто заманил меня в бытие и теперь покидает меня здесь? Почему со мной не посоветовались, не познакомили с манерами и обычаями мира, но всунули в ряд, будто я был куплен «продавцом душ»? Куда я обращусь с моей жалобой? Если нужно принять мир как он есть, не было бы лучше никогда не узнавать, каков он?» — так писал Кьеркегор и с ним во многом соглашался Профессор.

Алексей Ветлицкий, прозванный в сумеречной зоне Профессором, нашёл в тайге не только идеальное существование для своего тела, но и полную свободу для мысли и для своей души.

Он полностью доверял своему подсознанию и жил под его диктовку. Он размышлял:

— Возьмите любое животное. Инстинкт говорит ему: этой травой можно вылечиться, а этой можно отравиться. Животное беспрекословно подчиняется Инстинкту. Инстинкт его бог! Люди тоже имеют своего бога и уверяют себя в том, что он живёт в их теле. « Царствие Божие внутри вас», — говорит апостол Лука.

Так почему люди не хотят верить в это, хотя считают себя истинными христианами и верующими? Одни верят иконам, другие Небесному Отцу — одним словом, Богу, который находится вне их тела и сознания.

А ведь самые правильные решения к ним приходят изнутри, через Интуицию. Это и есть тот Святой Дух, что связывает Бога с человеком. Бога, что есть изначально в каждом из нас, можно назвать Инстинктом.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» — так сказал апостол Иоанн. Ему надо было заменить слово Бог словом Инстинкт, потому, что дальше он описывает именно Инстинкт.

Все человеческие чувства, исходящие от Инстинкта, идут человеку на пользу. Всё что идёт от человеческого Разума обращается во зло человеку.

Если взять библейскую притчу о древе познания добра и зла, то она открывает историю человечества очень разумно. Люди захотели сравняться с Богом и иметь свой Разум вместо Инстинкта, данного им Богом. Вкусив яблока, получили свободу выбора. С тех пор человечество живёт своим Разумом, который и ведёт его к гибели. И только когда люди обращаются к Богу, находящемуся внутри каждого, Тот даёт им правильные мысли.

Таёжная, заросшая до невозможности речушка петляла между сопок, покрытых зелёным ровным ковром сосновых боров. С вершины сопки этот ковёр выглядит очень красиво и величественно. В молодых борах полно черники, она наливается соком в тени сосняка, здесь всё лето пасутся медведи, загребая когтистой лапой себе в пасть и пережёвывая ягоды вместе с побегами и листьями. Среди черничника попадаются тёмно-фиолетовые кучи медвежьего помёта.

Как только поспеет ближе к осени брусника в старых осветлённых борах, медведи переключаются на эту ягоду, кисточки которой выделяются яркими багровыми пятнами на белом мху.

В старых борах в основном идёт сбор живицы. Сосны здесь огромные, бывает, вдвоём не обхватишь, вздымщики называют их любовно «коровками» и знают точно, сколько и когда такая сосна даст воронок янтарной смолы.

Медведи и люди уживаются спокойно в таких борах. Медведи бродят, слизывая языком кисти брусники с ягеля, а люди режут острым резцом дорожки в теле сосен, добывая живицу.

Иногда между ними происходят ссоры. Молодые медведи любят поиграть, катаются по земле, ломают молодые осинки и берёзки, а могут и подшутить над соседями-людьми. Они начинают сбивать лапой воронки с деревьев, пока вздымщик режет лес в одном конце деляны, медведь пакостит в другом.

Ругаясь, вдымщик вновь ходит, вешая сбитые воронки. Если медведю понравилось «шалить», то люди его отстреливают, тогда на ближних времянках устраивают общую гулянку с шашлыками и брагой.

Брага есть почти на каждой времянке, её кислая вонь заставляет морщиться, входящего в избушку со свежего воздуха, человека.

Профессор не ставил брагу, он вообще не пил, считая алкоголь самообманом. Непьющих людей в химлесхозе были единицы, все пьющие тайно их уважали. Для них они были, как люди с другой планеты.

У Профессора было две избушки, одна стояла на берегу речки, от неё была прорублена тропа до самой воды, а другая стояла на сопке в деляне. В первой жила Нинка, сборщица живицы, из тех женщин, что приехали по оргнабору, освободившись из заключения. С Профессором у неё были официальные отношения и, хотя она вначале пыталась затащить его на себя, ничего не получилось. Профессора слабый пол не интересовал, он даже с Нинкой мало разговаривал, да и о чём они могли говорить.

Пришлось Нинке искать мужика в соседях, сошлась с Лихим Пузырём.

Профессор спускался к первой избушке редко, только по воду, или поговорить с пришедшими к нему в гости вздымщиками. «Приёмная» — шутили те про первую избушку, но нарушать правила и покой хозяина не смели, на верхней избушке мало кто бывал.

Она стояла у скалы, окнами на восток и первые лучи утреннего солнца освещали её. Профессор любил следить, как встаёт, или заходит солнце. От его избушки открывался великолепный вид на горизонт. Подниматься вверх по тропе до неё было не просто, потому и желающих туда ходить было мало.

А что же Анюта? Где она? Да совсем рядом, по таёжным меркам двенадцать километров не расстояние. Анюта привыкала к тайге, к её молчаливой суровости и неизменной неподкупности. Она жила на времянке, на той же речке, что и Профессор.

Между их избушками находился участок Сени Игрока, а на речке стояла его времянка, баня и две больших избы для гостей и мастера. Место называлось Центральный участок, сюда приезжал трактор с продуктами, сюда же свозились бочки с живицей с остальных участков, а после на грузовиках вывозились в посёлок.

До Центрального от времянки Петра Панасюка, где жила Анюта, было всего три километра по тропе, пробитой вдоль речки. Анюта давно поняла и смирилась с тем, что у неё теперь появился новый хозяин взамен старого.

Правда Петро не бил её, но этого и не требовалось, Анюта, запуганная прежним сожителем, беспрекословно выполняла всё , что тот пожелает. Петро был доволен выбором и иногда похлопывал её по заду, снисходительно, словно лошадь.

Ознакомив её с участком и научив резать и подбивать воронки, Петро стал неделями пропадать на реке, ставя самоловы, сети. На времянке он появлялся для отдыха, привозил продукты, водку и тогда Анюта выполняла ещё обязанность женщины для его похоти. Она была довольна, когда его не было, и хотя работы было много, та не была ей в тягость. Крепкая с детства и привыкшая к физическому труду, Анюта справлялась с работой за двоих. У неё ещё оставалось время для себя.

Уезжая, Петро наказывал Анюте, если возникнут проблемы в работе или жизни, идти на Центральный, а там почти постоянно бывает мастер Лев Вениаминович, который, как привёз черноокую Лялю в тайгу, так и не расставался с ней, околдованный её страстной любовью.

Он боялся оставить её одну среди мужиков, не надеясь на её верность, и потому оставлял на времянке с Анютой, где женщины и подружились. Сам Лев Вениаминович старался скрыть свою связь с Лялей от жены, которую вдруг заинтересовало его рвение к работе.

Ляля, со своей стороны, старалась всячески афишировать свои отношения с мастером и донести слухи о них до его жены. Её усилия не пропали даром, жена узнав о измене мужа выгнала Льва Вениаминовича из дома и тот почти полгода жил в тайге, пока она не уехала «от позора» из посёлка. Только после этого Лев Вениаминович перевёз свою Лялю «в люди».

Работать он ей не позволял, слишком ревновал к другим мужчинам, но после того, как она родила ему вначале одного сына, а потом другого, ревность поутихла, да и Ляля подрастеряла свой товарный вид.

Анюта не была так искушена в сильном поле, как Ляля и поучения той, как управлять мужчиной, не доходили до неё.

Что такое любовь к мужчине, она не понимала. Для неё любовь было то, что происходило в постели. Так она и жила: работала среди тайги, любуясь её красотой, испытывая за это все неудобства: мошку, жару, ливни. Но была счастлива, тайга принимала её и уже взяла под своё биополе.

На Центральном участке собирались почти все жители мастерского участка Льва Вениаминовича. Без общения в сумеречной зоне всё же скучновато, да и житейские проблемы в тайге обычное дело. Здесь узнавались все новости, под всё ту же брагу, здесь создавались новые пары, а главной приманкой была баня в субботу.

У многих вздымщиков были свои баньки, срубленные на берегу речки, но центральная баня была ритуалом.

Сначала мылись и парились мужчины, после них баню занимали женщины. Отпаривалась и отмывалась вся налипшая на тело и волосы смола.

— Эх, как снова родился — говорили мужики после бани, опрокидывая в себя кружку с брагой.

Кроме бани и разговоров, сюда в основном мужиков приманивала игра в карты. Что такое игромания, стране ещё предстоит испытать в послеперестроечные времена, а тогда игры, в основном карты, занимали не такое уж большое число людей. И власти небрежно глядели на это мелкое зло — нельзя же запрещать всё, а то толпа взбунтуется.

Самым заядлым картёжником в сумеречной зоне был Сеня Игрок. Этот человек безоговорочно и фанатично верил в Случайность.

— Выигрыш — это случайность. Кому выпадет счастливая карта. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Меня много раз судьба баловала, выигрывал столько, что покрывал все свои проигрыши. Вся загвоздка здесь в остановке. Кондуктор, нажми на тормоза, — так говорил он.

Сеня проигрывал огромные суммы, а после судьба вновь ему улыбалась. Однажды он поставил на кон свою законную жену и проиграл. После, через неделю, он вновь отыграл её, но она отказалась вернуться к нему. Больше он не женился, а женщины, жившие с ним, перед любой игрой заявляли, что они не его собственность.

Однажды он проиграл всю зарплату и всё, что при нём было сборщице живицы, живущей у Профессора, Нинке Чижику. Нинка, женщина прошедшая большую жизненную школу, играла со спокойствием и внимательностью. Сеня, разгорячённый первыми успехами, даже не заметил, что фортуна перешла к другому игроку, а именно к Нинке.

Он блефовал, шёл на намеренный риск и проигрывал сотню за сотней. Чижик опустошила карманы многих вздымщиков в тот вечер. На предложение Сени Игрока отыграться, она согласилась и предложила поставить на кон месяц работы за неё, собирать живицу у Профессора.

Сеня рискнул и проиграл. Целый месяц он работал за себя и Нинку Чижика, а та жила в посёлке, где за это время познакомилась со шкипером катера, за которого вышла зимой замуж.

— Вся наша жизнь — игра! — любил повторять Сеня. Однажды он в споре победил самого Профессора, доказав, что вся история человечества есть игра.

— В этой игре играют цари, президенты, сенаторы и другие сильные мира сего, а мы простые пешки, разменная, так сказать, монета.

Сеня не дожил до расцвета и победы игры в стране, до казино, рулетки, «одноруких бандитов» и других способов цивилизованного отъёма денег у простых граждан: его зарезали в пьяной игре. Рассказывали, что последние его слова были:

— Игра она и есть игра, а кому повезло, ещё разобраться надо.

Кроме бани и карт на Центральном собирались заядлые рыбаки и охотники. Здесь обдумывались и решались планы охоты на шалуна-медведя, или на сохатого, когда кончалось мясо.

Заводилой среди них был Колька Лысый. Это был, как говорят, «кипучий лентяй». Работа его интересовала мало, для него главным было пошататься по речке или по тайге с ружьишком. К нему не шли работать сборщицы, потому что хватало Лысого на один обход.

Иногда, выйдя на участок с твёрдым намерением поработать, Колька вдруг вспугивал глухаря и бегал за ним, пока не застрелит.

Конечно, живицы у него не было, и зарплаты тоже. Поэтому он сам резал иногда, и сам собирал, а в основном ему помогал его друг Саня Чуваш. У того участок находился рядом, вот он и работал иногда за Лысого. Мог бы полностью отрабатывать сезон, но Колька не давал ему:

— Брось ты эту грязную работу, пошли к речке, на яме ленков и харюзей надёргаем. Я после сам пробегусь с хаком.

Но сам он пробегал только с ружьём за глухарями, потому вскоре на его участке не осталось, ни одного глухаря, сохатые и медведи обходили участок Лысого стороной.

Колька подвижный, с лысиной, за которую и получил прозвище, невысокого роста и вечно размахивающий руками.

— Перестань крыльями махать, а то уже холодно стало, — говорил ему Чуваш. Но тот через минуту, забывшись, продолжал снова жестикулировать.

Лысый хвастался своими зубами и желудком. Он сидел за столом и перемалывал зубами глухариные кости. Это было потрясающее зрелище. Ещё он любил сахар. Он насыпал полкружки сахару, доливал чистой заваркой и выпивал не морщась.

— И как ты можешь такой чефир пить? — удивлялся Чуваш, а другие мужики матерились, взяв кружку с присохшим сахаром:

— Бля, он все кружки засрал, надо ему как на зоне дырку просверлить в его посуде, — говорил Сланчевский и кидал кружку в Лысого.

Но когда мужики собирались на охоту, то тут беспрекословно лидерствовал Лысый. Его даже называли в это время Николай. Он точно знал, где сейчас находится сохатый и как лучше подойти к нему.

Здесь, на охоте, Лысый отводил душу, приказывал, командовал, и все его слушались. Выстрел Лысого всегда был последним, стрелял он без промаха. В остальное время он мог разве только покомандовать своим дружком Чувашом.

Чуваш приехал в Сибирь по оргнабору, остался жить в ней, перевёз к себе всю свою семью: жену и шестерых чувашат. Они жили в посёлке, жена бегала постоянно в контору и выбирала зарплату мужа, которая была хотя и

большая, но чувашке не хватало. Она не умела вести хозяйство, да ещё была ленивая и неопрятная.

Чувашу в тайге иной раз приходилось туго без продуктов, но выручал Лысый, приносил дичь, рыбу, съедал у друга весь сахар и уходил.

Чуваш мог обходиться без сладкого, но без мяса нет. Поэтому он стал держать на времянке собак, которых ел с удовольствием. Лысый презирал его за это, но дружбу не прекращал.

Глава пятая

В ней наконец-то появляется главный герой. Кое-какие воспоминания о детстве героя и юности. Старовер Евлампий. О староверах, сектантах и других «святых людях». Размышления о свободе, свободном обществе, которые тоже можно пропустить.

Говорят, что некоторые люди помнят и осознают себя ещё в материнской утробе. А некоторые даже в прошлой жизни, но это другая тема. Виктор помнит себя в три года и три месяца, и это яркое, даже с запахами, воспоминание всю жизнь жило в нём.

Мартовское солнечное утро. Воздух прогрет лучами и пахнет тем неописуемым запахом весны, который запоминается на всю жизнь. В нём перемешано всё: и запах прелых прошлогодних листьев на проталинах, и запах протаявшего снега, и запах дыма из труб, и запах оттаивающих на весеннем солнце белоствольных берёз.

По утреннему насту бежит рыжая собака с отвисшими сосками. За ней на некотором расстоянии Ребёнок. Ему три года.

Час назад его мать ушла в соседнюю деревню к умирающему свёкру, оставив Ребёнка под приглядом соседской бабки. Между сибирскими деревушками того времени всего полтора километра по дороге.

Сначала санная дорога петляет среди берёзового колка, потом выходит на поле пересекает его и вот следующая деревня, десяток рубленых из сосны изб, протянувшихся одной улицей.

Собака бежит напрямую через поле, иногда останавливаясь, поджидая отставшего Ребёнка. Наст от утреннего солнца начинает слабеть и Ребёнок иногда проваливается в нём то одной, то другой ногой. Собака терпеливо дожидается, сидя на снегу.

Она пробежала мимо глубокой силосной ямы, из которой зимой возили силос на коровник, и остановилась на твёрдом санном следе, ведущем прямо к деревне. Ребёнок добежал до ямы и остановился, его приманил кислый запах исходящий оттуда, и он подошёл к краю, заглядывая в глубину. Наметённая в феврале кромка снега над ямой могла обвалиться в любую минуту, собака кинулась к Ребёнку и, вцепившись зубами в его одежду, оттащила от опасного места.

В доме переполошились все женщины, охали и крестились, когда увидели пришедшего с собакой Ребёнка. Мать плакала и не знала то ли колотить его, то ли целовать. Только умирающий дед взял с табуретки, стоящей у кровати пряник, подал его Ребёнку и подержал его ручонку в своей слабеющей старческой руке. Дед был известный знахарь на всю округу.

Он лечил грудных детей. Поводит, поводит над дитём руками, и плачущий ребёнок успокаивался, засыпал, а просыпался уже здоровым. Это сейчас уже знают об ауре, о биополе, а тогда всё это казалось колдовством.

Счастливый Ребёнок прижался к деду лицом, смеясь от щекотавшей его дедовой бороды, это была их постоянная игра, а потом побежал из дома на улицу, показывать собаке гостинец от деда.

Виктор помнил малейшие подробности, словно было всё это только вчера, хотя прошла уже почти целая жизнь. Странная вещь эти человеческие воспоминания. Иной раз откладывается в память, какая то, кажется незначимая картинка, и сознание долго не может понять, для чего она всплывает в памяти. Наверное, не пришло ещё её время, чтобы всё объяснилось.

Почти всегда, видя бруснику, Виктор вспоминает такую картинку. Протянутая к нему крепкая ладонь отца полная спелой до малинового оттенка брусники. А какая она была вкусная, её сочная мякоть, нагретая ладонью отца, словно таяла во рту. Никогда после Виктору не приходилось, есть такую бруснику.

Виктор вышел по тропе, виляющей вдоль небольшой речушки, на небольшой луг. Ровная поляна, отливающая белизной, напоминала лист бумаги, на котором строчками были следы обитателей этих мест. Кругленькая ямка в снегу, от которой пошли парные крохотные следочки до следующей ямки, это вылезла на снег мышь-пеструшка.

Пробежала несколько метров и нырнула снова в снег к своим запасам. Хорошо, что её не заметила ночью сова или лиса, мышкующая по лёгкому морозцу. А вот и ровная строчка лисьих следов, прошла по своему старому следу, ставя лапы, точно в след и прислушиваясь, не пискнет ли где то под снегом мышь или заворочается сонный рябчик.

Выскочивший на поляну утром заяц, наткнувшись на её след и почуявший опасный запах, метнулся в сторону, написав: «Спасайтесь, здесь лиса». Под покрытой инеем белой берёзкой ямка, сюда в снег нырнул с ветки краснобровый рябчик на ночёвку. Но проходившая лиса вспугнула его, и он улетел, оставив в своей лунке только кусок смёрзшегося помёта.

Интересно было идти и читать всё, что произошло здесь за сутки. Виктор уже давно безошибочно определял, куда идёт тот или иной зверёк. На кормёжку или с кормёжки, убегал от своего врага, или догонял свою жертву.

Вот след соболя, этот удачливый охотник ещё вечером сожрал несколько мышей, а потом ещё целого рябчика, оставив на притоптанном снегу только крупные перья.

С раздувшимся животом, чиркающим снег, он побрёл в ближний ельник, где и спит, сейчас, свернувшись клубком, укрыв острую мордочку хвостом, в каком ни будь дупле. Соболь этот был «местный», так называют соболя имеющего свой участок для охоты, «чужак» — обычно слабый и больной зверёк, не имеющий своего участка, немедленно изгонялся хозяином.

Все изгнанные зверьки медленно оттеснялись к берегу Ангары, где скапливались в большом количестве и их называли переходными соболями. Судьба этих выбракованных природой зверьков одна — смерть. Они лезли в капканы за маленькой подачкой, их загоняли собаки на дерево, они съедали всё что могли, доходили и до каннибализма.

Через Ангару они могут перейти только по плотной шуге, да и там их гибнет множество. Перед ходом соболя идёт ход белки, сильные и здоровые особи остаются в тайге, сколько смогут прокормиться, а остальные, дойдя до Ангары, плывут сплошняком, подняв вверх свои хвосты, если хвост намокнет, белка тонет.

В воде их поджидают щуки и таймени, налимы и даже окуни, которые жадно их пожирают. Вырубается тайга, уменьшается кормовая площадь и белка идёт ходом. Инстинкт гонит зверьков на смерть.

Своей смертью они спасают своих собратьев по виду. Виктор всегда удивлялся мудрости природы и ставил её выше разума человека. Виктор согласен с Дарвиным по естественному отбору среди животного мира, он сам наблюдал подтверждение его теории из года в год.

Даже согласен с частью теории эволюции для животных. Но не согласен с тем, что человек произошёл от животных. Слишком много чести человеку.

Размышляя, Виктор не нашёл в экологической системе Земли места для человека, в природе всё взаимосвязано, только человек один потребитель и враг системы. Значит, он заброшен извне и не может вписаться и прижиться в экологически завершённом мире, что создан великим Разумом.

Все усилия человека идут вразрез с этим Разумом. Цивилизация, созданная людьми для своей жизни, ведёт к смерти не только людей, но и всей экологической системы.

Люди много говорят об экологической катастрофе и выживании человека, но вместо того чтобы войти в экологическую систему и занять в ней подобающее место, продолжают бороться с ней, ставя в первую очередь под удар себя.

Виктор с грустью думал о реках Ангаре и Енисее, на которых прожил всю жизнь. На его глазах погибали эти реки. Вначале исчезли осётр и стерлядь, затем погибла и мутировалась сорная рыба (какой чинуша придумал это название для рыбы). Плотины ставились одна за другой, перекрывая реки и превращая их в затхлые, зловонные болота.

Затапливались старые деревни, под водой исчезали кладбища, пахотные земли, память о предках. Вода с рёвом рвалась из-под плотины, вырабатывая электричество, которое продавалось в другие страны.

Ангарцы, живущие в Усть-Илимске, смеются над собой:

— Живём на электричестве и под электрическими проводами, по которым течёт энергия реки в Китай, а сами пользуемся электричеством из котельной.

Люди с ужасом думают о том дне, когда вода сомнёт плотину и ринется вниз, сметая всё и вся. Когда на Енисее экологическая система показала людям, что может произойти катастрофа, случилась паника. Природа ждёт своего часа, чтобы нанести удар.

Рано или поздно это случится, реки сломают все плотины и очистятся. Это так напоминает детские игры, когда мальчишки строят запруды на ручейках, а потом вода всё смывает. О других «недетских шалостях» людей с Природой просто страшно думать.

Человек пытается изменить своих «меньших братьев». Когда-то приручив часть и изменив их в свою пользу, он лезет в экосистему, пытаясь полностью подчинить её себе. Но это невозможно.

Красная книга, заповедники, зоопарки, питомники, генная инженерия, выведение новых видов, то есть изменение до неузнаваемости старых (бесшерстные кошки, бойцовые псы, куры с фальшивым мясом), всё это обернётся и уже оборачивается против человека.

Экосистему не победить, её Разум выше человеческого.

Нельзя спасти то, что она забраковала и выкинула, нельзя переделывать и подстраивать под себя животный инстинкт. Конец света — это победа экосистемы над человечеством. Она сотрёт с лица Земли всё его творчество и займётся новыми опытами по выведению разумного существа.

Так думал Виктор, когда только начал жить в тайге. История его бегства из людского мира напоминала историю Профессора. Виктор учился на втором курсе университета и увлёкся историей и теорией анархизма. Он добывал книги Кропоткина, читал других видных лидеров анархизма, говорил друзьям о правильной политике батьки Махно.

Главное для человека — это личная свобода, а любая власть это насилие над личностью. Так размышлял Виктор и постепенно у него появились среди студентов единомышленники.

Этим молодым людям нравилось считать себя инакомыслящими, или как после всех и всё свалят в одну кучу диссидентства. Виктором заинтересовался вузовский особист, вызвал для разговора, сходу предложил сотрудничество, как в песне Высоцкого «или — или». Виктор ушёл из университета и поехал на Ангару. Где-то там работала на катере его бабка Катерина.

И вот в районном аэропорту судьба свела двух молодых людей совершенно разных, но с одной обидой и разочарованием на общество людей, среди которых они жили.

Евлампий был старовером. Когда то давно, ушедшие от царской несправедливости и поругания истиной веры, люди поселились в сибирской тайге.

Здесь на дикой реке, впадающей в Ангару, стремительной и своенравной, они поставили свой посёлок. Жили без связи с «миром», считая, что общество людей полностью погрязло в грехах и приняло сатанинскую печать и веру в Антихриста.

Менялась жизнь в стране, менялась власть, не менялись только люди. В их обществе царили обман, лицемерие, жадность и другие пороки. Мудрые люди старались объяснить человечеству, что не надо искать зло в других людях, других странах, других общественных построениях, нужно зло уничтожить каждому в своей душе.

Пусть этим занимается религия, а человечество не может существовать, без борьбы противоположностей отвечали им.

В староверских поселениях люди считали свою веру истиной, а жизнь идеально приближённой к Божьим заповедям. Умирали старики, их место занимали молодые, и все старались сберечь истинную веру, поколение за поколением. Вызывало у «мирских» уважение к такому самопожертвованию староверское безгрешное существование.

Быть «солью мира» или «светом мира» среди погибающего человечества участь почётная и уважаемая. Сколько людей пострадало от того, что вознесли себя в разряд «святых». Сколько «схимников», затворников, монахов, сектантов пытались, удалившись от мира, сохранить веру вдали от людей, от греха.

Глупцы, зачем вы пытаетесь обмануть своего Бога, который сам страдал среди человеческой несправедливости и вам наказал страдать.

Бог в каждом из вас, вы суть Его церковь. И Он испытывает каждого, независимо от его звания или положения. Присуждать себе звание святого или наместника Бога, а тем более судить друг друга от Его имени — совершеннейший абсурд.

Вот такая староверская община и жила на Ангаре. Жили люди в поселении зажиточно, тайга и река кормили их, а власть не трогала. Но стала осваиваться тайга, река. Создавались лесхозы, леспромхозы, понаехало из России разного люда и староверам стало неуютно среди «мира». Некоторые из молодёжи пристрастились к водке, алкоголь моментально вселялся в их «неискушённую плоть».

Приходилось старикам следить за молодыми и наказывать. Но жизнь брала своё. И старики отправили экспедицию в верховья Нижней Тунгуски на поиски новых мест для поселения.

Там же спасались и остатки тунгусских семей, выживших от цивилизации и благ советской власти, заботившейся о народностях Севера.

…….-— Что такое свобода? Есть ли она сущность человека? Философские изыскания. Ленивый читатель может их пропустить……..

Библия и другие религиозные направления утверждают, что свобода это вера. Свобода это возможность спасения там, где разум говорит человеку, что все возможности исчерпаны. Вера даёт человеку силы продолжать жить в погибающем мире.

Свобода есть наличие выбора. Христиане часто повторяют: «Я свободен в господе!» Означает это, что Бог дал право выбора. «Ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» — говорит Он о вере. Что может быть легче сознания, что ты сам выбрал, свободной волей себе любое иго. Это и есть свобода. Кьеркегор считает, свобода это сущность человека. У человека можно забрать всё, но не веру-свободу — рассказывает Библия на примере Иова.

Свобода делает человека личностью. Он имеет своё «я». Он имеет право выбора. Толпа лишена такого права, она следует за тем, кто её ведёт. Общество свободных людей, возможно, следуя языку христианства, только в Господе. Библия называет это место раем. Анархисты называют свободным обществом людей, утописты — городом Солнца.

Возможно ли такое общество? Среди людей нет! — утверждает Профессор. Среди животных — да! Разум должен быть у всех един! И этот разум — Инстинкт.

Глава шестая

Из нее узнаем печальную историю любви старовера к красавице стюардессе. Одиночество. История Росомахи.

Виктор и Евлампий познакомились в районном аэропорту. Оба ждали пассажирский самолёт «Аннушку», который вылетал только вечером до дальнего таёжного посёлка. Добраться летом до него можно было только по Ангаре и самолётом.

Виктор с любопытством смотрел на молодого парня его возраста. Он много слышал о староверах, об их неприязни к другим людям, но увидел одного из них впервые. Светлая вьющаяся борода, голубые, спокойные, но с грустью глаза, причёска «под горшок» и совершеннейшая невозмутимость. Одет он был совершенно не по моде, на ногах сапоги, смазанные рыбьим жиром.

Парень, заметив пристальный взгляд Виктора, сделал приглашающий жест рукой на свободное место рядом с ним. Уже через час они были приятелями. Оба впервые летели в незнакомый посёлок, и их гнала в неизвестность прошлая жизнь.

Виктор сходил в ларёк и купил несколько бутылок «Жигулёвского». Евлампий достал из рюкзака несколько копчёных харюзей и булку хлеба домашней выпечки, завёрнутую в расшитое домотканое полотенце. Они устроились в холодке на травке в берёзовой роще неподалёку от здания аэропорта.

С рёвом на взлётную полосу приземлился ИЛ-18 из краевого центра. Виктор и Евлампий смотрели, как пассажиры высаживались, и разъезжались, а самолёт уже загружался новыми пассажирами, столпившимися у трапа. Вот самолёт вырулил на полосу, взревели моторы и он помчался по полосе, оторвался от земли и с поворота взмыл в синее без облачка небо.

— В суету городов и потоки машин... — продекламировал Виктор, — меня тошнит от того мира, возвращаться нет никакого желания. Заберусь в самую

глушь тайги, чтобы ни одного человека рядом. Вот идеальное существование.

— А я, напротив, хочу пожить среди других людей, непохожих на староверов.

— Люди все одинаковы, и дряни в них больше чем хорошего.

— Может и так, но хуже того, что я испытал и понял, вряд ли бывает. Вот послушай мою историю.

История, рассказанная Евлампием Виктору

Семья у нас большая, семь человек и почти все девки, мужики я да брат. Живём хорошо, слава Богу, всё имеется. Сёстры уже замужем, у нас заранее девки и парни знают, кто их половиной будет — старики решают. Моя будущая жена на пять лет меня моложе.

Помню маленькую дали мне её подержать, а мамка смеётся не урони, мол, невесту, а то будешь с хромой женой апосля жить.

Уже в парнях взял меня отец в район, пушнину мы привозили, вот здесь, как раз в аэропорту, я и встретил мою Алёнку. Провожала она пассажиров на самолёт, что-то вроде билетёра или стюардессы. В синей форменной шинели в шапочке с серебряными крылышками, вся такая ладненькая, а глаза — как небо, в которое она людей провожает. Посмотрел я в них и задохнулся, словно бросили меня в небесную синь, падаю я, сердце от восторга сжалось и воздуха не хватает.

— Что с вами, вам плохо? — вернули меня на землю её слова.

— Нет мне хорошо рядом с тобой, ещё никогда так хорошо не было — отвечаю я.

— Так оставайся, в чём же дело. А то мне грустно, пассажиров отправляю, а сама остаюсь всегда здесь. А хочется увидеть, как там в других местах, как другие люди живут.

— По-разному живут, на то они и люди, а вот без тебя им всем было бы гораздо хуже, кто навсегда улетает, кто завтра вернется, и ты для всех становишься близким человеком. Вот я теперь буду мечтать о встрече с тобой, а остаться запросто, только прикажи.

— Все вы так говорите, а как улетишь, забудешь сразу, наверное, и невеста, или жена есть?

— Была невеста, а теперь не знаю.

Самолёт к нам раз в неделю прилетает, почту привезёт, иногда, кто в район соберётся. Мы к тому времени уже привыкать стали, что вокруг другие люди живут. Да и на нас уже не дивились, как прежде.

Вот я и понавадился летать к Алёне. В район утром улечу, а вечером снова на «Аннушке» до Переходного возвращаюсь. В Переходном у меня знакомый охотник живёт, так он меня до нашего посёлка на «Буране» подбрасывал.

Подружились мы с Алёнушкой, жизни без неё себе представить не мог. Однажды привёз я ей десяток чёрных с сединой красавцев соболей и говорю:

— Алёнушка, боярыня ты моя, а боярыня должна в соболях ходить, прими, не побрезгуй мой подарок и стань моей женой.

Рассмеялась она, расцеловала меня, сходили мы в ЗАГС и расписались.

Отец и старики, как узнали, что я за себя «комсомолистку», неверующую в Бога, взял, наложили на меня пост и заставили читать сорок тысяч раз покаянную молитву. Из дома не выпускали, караул днём и ночью стоял, несколько раз я пытался убежать, ловили, связывали вожжами, неделями

связанный лежал. Только через полгода помог мне тот самый знакомый охотник сбежать, увёз на лодке.

Приехал я к Алёне, а она бедная последние дни доживает. От тоски слегла, и врачи не могли ничего поделать, а она уже моего ребёнка в себе носила.

Похоронил я её и своего, не родившегося дитя. Возвращаться в семью не стал. Возненавидел я их всех. Лицемерие сплошное. Толкуют о любви к ближнему, Бога Любовью называют, а сами мою любовь, моего Бога растоптали. Страшные они люди и кроме себя никого не любят, нет у них никакого Бога.

Виктор сидел, задумавшись, ему было жаль этого большого, грустного парня с чистой детской душой и наивными представлениями о мире.

— Вот ещё доказательство, что люди, живя своим обществом вдали от основного мира, рано или поздно построят новый мир неравенства и несправедливости, опираясь даже на самые благие намерения — изрёк он.

Через пару часов они уже летели над тайгой, над синей гладью Ангары. В посёлке их пути разошлись. Евлампий устроился вздымщиком в лесхоз, а Виктор штатным охотником на самый дальний участок в Эвенкии.

Оформив документы, получив подъемные, Виктор с вертолёта со своим грузом высадился в глубине тайги на небольшой говорливой речушке.

Здесь, вдали от мира людей, ему теперь жить. Он добровольно обрёк себя на изгнание. Ему предстоит понять, что такое одиночество, которым его пугали, и сможет ли он найти способ победить его.

Одиночество.

Что такое одиночество? Оторванность от общества себе подобных? В некотором роде так. Даже живя среди людей, человек чувствует своё видение и понятие мира отличным от других.

Если он сохраняет своё «я»: моя личность, моя точка зрения, он становится одинок среди других людей. «Белая ворона», как говорят. Избавиться от такого ощущения можно только приняв общие нормы общества, подавив своё «я» в угоду всем.

«Будь как все!» и ты взамен одиночества получишь главную правду толпы: «Нас много — значит, мы правы!»

Живя же вне людского общества, человек начинает думать: «А прав ли я, что обрёк себя на гордое одиночество?»

И появляется сомнение, переходящее в Страх. Одиночество первопричина Страха. Страх — сила, руководящая человеческим разумом. Это Страх собирает людей в толпу. Это Страх побеждает в человеке его «я».

В сумеречной зоне волнение.

Вздымщики передают друг другу, что вновь появился Росомаха. Два года назад этот человек уже был у них. Его прозвали Росомахой, потому что он, как этот неприятный зверь, обкрадывал времянки лесных жителей.

Надо сказать, что воровства у «химиков» не бывает. Времянки не закрываются на замки, каждый может зайти, если даже хозяина нет дома. Может переночевать, поесть, но чтобы взять, что-то из вещей и унести с собой, такого не бывало.

Во-первых, лесная жизнь приучает человека не пакостить там, где живёшь. Во-вторых, в тайге не спрячешься, это не в городе или посёлке, здесь тебя обязательно кто-нибудь увидит, о тебе расскажут вездесущие сойки, встретит охотник или рыбак.

А наказывают в тайге самосудом, рассказывают, что одного любителя насиловать чужих жён привязали к дереву голого, и того съел гнус: комары и мошка.

Ещё страшнее суд за воровство у тунгусов. У этих людей не было понятия о воровстве до встречи с цивилизованными людьми. Дух леса, дух тайги охранял не только их, но и их добро. Тунгусы с детства знали об этом всевидящем справедливом оке и привыкли к его законам.

Когда появились люди, не верящие ни в духов, ни в биополе тайги, законы эти стали нарушаться. Шаманы обращались к духу леса, чтобы тот покарал преступника. Страшные вещи рассказывали люди, испытавшие это наказание на себе.

О Росомахе рассказывали, что он сбежал в тайгу от преследования милиции, что на нём висят многие преступления. Он жил некоторое время с тунгусами, которые после откочевали из этих мест. О Росомахе они говорили:

— Страшная это человек, его не трогает даже Дух леса.

Росомаха жил на охотничьих избушках, где долго не появлялся хозяин, опустошив одну, переходил на другую. Потом прошёлся по времянкам «химиков». Не брезговал ничем. Стал ловить и насиловать сборщиц живицы. Некоторые помалкивали, а некоторые даже хвастались этим.

Одной из жертв Росомахи была Анюта. Анюта не была избалована мужской любовью, её всегда брали грубо по-людски. У животных нет сексуального насилия. Секса ради секса, как такового понятия тоже нет.

Инстинкт подсказывает, что делать для продолжения рода: выбор самки, ухаживание, или сама любовь. Это восхитительное чувство любовь, когда самец пытается доказать самке свою преданность и будущие отцовские качества.

Здесь нет места эгоизму, что преследует людей при этом чувстве. Потому говорить животная страсть, животная похоть, животное насилие неправильно. Нет насилия в любви в животном мире, это признак принадлежности к людскому обществу.

После Росомахи Анюте было плохо. Она не могла отделаться от ощущения чего-то грязного и чужого в ней. Она мылась по нескольку раз, на день, пытаясь смыть, выскоблить из себя это чувство. Но оно проникло к ней в душу и не покидало.

Только после того, как она рассказала об этом тётке Фисе, которая верила в Бога, и та заставила, научила её помолиться Спасителю, она почувствовала облегчение. Словно её покинуло, что-то невидимое, но ужасно чёрное.

Росомаха лежал в вонючей яме, которую выкопал на случай укрытия от людей. Как могила, думал он, а я живой труп, обрекший себя на жизнь после смерти. Когда-то у меня была кличка Зверь, и потому я, наверное, решил остаток своей жизни провести среди зверей.

Здесь меня люди зовут гиеной, росомахой, причислив к классу падальщиков. Среди людей я питался живой кровью, а сейчас живу падалью, мертвечиной.

Звери, тайга не приняли меня, я чужой здесь, меня так же гложет тоска и страх. Люди, живущие здесь, не боятся меня. Какой-то недоносок, которого я когда-то мог перешибить соплей, подстрелил меня. И травят меня не как волка, а как жалкую, живущую воровством росомаху.

Я ушел из мира людей, где был зверем, но в мире зверей я оказался ничтожным и ненужным человечком и подыхаю теперь в этой яме, которую сам себе вырыл.

Он потерял сознание, а когда оно вновь вернулось, вспомнил последний вечер в том мире, где он был сильным, имел власть и внушал другим почтение, страх и зависть.

Он только что убил человека, который не испытывал страха. Он много убивал, это была его жизнь. И привык к смерти, даже шутил иногда, что он ее слуга, только вместо косы у него пистолет и «финка».

Ему нравилось видеть в глазах жертвы страх, даже у тех, что дрались за жизнь с отчаянной храбростью. Этот человек был другой. Его можно было назвать дурачком или ребенком, непонимающим, что такое смерть.

Но он понимал, и по всему видно было, что знал о ней что-то такое, что непонятно было даже Зверю. Он без страха принял удар, а в затухающих глазах было спокойствие и безмятежность.

Зверь прошел через залы, где кипела жизнь, где играли, пили, жрали, совокуплялись, на ходу сказал стюре, чтобы тот прислал к нему в комнату Юльку. Пришла Юлька: красивая и ладная «телка». Она, молча начала раздеваться. Зверь остановил её:

-Подожди. У тебя есть ребёнок?

— Нет.

— И правильно, не вздумай завести. Вот я сейчас убил человека, настоящего человека, а не как мы с тобой, живущие для прихоти нашего господина. Весь свой негатив, свою грязь я солью в тебя. Если из этого получится человек, это будет монстр. Он будет полнейшее ничтожество, хуже нас с тобой. Скажи, тебе нравится твоя жизнь? Ты довольна собой?

— Отстань! Я не для того пришла, чтобы философствовать с тобой. Иди ко мне, я тебя приласкаю так, что ты забудешь все свои неприятности.

Зверь накинулся на Юльку, терзал её, стараясь сделать больно, а та стонала и корчилась от удовольствия. В слепой ярости на неё, на весь мир Зверь сдавил у Юльки горло, та задыхалась и стала вырываться. Зверь почувствовал на мгновение удовольствие и опустошился. Он заснул, тяжело дыша.

Когда очнулся, увидел, что лежит на ковре среди разбросанной одежды, а рядом с посиневшим лицом лежит голая, мёртвая Юлька. Закопав в лесу Юльку, Зверь стал пить. Он никогда раньше столько не пил. Сейчас пил постоянно, чтобы не думать. Голова болела всё время, и непонятно было то ли с похмелья, то ли от скопившихся в ней мыслей.

И тогда он уехал, далеко уехал, в Сибирь, спрятался в тайге и от ментов, и от бывших дружков.

А вот теперь он подыхает. Нельзя говорить, что имеющий душу сдох, он умирает. Животные имеют душу, они умирают, чего не скажешь о людях.

Глава седьмая

В ней рассказывается о жизни Виктора в тайге и о том, как он сливался с нею, становился частичкой Природы.

Виктор направлялся к реке. Жаркое полуденное солнце раскалило воздух, который обжигал лёгкие. Всё вокруг затаилось, замерло от такой жары. Листья на деревьях сникли, потеряв всю влагу, трава обвисла, а сосны наполняли разогретый воздух целебным запахом смолы.

Виктор шёл без тропы, руководствуясь компасом в голове. Человек, долгое время живущий в тайге, приобретает чувство безошибочного местоположения. Городской человек удивляется, глядя на таёжника, что тот не теряет ориентира, сам бы он давно уже заблудился.

Виктор вышел точно в нужное место. Здесь у него было место привала, отдыха. Небольшой костерок на прибрежной гальке, котелок с горячим чаем, а поодаль росла огромная лиственница, которая у комля имела нарост, получалось очень удобное кресло для отдыха.

Виктор сел в него, откинувшись спиной к стволу, позвоночником прижался к шершавому стволу могучего листвяка. Он давно уже определял, какое дерево мужское, а какое женское. Этот листвяк был мужчина, его сила и мощь восхищали.

Слившись своим биополем с аурой Виктора, дерево исцеляло и вытягивало усталость, слабость, а наполняло его силой и уверенностью.

Виктор давно понял, что каждое дерево имеет свой характер и ориентируется на определённые качества.

Ель наполняла беспокойством и жаждой деятельности. Берёза вызывала чувства светлые и мечтательные. Осина вытягивала мрачное настроение, но и вызывала усталость. Сосна, если прижаться к ней головой, приводила в порядок мысли и нормализовала давление. Рябина давала ощущение свободы и лёгкости. Но больше всего Виктор любил лиственницу, наверное, это было его дерево.

Слившись с ней своими ощущениями, он полулежал и размышлял о целебной силе деревьев и целебных свойствах трав, которые тоже знал отлично. Знание трав к нему перешло от матери, она собирала, и сушила их про запас. Собирая, рассказывала сыну от чего та или иная травка.

Вспомнив мать, Виктор улыбнулся. Он считал, что нужно как можно чаще вспоминать родных и близких и просто хороших людей, эта невидимая связь помогает жить.

Он смотрел, как подлетевшая кукша уселась прямо на его рюкзак, с любопытством ворочая головой. Его мысли переключились на новую тему.

Вот птицы, похожи на людей повадками, характерами, и в то же время отличаются своей сутью. Кукша в растрёпанном, поблекшем наряде, вечно ругливая, сопровождающая своим криком любого зверя или человека, идущего тропой, так напоминает некоторых неопрятных женщин, сующих свой нос во все дела.

Или кедровка, прославившаяся своей жадностью. Вечно прячет шишки, забывая куда, их после находят белки, бурундуки, мыши, медведь.

Некоторых людей сравнивают с дятлом, а некоторых матерей с кукушкой. А что кукушка? Она живёт по закону природы и её действия оправданы, она регулирует популяцию некоторых видов мелких птиц.

Жадность кедровки тоже понятна, она работает на всех, а жадность человека только на самого себя.

Виктор размышлял о зверином чутье обитателей тайги. Он давно заметил, что невозможно подойти к зверю, птице будь то глухарь, утка, рябчик, стая гусей, или косачей-тетеревов, на ружейный выстрел. Они читают мысли человека на расстоянии.

Глухаря можно добыть только с собакой, или если неожиданно выйти из-за поворота. Собака лает, а глухарь сидит на дереве, слушая её мысли, забывая о промысловике.

Сейчас зверя бьют промысловики с машины. Машина не имеет мыслей, и её зверь не боится, подпуская вплотную к себе.

Ваньша Тунгус учил Виктора:

— Каждый птица, каждый зверь имеет свой дух леса, который оберегает его и говорит о человеке, который его убить хочет. Прежде чем идти за зверем в тайгу, нужно просить этого духа, чтобы он дал тебе и твоей семье мясо, а духу нужно подарка давать.

Непонятны были для Виктора эти рассуждения тунгуса. Как и непонятны и даже таинственны были действия его учителя по охоте Ясное Море.

Ясное Море по берегу Ангары, по открытому пространству не таясь, подходил вплотную к стае диких уток и кидал им сухари из сумки, но стоило только Виктору пойти к нему, стая улетала. Долго не мог понять Виктор причины такого поведения животных и птиц.

Расспрашивая своего учителя, ждал разъяснения, но тот, усмехаясь, говорил:

— Не понять тебе ещё меня сейчас, ясное море, побегай по тайге с десяток лет и сам придёшь к решению своим умом.

И вот постепенно Виктор осознал, что в природе существует Разум, который создал законы жизни для всего живого, и они отличаются от законов человеческих, потому что гораздо мудрее и эффективнее. Стать одним из жителей таёжного мира, быть равным среди всех его обитателей, возможно только приняв законы этого мира.

В трех днях пути от участка «химиков», на небольшой таёжной речке стоит избушка. Сюда и летом и зимой приходит Виктор. Добираться до неё приходится сначала по тропе вдоль реки, впадающей в Ангару, до устья небольшой говорливой речушки. Ночёвка и ещё день ходу вверх по речке.

Избушка Виктора стоит на высоком берегу, она весь день освещена солнцем, такое место в тайге трудно найти. Здесь в речку впадает ручей, на котором до середины лета лежит лёд, вода в ручье ледяная, чем не холодильник.

Речка поросла в основном высокими раскидистыми елями, а избушка стоит среди светлых сосен, сюда спускается полоска соснового бора с хребта. От избушки идут две тропы одна по ручью вверх, а другая вдоль речки. Внутри обычная для промысловиков обстановка. Стол у окна, нары на троих (при нужде и на шестерых) человек, железная печка.

На стенах несколько полок для необходимых вещей, на одной ряд книг и журналов, среди них чёрным с золотом выделяется Библия. Над столом висит керосиновая лампа. В избушке сухо и чисто, она срублена из сосны и до сих пор от её стен пахнет смолой. Виктор давно заметил, что только здесь ему снятся самые красивые и спокойные сны.

Наверное, все люди, ночевавшие среди леса, испытывали незабываемое чувство врастания в природу. Вначале это, какое-то беспокойство, страх перед тёмным лесом, наполненным дикими зверями.

Потом беспокойство отступает и приходит чувство новизны и странного спокойствия, словно ты вернулся домой из далёкого и длительного похода.

Исчезла тревога, отошли, куда-то повседневные заботы. Это тебя приняла в свои объятия Природа, она просвечивает тебя, как рентгеном и решает, кому ты принадлежишь — ей, или миру людей.

Приняв решение, она говорит тебе об этом, и ты начинаешь чувствовать тягу к тому миру, из которого пришёл. И ты возвращаешься, потому что «всегда мы должны возвращаться».

Виктор наоборот чувствовал, что он должен возвращаться именно сюда, только здесь ему было хорошо, и каждый раз, повидав своих знакомых, он возвращался в тайгу.

Со временем Виктор разделил всех знакомых охотников по своим категориям. Первые, это промысловики, хорошо знающие тайгу, повадки зверей, но принадлежащие миру людей. Они гребут из тайги всё, не соблюдая её законов. Даже среди людей их называют браконьерами и наказывают по людским законам.

Вторые, это туристы, они приходят в тайгу в гости, для них охота — это посидеть у костра, или в избушке, с обилием выпивки и разговорами. Постреляв по консервным банкам, или любой дичи, нечаянно выскочившей на них, они разъезжаются по домам, чтобы через некоторое время снова собраться.

Третьи, это охотники, люди, живущие в Природе, они иногда даже не имеют ружей.

Вначале Виктор тоже принадлежал к «туристам», пока не встретил Ваньшу Тунгуса и Ясное Море.

С Ваньшей Виктор познакомился летом на речке. Тот ловил хариуса, ленков и ночевал под открытым небом, где застанет его ночь. На вопрос Виктора, откуда он и где живёт? Отвечал: « Моя тайга живёт».

Не один раз они ночевали вместе у костра и Ваньша, попыхивая своей трубкой, рассказывал Виктору о правильной жизни лесного народа. По его рассказам выходило, что все звери обладают разумом и живут по указанию духа тайги.

И что люди тоже подчиняются этому духу. Виктора удивляла бесхитростность тунгуса. Некоторые высказывания Ваньши поражали его, например о времени.

Он говорил, что ЗДЕСЬ время быстрое, торопится вместе с людьми, а ТАМ оно медленное и потому жизнь идёт по-другому. Виктор тогда думал, что тунгус говорит о загробном мире, но со временем всё прояснилось.

— Твоя тоже там жить будет, тайга возьмёт твоя — говорил ему тунгус.

По-другому Виктору рассказал об этом его друг Ясное Море. Он же дал пропуск ему в новый мир.

Ясное Море жил таёжным бродягой, всё лето проводил на речках. Рыбак он был удачливый. Жил в избушках, которые рубил сам, принимал в них рыбаков, и чувствовал себя в тайге, как дома. Дома даже хуже. Дело в том, что дома то у него как такового не было.

В молодости женился, родился сын, но мальчишкой утонул в Ангаре. Жена, не вынесшая частых отлучек мужа, прибилась к геологу, который и увёз её из посёлка. Ясное Море жил один, к нему всегда заходили мужики выпить и поговорить о рыбалке, тем более, что рассказчик он был замечательный.

Рассказывая, он частенько вставлял свою поговорку, «ясное море», по которой и получил прозвище. В посёлке, среди людей он пил и даже очень, но уходя в тайгу, менялся совершенно. Приходя на рыбалку к нему в избушку, мужики стеснялись вытаскивать своё спиртное, боясь, что введут его в соблазн, но Ясное Море, усмехаясь, говорил:

— Ведите себя, как дома, есть желание выпить, не стесняйтесь, а мне не наливайте, я в тайге не пью, она мой ангел хранитель.

Многое перенял от него Виктор, много чего услышал и часто размышлял над его рассказами. Один рассказ потряс его своей неправдоподобностью и в то же время глубокой философской сутью.

— Однажды, в феврале добирался я до своей избушки. Мело страсть как. Хиус пробирал до костей. Решил срезать путь, скатиться на лыжах с большой горы. Нашёл жердину для тормоза и покатился. Как не тормозил, скорость набрал большую, где-то на середине горы подбросило меня на

сугробе, лыжи, рюкзак, ружьё в одну сторону — я в другую и кубарем до низа лечу.

Где-то ещё башкой о дерево долбанулся. Короче, ясное море, очухался внизу.

Весь мокрый, лыж, рюкзака нет, спички в рюкзаке, голова шумит — ничего не соображает.

А метель всё сильнее. Думаю, всё, приехал. Руки уже не гнутся от холода, снега по пояс. И вижу неподалёку сугроб, а из него пар вроде поднимается. Ясно море, — медвежья берлога.

Сразу представил, как там внутри тепло и вьюги нет. Ползу до неё, лаз раскопал и влез внутрь.

От тепла сомлел и заснул. Проснулся, не понимаю где я и что со мной. Носом чую запах звериный, руками шарю, шкура вроде, сопит кто-то рядом. Тут в голове прояснилось, вспомнил, что со мной было. Скажу честно, страха совершенно не испытал, может от удара с головой что-то было.

Вылез я из берлоги, лаз присыпал и пошёл по своему следу вещи собирать. Одним словом, добрался я до избушки, печку затопил и сутки спал как убитый. Вот такая, ясное море, со мной история была.

Потом он снял с огня котелок с чаем, налил в кружку и сказал:

— Чего задумался? В жизни не такое бывает, но сапоги дорогу знают, давай лучше нашу любимую споём — и первый затянул:

Кто ночь раздвигал плечом
У скал Ангары
Тот знает они почём
Такие костры.
Утихнет пурга и жизнь придёт в тайгу,
И друга спасёт костёр на снегу.

Не смог Виктор спасти друга, через год двое ханыг в посёлке по пьяни зарезали чудаковатого таёжного бродягу.

Виктор частенько вспоминал этот рассказ, и выходило, что спасло тогда Ясное Море то, что тот не испытывал страха. Будь в нём страх, медведь почуял бы и проснулся. Любые животные чувствуют человеческий страх и становятся от него агрессивными.

Страх

С начала своего появления в этом мире, человек испытал страх перед Природой и стал защищаться от неё, стал воевать с ней, придумывая всё новые способы защиты себя.

Человечество живёт в вечном страхе, его общество построено на страхе, человеком управляет страх. Люди боятся животных, всего непонятного в природе, боятся друг друга. Страх разделил Природу и Человека.

В Природе и животном диком мире нет страха. То, что люди считают страхом у животных — не страх, а закон Природы. Тигр догоняет оленя, волки убивают сохатого, лиса гонит зайца, один должен догнать, чтобы выжить, другой убежать, чтобы выжить. И это закон. Но страха здесь нет. Смерть единиц, это не смерть вида. Потому чувство страха чуждо животному миру.

Люди считают, что страх — привилегия мыслящих существ. Я боюсь, значит мыслю. Среди человечества есть люди с другим мышлением: они ближе к животному миру, они не испытывают страха и их называют блаженными, а есть свихнувшиеся с манией страха. Первые легко находят

контакт с животными и зверями, вторые боятся всего и их избегают любые животные.

Избавиться от страха и найти понимание между людьми и животными могут немногие. Рассказывают, что Серафим Саровский жил среди диких медведей и кормил их с рук. Многие животные принимали человеческого дитя и воспитывали, потому что тот не знал, что такое страх и не отталкивал им животных.

Природа или экологическая система Земли имеет энергетическую силу и Разум. В войне человека с экосистемой будет побеждён человек, потому что он имеет страх. Это страх заставляет человека губить мир, в котором он живёт.

Виктор шёл к знакомым «химикам», когда увидел на торной дороге медведя. Он свистнул, но медведь не уходил. Виктор увидел, что медведь задней лапой попал в большой медвежий капкан, поставленный каким-то промысловиком.

Капкан цепью был привязан к потаску, трёхметровому обрезку бревна. Видимо попав в капкан и поняв, что ему не вырваться, медведь пошёл к дороге, к людям, просить о помощи. Виктор уже тогда понимал мысли животных и умел передавать свои. Но от страха он ещё не избавился.

Как подойти к раненому зверю, обиженному человеком, а вдруг тот захочет отомстить? Но мысли отправляемые медведем кроме просьбы о помощи и отчаяния ничего больше не выражали.

Виктор принялся выворачивать винт на пружине капкана. Когда челюсти капкана раскрылись и медведь, вытащив лапу, стал её зализывать языком, Виктор дотронулся рукой до его плеча:

— Пока, друг, больше не попадайся в капканы. Повернулся и пошёл дальше по дороге, на повороте оглянулся, зверя уже не было.

Победив в себе страх, Виктор почувствовал, что-то изменилось вокруг него после того случая. Тайга стала понятнее ему.

Глава восьмая

Что такое Страх, объясняет Профессор Виктору, с которым познакомились и стали друзьями. Страшилки, рассказанные вздымщиками на Центральном участке, друг другу, на ночь.

Прожив два года в одиночестве, Виктор навестил Евлампия. Он пробыл у него в сумеречной зоне всё лето, живя у вздымщиков, помогая им работать. Он перезнакомился со всеми лесными жителями, слушал их рассказы о жизни, вникал в рассуждения, сопоставлял и размышлял.

Это было в то лето, когда приехала в лесхоз Анюта, и кончил своё существование Росомаха. Евлампий познакомил его с Наумовым, а тот свёл Виктора с Профессором.

Когда сходятся два человека, имеющие одинаковые взгляды на жизнь, они обязательно становятся друзьями. Виктор и Профессор подружились. Профессора заинтересовали рассказы Виктора, о том, как тот изживал из себя страх перед тайгой, перед её обитателями и становился её частицей.

Виктор не был знаком с философией Кьеркегора, с его понятием человеческого страха, он своими размышлениями и опытом пришёл к выводу человеческой сути и углубил эти понятия для себя, переведя их в практические действия.

Профессор расспрашивал Виктора о мельчайших деталях жизни в тайге, сопоставлял с учением Кьеркегора и видел, что во многом оправдываются его мысли и суждения о Природе, Инстинкте, животном и человеке.

И Виктор, и Профессор не допускали превосходства человека над животным. Когда при них называли «животным» какого-нибудь человека, потерявшего совесть и человеческий облик даже по человеческим меркам, — это приводило их в недоумение. Животные, звери никогда такого бы не совершили.

Профессор всегда цитировал в таких случаях Адольфа Гитлера: «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак». Многие людские поступки просто немыслимы в животном мире.

— Есть ли этика у животных? Вам смешно. Какая этика? Ведь животные не имеют разума. А этика привилегия мыслящего существа.

Нет, у животного есть разум и этот разум Инстинкт. Инстинкт не только разум, совесть и прочие чувства, но и Бог животного — так думал и говорил Профессор.

Человек потерял истинного Бога, а возможно и не имел, и ему твердят об этом его чувства, его интуиция.

Человек утрачивает самого себя, как только начинает противиться стремлению найти себя в Боге. И как только захочет найти себя в себе, отрицая Природу.

Первоосновы бытия человека недоказуемы и принимаются исключительно верой. Вера строится на чувствах человека, подкрепляемых интуицией.

Всё это в конечном итоге называется мудростью, которая даётся человеку извне, как подарок, как знание. Этим знанием человека наделяет Творец, который имеет его изначально.

Знание, основанное на человеческом разуме, ничего не стоит, оно не имеет жизни.

Ценность человеческой личности состоит именно в её поиске себя в Боге.

Так говорил Профессор Виктору, который во многом был с ним согласен, но некоторые его мысли и суждения не принимал, думая по-своему. Он принимал понятие страха в том виде, что и Профессор.

Страх это пустота в душе, требующая заполнения. Даже детский страх происходит от той же пустоты. Родители, заполняйте душу ребёнка своим вниманием, любовью, чтобы в будущем меньше было пустоты для страха.

Всё, что не может объяснить человеческий разум, вызывает страх. Смятение чувств, молчание интуиции, хаос и пустота в душе — всё это страх.

Страх руководит многими поступками человека.

Даже воля к власти, понятие сверхчеловека есть порождение страха.

Однажды в банный день на Центральном участке собралось больше десятка человек. В большой избе люди разбились на группки. В дальнем углу, на двух кроватях и табурете между ними, Сеня Игрок и трое вздымщиков играли в карты.

За столом, над которым висела керосиновая лампа, сидели Колька Лысый, Майор, Профессор, Виктор, тётка Фиса с мужем. Они пили чай с халвой, которую брали из большой открытой металлической банки. Колька Лысый по обыкновению запивал куски халвы своим чаем-сиропом.

Ещё несколько человек лежали на двухъярусных кроватях, прислушиваясь к разговору за столом.

— Вот ты, Профессор, говоришь, что страх от пустоты в душе и что животные не имеют страха, хотя имеют душу, а что тогда скажешь о животном страхе? О страхе, что спасает жизнь? Ведь не будь у зверей этого страха, то заяц бы не убегал от лисы, и другие жертвы сидели бы и ждали, когда их сожрут.

— Здесь другой вид страха. Это интуитивный страх, приказ инстинкта спасать свою жизнь действием. А мы говорили о душевном страхе, что управляет всей жизнью человека, у животных этого страха нет, они частички Природы, которая живёт в них, а они в ней.

— Понятно, значит иногда, чтобы спасти свою жизнь, нужно победить этот животный страх. Вот ведь несуразность получается. Был у меня на службе такой случай.

Служил я в ракетных войсках. Да, в тех самых, что сдерживали происки империалистов. Заправляется та ракета топливом с окислителем. А окислитель страшная вещь для человека, смерть, одним словом. На бочках с окислителем она даже нарисована.

И вот однажды на складе произошла утечка окислителя. Чтобы перекрыть её, нужно в склад войти, а там уже воздух отравлен, смерть в нём витает. Можно бы солдата отправить туда, ведь в армии старший чин важнее младшего, солдат он для смерти создан, а у меня на сей счёт свои мысли всегда были. Вот я напялил на себя костюм химзащиты и в склад вошёл.

И увидел я её тогда родненькую близёхонько, вот как вас теперь. Сквозь стёкла противогаза лыбится она мне и косточками пальцев к себе манит. Вот тогда то я страх и почувствовал. Не идут ноги, руки отказались повиноваться, значит, сработал инстинкт самосохранения.

Не пускает меня он в объятия костлявой красотки. А разум мне говорит:

— Не закроешь утечку всё равно вам смерть, так кроме тебя ещё и пацаны твои накроются, иди, делай дело!

Теперь понял, клин клином вышибают, а страх страхом. Закрыл я утечку, очистил вентиляцией помещение. Засосал вентилятор костлявую красотку в трубы, а она мне на прощание пальчиком погрозила, улыбнулась мило так, что дрожь по телу прокатилась и сказала:

— Лихой ты парень, майор, нравитесь вы мне такие, до скорой встречи, милый!

А я и без неё знаю, что рано или поздно встретимся снова, так чего бояться-то. Баба как баба, костлявая только шибко. Мне мои солдаты потом говорили:

— Вас теперь, наверное, наградят или в звании повысят, ведь вы подвиг совершили. А я думаю:

— Хоть бы до начальства не дошло, а то они все свои недоработки на меня свалят, тут тогда не повышения, а разжалования жди. Вот вам и страх.

— Это страх перед смертью, вот у меня с ней тоже случай был — вскочил и замахал руками Колька Лысый.

— Помните, два года назад нашего замёрзшего вздымщика на дороге нашли? Он в посёлок шёл, упал и замёрз, одна рука вперёд торчала и пальцы скрючены, видимо пытался ползти. Так его и привезли с вытянутой рукой. В гроб не положишь и потом с района следователь должен был приехать, вскрытие на всякий случай сделать, вот мастер мне и Лихому Пузырю приказал отогреть труп в котельной.

Положили мы бедолагу на кирпичи котла, рука так и торчит вперёд, а сами поминать его уселись. Нам мастер за работу со «жмуриком» на пару литров водки денег дал.

Сидим этак культурненько у котла, на столе закусь, водка, никто в котельную не заходит, брезгуют или бояться «жмурика». Пузырь за покойного предложил выпить по полной кружке, а это почти два стакана. Ему-то что, в его брюхо и десять литров водки поместится, только наливай.

Захмелели мы, Пузырь про баб начал разговор, это значит, что уже дошёл до кондиции. Забыл я, сказать, что сидели мы за столиком, как раз над нами вытянутая рука нашего бедолаги простиралась. И как раз под ней сидел Пузырь. Выпили мы ещё и Пузырь говорит:

— Несправедливо получается, вот сидим с тобой, как председатели колхоза, и водочку попиваем, огурчиками закусываем, а тот за чей счёт этот банкет выпить даже не может, давай и ему нальём.

В этот момент я вижу, как рука «жмурика» начинает опускаться. Пузырь сидит спиной к нему и ничего не видит, но видимо, что-то в моих глазах ему подсказало о неладном, а тут ещё и рука на плечо легла.

А я прекрасно умом понимаю, что вот рука отогрелась и по всем законам физики опустилась под действием силы тяжести, а всё равно такой страх обуял, что вскочил я и вон из котельной, за мной Пузырь.

Стоим как два дурака, протрезвели моментом, и друг другу говорим:

Ты чего?

А ты чего?

За столом все хохотали: — Значит, стыдно стало за чужой счёт пить?

Вместе со всеми смеялась и тётка Фиса, спокойная и рассудительная женщина.

— Тётка Фиса, а расскажи-ка и ты нам про страх, вот чего женщины, интересно, боятся? — предложил Майор.

— Чего, чего? Да того же, что и мужики. По первости я в тайге медведей боялась, а теперь собираю живицу, а они ягоду рядом щиплют, так ещё и разговариваю с имя. Правда, вот недавно случай был. Помните, неделю назад гроза ночью была. А у меня как на грех понос случился. Лысый медвежатины принёс кусок, а я, видать, не прожарила, как следует.

Мой-то за день набегался с хаком, спит, никаким громом не разбудишь, а я выскочу из времянки, темнотища не приведи бог, потом как громыхнёт над самой головой, словно по тебе ударило. Через минуту, как полыхнёт молонья, словно электрической лампочкой всё осветит. И тёмный жуткий лес, и нашу избушечку, и меня скорчившуюся неподалёку.

И так мне страшно стало, а вдруг меня сейчас кто-то видит, как я сижу с голой задницей.

Хохотали все, даже игроки забыли свои карты.

— Тётка Фиса, да кому в голову бы взбрело подглядывать за тобой среди тайги, ночью, да ещё в грозу — смеялся Лысый.

Отсмеялись, отшутились и тогда с кровати подал голос Чуваш:

— А со мной недавно странная, страшная история произошла. Иду по своему участку. Приспичило мне, стою я и писаю.

Писает младенец, а ты уже ссышь...— перебил Чуваша Лысый.

Пусть будет так. И слышу я голос:

— Отвернулся бы бесстыжий.

Смотрю, а на валёжине какой-то мужик странный сидит. Странный, потому что в лаптях. Косматый, с бородой, таких у нас много, а вот в лаптях никто не ходит. Корзинка рядом стоит, и что меня поразило, полная клюквы.

А клюква, вы сами все знаете, от нас очень далеко, нигде рядом такого болота нет, да и клюква отборная, крупная.

А мужик мне дальше говорит:

— Совсем люди испортились, мало того, что мясо убитых животных едят, так ещё и собак для еды разводят. Ты зачем собак ешь?

— А я тебе, что говорил всегда — снова перебил Колька Лысый Чуваша.

— Говорил, говорил. Я думаю, откуда он про собак знает, ведь впервые вижу его. А он словно мысли мои читает:

— Знаю, знаю, я про всех всё знаю, своему другу Кольке Лысому скажи, что если он с охотой не угомонится, то накажу я его.

Понял я тогда, что это леший. И так страшно стало, а он возьми и исчезни. А корзинка осталась. Я взял из неё щепотку ягоды и в рот. Перекосило всего от кислоты:

— Что кислая, ягодка то? — снова раздался голос, и корзинка исчезла.

Вот какие чудеса то бывают. И страшно от них, потому, что непонятные они для человека.

Долго в тот вечер ещё не спали вздымщики, почти каждый рассказал историю про свой страх. И выходило, что страх у каждого разный и непонятно было, что же это такое. Каждый представлял его по своему и каждый относился к нему со своим мнением.

Глава девятая

Встреча Виктора и Анюты. Любовь. Что такое Любовь, рассказывает Наумов. Профессор и другие люди спорят на эту тему. Наумов благословляет Виктора и Анюту на совместную жизнь.

Впервые Анюта увидела Виктора у Профессора. Она частенько приходила к его сборщице живицы Нинке Чижику по делам и просто поболтать. Нинка многое в жизни повидала и напоминала ей Екатерину.

Мужчины для Анюты были все одним лицом противоположного пола. Она подчинялась им, когда они требовали от неё того, чего хотели. Петро презирал её, но пользовался её услугами.

Нет, Анюта знала про любовь, и про то, что мужчины живут с женщинами по-другому. Но это было где-то в другом недоступном мире — в кино или в книгах. Нинка про мужиков говорила коротко — «козлы». Однажды Профессор ей заметил, что козлы в природе отличаются от «козлов» в человеческом обществе и не несут ответственности за их действия, потому оскорбительно очень для них такое сравнение.

Анюте Виктор понравился своим поведением, мягкостью и в то же время, какой-то скрытой внутренней силой. Язык бы не повернулся послать его на..., как например Кольку Лысого, или другого такого же прилипчивого мужичонку из вздымщиков.

Она даже втайне понимала, что позови он её, и она не откажется, но как раз такие люди никогда не предложат ничего подобного, чтобы не потерять лицо, или потому, что они действительно из другого теста.

Каждый раз, встречая его у Профессора, она замечала, что и он смотрит на неё по-особенному, не оценивающе, раздевая глазами, а, как бы, пытаясь заглянуть ей в глаза и увидеть в них, что-то важное для него.

Со временем они стали разговаривать, и, видимо, это общение словом сблизило их, появилось у обоих желание видеть вновь друг друга.

Однажды, в очередной «банный вечер», на Центральном участке зашёл разговор о любви. Снобы из «высшего общества» презрительно усмехнутся:

— Что понимает это «быдло» в любви и в других высоких чувствах!

Как ни странно для них, понимают. Бог даёт мудрость, независимо от причастности к какому-то классу и обществу. Он же на всех людей излил благо своей Любви, наделил всех чувствами.

Жалость, сострадание чаще бывает у того, кто любит ближнего своего. Можно всё знать о любви и говорить, о ней красиво и с восторгом, но не испытывать её.

О любви говорить русские люди стыдятся. Некоторые считают это чувство тайным. Может это идёт от православия, от тех таинств, что даёт людям Бог? А может это от таинственной русской души, которая не привыкла разбрасываться словами?

Вот в какой-то там Америке или Франции люди постоянно и в семье, и в обществе говорят: «Я люблю тебя!»

В России принято о любви говорить или в церкви, или в правительстве.

Даже любимая девушка из любящего её парня клещами вытягивает слова:

«Я люблю тебя».

Поэтому разговор о любви зашёл только благодаря Библии. Завёл его Наумов, рассказывая всем о Любви.

— Бог есть Любовь! Если в человеке есть чувство любви, значит, он имеет в себе Бога — так начал он свою проповедь.

— Хэ, любить можно всё, даже грех. Что же за любовь тогда выходит. Вон наш Скупердяй деньги любит больше всего на свете, за них душу продаст, где же здесь Бог? — заметил Майор.

— А вот Бляндинка каждого мужика любит, прямо Магдалина какая-то. Это что любовь, или грех? — съехидничал Колька Лысый.

— Вы попробуйте меня понять. Если в человеке есть Бог — Любовь, то не пойдёт Бог на грех, не допустит Он этого. Невозможно самому против себя идти. Изначально было Слово и Слово это Любовь.

Не какая-то там похоть женщины к мужчине и наоборот, а истинная Любовь. Это Она нас всех предупреждает о грехе, останавливает через совесть. Многие пытаются подменить Бога и приписать Ему греховность. Но есть в Библии слова, что определяют Любовь.

«Любовь: долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт».

— А у животных проще. Их Бог Инстинкт не допускает до того, что нельзя. Человеку нужно возвратиться до уровня Инстинкта, научиться у животных всем неиспорченным чувствам.

Если любить самку, то, как голуби или лебеди любят. А любовь волка к волчице! Ведь животные, птицы сохраняют любовь без изменения в потомстве, а люди уже похоть, срам за любовь считают. Скажи, Виктор, я прав или нет? — высказался Профессор.

— У животных те же чувства, что и у человека. Только нет обмана. Любить животные умеют гораздо бескорыстнее, чем человек, возьмите, к примеру, собаку — ответил Виктор.

— Поехало, у Профессора союзник появился, теперь держитесь люди — хихикнул Лысый.

— То, что ты Бога заменил Инстинктом, неправильно — начал Наумов. — В Библии Бог говорит, что создал человека по подобию своему. И создал его после всех зверей и птиц. И дал человеку право управлять ими. Но человек впал в грех, отодвинулся от Бога и от Природы.

Стал жить своим разумом, который гораздо несовершеннее мудрости Божьей. А животные несут в себе закон, данный им Богом при создании, и по нему поступают.

— Значит всё зло и все отрицательные чувства в человеке от его разума? Человек, имея Добро, сознательно выбирает Зло. Бог сделал ошибку, создав человека, оставил бы одних животных и мир был бы идеален — сказал Майор.

— Бог пытается исправить человечество через своих пророков. Их было много на земле: Илия, Моисей, Иисус Христос. Иисус Сын Божий принёс на землю людям Любовь.

«Заповедь новую принёс Я вам, да любите друг друга».

— Мудрёно всё это, человеку самому никогда не исправиться. Раз Бог Создатель, то Он и в ответе за него. Взял бы и переделал человека вновь — выдал своё мнение Майор.

— Бог наделил человека свободой выбора. Хочешь стать другим — следуй за Богом. Хочешь жить, как живёшь — живи. Только ответ придётся держать за свои дела.

— Ну и где же здесь свобода выбора? Если не пойдёшь за богом, то он тебя на осину или в пекло, так что ли? — заметил Лысый.

— Значит так, чего-то или кого-то человек должен бояться. Видимо вся система на земле и на небе построена по одному принципу — засмеялся Майор.

Долго в тот вечер ещё спорили вздымщики, расходились затемно. Вот тогда-то Виктор предложил Анюте проводить её до дома. Анюта согласилась.

Придя на времянку к Петру Панасюку, они застали его лежащим на кровати:

— Смотрите, кто пришёл, наша девочка со свидания заявилась, наверное, проголодалась, бедная.

Анюта сжалась, ожидая удара.

— Где это ты такого ухажёра себе отхватила? Что парень, приспичило сильно? Так, я тебе её уступлю за литру водки, можешь пользоваться, Анютка, она в этом деле шустрая.

— Оставь гадости и оскорбления при себе, литру я тебе отправлю, только не продешевил ли ты?

— Нет, не продешевил, большего она не стоит.

Виктор посмотрел на Анюту: — Ты пойдёшь со мной?

— Пойду, всё равно он меня убьёт.

— Тогда собирайся, бери свои вещи, переночуем у Профессора.

— Сначала водку гони, потом бабу заберёшь — взвился Петро.

— Возьмёшь утром у Нинки Чижика, а сейчас не становись у меня на дороге .

Волки в природе дерутся только на смерть, за право быть вожаком. Самку забирает сильнейший, чтобы не ухудшалось потомство. Достаточно соперникам показать друг другу зубы, продемонстрировать свою отвагу, чтобы понять, кто имеет право на самку.

Петро Панасюк молча отступил.

Несколько дней Виктор с Анютой жили у Наумова. Наумов был очень рад за выбор Виктора:

— Анюта очень хорошая девушка, вот только испытания ей достались, как Иову, но душа у неё не запятнана, как у ребёнка — говорил он Виктору.

— Я рад за вас и благословляю ваш союз. Прилепится Анюта к тебе, и станете вы единым целым, а целое погубить гораздо труднее, чем половинку.

Молодые решили оформить свои отношения официально, а заодно и повидать своих родственников. Выехали в посёлок. В посёлке Виктор по рации нашёл свою бабку Катерину. «Муссон» как раз сопровождал плот до Енисея.

Виктор и Анюта сидели на пристани, когда из-за поворота показался длиннющий плот, который тянул буксир «Ангара».

Приветливо заревели сирены катеров и один из них, разрезая носом воду, помчался к пристани. На палубе стояла женщина и всматривалась в людей на берегу.

— Вот это и есть моя бабка Катерина — сказал Анюте Виктор, улыбаясь.

— Да ведь это Катерина, это она меня сюда привезла и на работу устроила.

Обнимая Виктора, Катерина смахивала постоянно слёзы, катившиеся из глаз.

— Ну, хватит, ба, успокойся, познакомься с моей женой, позавчера только свидетельство о браке получили — говорил Виктор, поглаживая седые волосы Катерины.

— Вот тебе и на. Так это ты, голуба, моего внука окрутила, ишь, как вцепилась-то в него. Ещё бы, самый лучший парень с Ангары тебе достался, вить я сама, дура старая, невесту ему сюда доставила.

— Вот и спасибо тебе за это — засмеялся Виктор.

«Муссон» вновь занял своё место у плота, который изгибаясь словно змея, скользил по Ангаре.

На палубе сидели Виктор с Анютой и любовались тайгой по берегам реки, они мечтали о новой уже совместной жизни. Иногда к ним выходила Катерина, неся то компот, то чай с булочками, обнимала их и вытирала счастливые слёзы.

Глава десятая

Она последняя и охватывает большой временной отрезок жизни героев. Относительность времени показана в непоследовательности повествования главы. Что такое Время? Зависит ли человек от него? Зависит ли Оно от человека? Чужой среди людей, но свой среди зверей. Дальнейшие судьбы лесных жителей. И заключительное пояснение автора:

Что такое Время? Человеку никогда этого не понять. Время это Творец или часть его. Ведь именно Время создаёт для каждого человека то, что человек принимает за жизнь. У каждого человека своё время, оно проходит через него, руководит его мыслями и чувствами.

Именно Время разделяет людей, живущих и существующих рядом и уже якобы умерших. Библия немного открывает эту тайну Времени. Она говорит, что у Бога (Времени) много обителей, где и живут люди. Только для одних это прошлое, а для других настоящее.

Разум человека разделил Время на прошлое, настоящее и будущее. Но Время бесконечно во всех измерениях. Времён множество и они пересекаются между собой, входят друг в друга. Всё человечество, люди из которого оно состоит — частицы, молекулы или атомы некоего существа, которого создаёт Природа, Творец.

Почти все философы утверждают, что прошлое невозможно изменить даже Творцу. Человек не может влиять на Время, оно независимо от него. Даже, когда человек попадает в другое измерение, он не может изменить Время.

Время неподвластно никому. То, что меняется для человека во Времени, это его личная временная суть. Может физическое или математическое Время и не меняется, но ведь существуют ещё множество других Времён, биологическое, эволюционирующее, психологическое и т.д.

«Мы считаем время по часам и думаем, что оно для всех одно. Но для каждого человека — своё время, и все времена разные. Современники отделены друг от друга веками» — сказал Мережковский.

А люди из разных веков с совпавшими ритмами Времени могут видеться и общаться между собой — добавлю я.

Как не вспомнишь тут Мюнхаузена умницы Янковского, который умел беседовать с якобы умершим Шекспиром.

Вот что говорил Виктору Профессор:

— Человеческий разум делит время на понятные ему части: настоящее, прошлое и будущее. Но это суть действительности, т.е. времени настоящего. Но есть время абстрактное, если смотреть на него из будущего или прошлого. Тогда оно приобретает совершенно иные свойства.

Каждый человек сам измеряет длину своего времени, ведь оно протекает через каждого из нас. То, что одному кажется физически длинным, для другого мимолётно. Время не только соединяет людей разных эпох и веков, но и разделяет живущих в одном физическом времени.

Такое ощущение, что Время перемешало всех людей, для какой-то своей цели. Хорошо это проглядывается в восточных религиях и учениях их философов.

Вселенная вне человеческого времени. Знание от Творца тоже вне человеческого времени и человеческих мер разума. То, что ты находишься в другом измерении времени — суть твоего «я». Это свойство твоего восприятия мира физически преобразовало время для тебя.

История много рассказывает о несуществующих, исчезнувших якобы странах и городах. Это Атлантида, Шамбала, Мангазея и много других, которые существуют, но в другом измерении. В наше время попадают летающие тарелки из одного измерения, снежные люди из другого. Вот и ты нашёл дорогу в другое измерение, пользуйся этим с осторожностью.

Люди не могут ещё, слава Богу, управлять временем, да оно и не допустит этого, иначе они полностью погубили бы мир и вселенское равновесие.

Зависит ли человек от Времени? А зависит ли грудной ребёнок от матери? Ведь человечество, как бы оно себя не возносило, ещё тот же грудной ребёнок. Зависит ли Время от человека? В некотором роде, да. Как зависит Творец от своего творения. В чувственных, но не физических параметрах. Время отзывается на боль человечества.

Этот разговор произойдёт между ними по человеческому понятию времени в будущем, а сейчас они ещё в настоящем.

Впервые Виктор почувствовал себя чужим среди людей, когда приехал с бабкой Катериной к своим родителям, к сёстрам. Если считать по человеческим меркам, то Виктору были рады здесь, его любили как сына, как брата, как внука.

Но что-то говорило Виктору, что он здесь чужой. Его мало интересовали заботы родных, они казались ему несущественными. Всё что происходило в мире, среди людей ему тоже казалось пустым, непонятным и пугающе чужим. Родные вначале считали, что Виктор просто отвык от людских отношений от человеческого общения.

— Одичал ты там в своей тайге — шутили они, считая, что пройдёт время, и он вновь станет прежним.

Но Виктор не привыкал. Он съездил с Анютой в Белоруссию, но и Анюте дома было не по себе. Большую часть времени они проводили между собой,

разговаривали, вспоминали лесных жителей, тайгу. И от этих разговоров становилось легче. Через два года они решили вернуться.

В сумеречной зоне у химиков жизнь текла по своему времени, здесь не ощущалась людская суета, не давил смог из человеческих чувств и эмоций, висящий над каждым городом и посёлком. Иногда этот смог над большими человеческими скоплениями вызывал психозы, выливавшиеся в войны и другие отрицательные явления.

Здесь же над тайгой разливалась сама безмятежность и доброжелательность.

Лесные жители недавно отпраздновали на Центральном участке свадьбу Евлампия и Бляндинки. Невеста была на последних месяцах беременности. Но в фате и всё как полагается. Она сама не знала, кто отец будущего ребёнка. Им мог быть любой из присутствующих на свадьбе вздымщиков, кроме Евлампия. Молодой старовер брал за себя Бляндинку и будущего ребёнка считал своим.

— Дина, у тебя теперь будет ребёнок, и я не допущу, чтобы он рос при матери, ведущей такую жизнь, как ты. Тебе придётся смириться и жить по моим правилам.

Нужно сказать, что все мужики оценили поступок Евлампия, а сама Бляндинка, которую после свадьбы вновь стали звать Диной, души в нём не чаяла и исправно рожала для него сына за сыном.

Встретившись с Евлампием, Виктор порадовался за него. Евлампий сходил с Виктором до охотничьей избушки и помог тому срубить новую просторную избу.

— Плодитесь и размножайтесь яко всякая тварь на сем мире — пожелал он Виктору и Анюте.

Я решил не рассказывать о любви этих двух людей, которых судьба свела вместе. Скажу только, что они были действительно половинками, нашедшими друг друга. Жизнь в тайге сурова и имеет свои законы, но Виктор принял эти законы давно, стал полноправным жителем среди остальных её обитателей.

У него с Анютой появились дети. Не скажу своего мнения о том, правильно ли они поступили, что стали готовить их не к жизни среди людского общества, а к жизни в тайге. К жизни в новом мире.

После встречи с Профессором, когда Виктор впервые рассказал тому о своём переходе в другое временное измерение, прошло несколько лет. Виктор пересекал границу между мирами свободно, но вот дети, а затем и Анюта не могли этого делать, видимо они получили постоянное проживание в новом мире.

Однажды Виктор привёл в свой мир Профессора, которому хотелось убедиться в правильности своих размышлений.

— Постарайся победить в себе Страх перед Природой, и ты перейдёшь в новое Время — говорил он ему.

Долго пытался тот это сделать, и однажды Виктор, взяв его за руку, пересёк границу.

Профессор был там недолго, новый мир выкинул его,— не принял, видимо Страх сидел в нём очень крепко. Но даже нескольких часов ему хватило оценить и понять те другие ощущения и чувства, что накрыли его.

Он видел глухаря, что спокойно бродил по поляне среди спелой крупной брусники, лениво склёвывая бордовую ягоду, и кося на него своим

краснобровым глазом. Видел он, что деревья, ягода, вода в ручье не отравлены человеком, Ангара прекрасна в своём первозданном виде.

Лось не боится его и Виктора, а над всем этим миром ясное и чистое небо, не исчирканное следами реактивных чудовищ.

— Вот тот рай, о котором мечтает человек и куда Бог берёт избранных — думал он.

И в нём проснулись тоска об утерянном, страх потери Бога, страх неизбежности наказания. И он был выкинут в своё время.

Прошли времена перестройки страны. Одних правителей заменили другие, осталась лишь только алчность и жадность, воровство и ненависть. Исчезли леспромхозы, лесхозы, закрылись аэропорты и пристани на Ангаре.

Люди были брошены на самовыживание. Закрылся и химлесхоз с моими героями. Люди из тайги вышли в мир, где все рвали друг друга, теряя последний стыд и совесть. А в зверином обществе царил всё тот же Инстинкт и порядок.

Профессор закончил свою жизнь бомжом, а все его философские труды, мысли, бумаги были безжалостно похоронены на помойке.

Колька Лысый спился и сгорел от палёной водки. Старовер Евлампий устроился лесником и жил с семьёй безвыездно в тайге. Майор погиб в драке с братками.

Наумов уехал к жене в город и зарегистрировал баптистскую общину.

Виктор всё реже выходил к людям в сумеречную зону, а когда все из неё выехали, полностью ушёл в другое время.

Небольшое пояснение автора своим читателям

— Никогда не оправдывайся в своих поступках перед другими людьми — учила Катерина своего внука Виктора в моей повести. Последую и я её совету. Не оправдываюсь я перед своими читателями, а хочу досказать то, что не досказали мои герои.

Повесть можно сравнить со щами, где бульон составляет главный объем. Чем жиже, тем легче хлебается.

Моя повесть — скорее каша, что дерёт глотку, потому старался я добавить туда по возможности маслица.

Хорошо, что устранились в нынешнее время критики, иначе моя кулинария нервам дорого бы обошлась. Да и то взять — писать под диктовку знающего всё и вся, имеющего все звания и награды человека, труд паскуднейший, отбивающий любое проявление своего «Я».

Сама тема моей повести, её философия приведёт в ужас любого критикующего чиновника, оберегающего устои государства и любого общества. Поэтому пусть услышит тот из них, что прочитав всё же мою повесть, потирает руки и оттачивает клыки, слова моей героини бабки Катерины: «Видал у галки сикалку!»

Написал я эту повесть для своих читателей, которые её примут, которые прочтут и увидят недосказанные героями слова. Почувствуют интуицией — той самой, о которой говорится во всём произведении, что хотел сказать автор, о чём напомнить и от чего предостеречь.

У каждого автора свои читатели, поэтому глупо думать, что меня могут принять любители гламура, детективов и других ныне модных жанров. Не

для них моя повесть. Не для большинства, ведь большинство это всегда толпа. Это для личностей, для людей мыслящих и пытающихся самим разобраться в том, что же есть человеческое бытиё.

Может, мои жители сумеречной зоны вызовут у большинства презрение и брезгливость, а кто-то докажет, что они самая бесполезная и неразвитая часть человечества, цивилизации, и что наука, прогресс выведут человечество из тупика, куда оно стремительно скатывается.

Не будет этого. Нынешнее человечество изжило себя, апокалипсис неизбежен, как это было уже не раз.

Природа сама пытается спасти людей, создать нового человека, который смог бы жить с ней в мире и согласии.

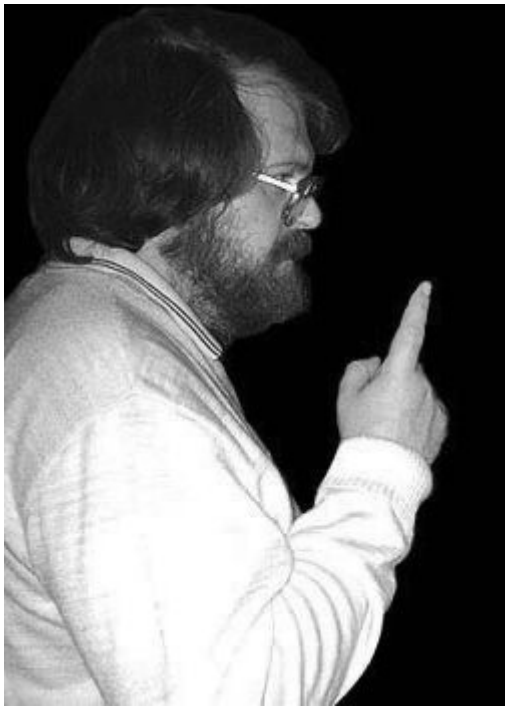
2 книги ***Игоря Хайкина***:

Ebenda
О том, что человечество делится на врачей и пациентов.
Книга не только о медицине,
она — **о людях, родившихся в СССР...**

Блошиный рынок
Книга — попытка понять, как меняемся мы
и что меняется в нас – в изменяющейся жизни.
Что ***мы находим, что теряем и с чем остаемся.***
И что остается нам на память.

ЛИТЕРАТУРНОЕ za·za ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Александр Балтин. Рассказы



Александр Балтин родился в Москве в 1967 году. Систематического образования не получил. Впервые опубликовался, как поэт в 1996 году в журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США).

Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5-ти томах), и свыше 2000 публикаций в более, чем 100 изданиях России, Украины, Беларуси, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, Эстонии, Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США.

Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградой Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера. Награждён юбилейной медалью портала «Парнас. Государственный стипендиат Союза писателей Москвы. Почётный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведены на итальянский и польский языки. В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвящённая творчеству писателя.

Читая рассказы Балтина, выделяешь их описательность. Если мать, то обязательно тоненькая, а отцы — седобородые или вечно-зарабатывающие, озабоченно-скучные. Каждое прилагательное играет и позволяет представить себе всех персонажей. Временами кажется, что читаешь стихи, а не прозу. И все благодаря образности: лабиринты книжных стеллажей, тугая гроздь слов, нежный янтарь, банковские нули, отдающие космосом. Что это как не поэтическая проза? От самих же рассказов остаётся странное и восхитительное чувства вдыхания смеси детства со взрослостью, прошлого с настоящим, желаемого с несбыточным.

Константин Емельянов

ДОМ ЗАСЕЛЯЕТСЯ…

Дом заселяется — медленно, с неукоснимой точностью и чёткостью.

Старик с первого этажа, постукивая старинной витой палкой с торжественным набалдашником, выводит на прогулку пса — тоже старика.

Они живут вдвоём, ибо жена старика умерла, а дочь… сгинула где-то в Европе, выйдя замуж; и пегий пёс со слезящимися глазами ждёт у булочной, пока хозяин купит хлеба…

Потом их видят во дворе — старик ни с кем не разговаривает, если только кивает; лицо его тяжело, будто каменная кладка, и если он садится на скамью, пёс, вздыхая, ложится у его ног.

Дети резвятся на площадке, и горка, закрученная улиткой, способна пропустить через себя множество кричащих, верещащих, ликующих малышей; и старик смотрит на них из тяжёлой и надоевшей раковины плоти — думая, вспоминая…

Мысли его тягучи, но вовсе не похожи на золотистый, свежий, тягучий, ароматный мёд…

Поэт глядит на него с шестого этажа, полагая, что…

Впрочем, что полагает поэт, расскажет его стих, зреющий тугой гроздью слов в дебрях сознанья… Дебри эти едва ли надёжный виноградник! Размышляет поэт, глядя в зеркало на себя — сильно постаревшего, седобородого, с лицом, всё плотнее увязающим в сети морщин.

Ещё в зеркале отражается угол коридора: коленчатого, как переулок, с массивом книжных стеллажей, с их внутренним лабиринтом, которым так интересно было путешествовать в юности…

Масляно поблёскивает включённый торшер, и уд — струнный щипковый инструмент, некогда привезённый отцом из Египта, заткнут за пластмассовый колос, пластмассовый же подсолнух с которого давно отлетел и потерялся.

Поэт проводит пальцем по пыльной шее инструмента, и вензель, возникающий в сером слое, нравится ему, как будущее стихотворенье.

Поэт считает себя и старика, с которым никогда не здоровается, двумя полюсами одиночества — которые и держат дом.

А он заселяется — медленно, постепенно…

Семья — косно-мещанская, крепко-зажиточная — плотно размещается на этаже… над поэтом. Их четверо: дочка и сын похожи на только что выпеченные булки, хотя булкам этим за двадцать, и оба сильно отдают отцом: скучно-деловитым, вечно-зарабатывающим… Мамаша целыми днями торчит во дворе, собирая слухи и сплетни в плетёный короб собственной пустоты, и это коллекционирование кажется ей приятным занятием, славным времяпрепровождением. Дочь ходит на работу в ателье, а сын… Это не интересно ни поэту, ни старику.

Дом держит в себе начинку, храня её от излишнего повреждения.

Один из детей властной, пожилой дамы стал банкиром, редко бывает здесь, вероятно, содержит мать, живущую со вторым — так и не женившимся, ходящим на какую-то серую, скудную службу. Он пьёт — этот второй: одиноко, сосредоточенно, серьёзно.

Он пьёт так, что может упасть на первом этаже и заснуть.

Он будет спать час, потом пойдёт босой, по лестнице, мигая и не узнавая никого, и мещанистая мамаша побежит к властной даме, интересуясь, дошёл ли Юра. Он всегда доходит — ибо дошёл уже до предела бессмыслицы.

Дом супит брови — осенними вечерами, зимними сумерками; дом громоздится летом на фоне неба, будто новая Троя, которой никогда не грозит война.

Нумизмат перебирает античные монеты, вздыхая по новой, столь необходимой ему, хотя, если и сможет приобрести, тут же поблекнет она, ныне одетая золотистым флёром мечты.

Парень — высокий и тощий —выпуская колечки дыма и стряхивая пепел, идёт за пивом, думая, кому позвонить, чтобы разделили компанию, если родители уехали на дачу, а он отговорился выдуманными делами.

Шарики грая слетают с разросшихся тополей, чьи ветви переплетены так густо, что взгляд пружинит, как о батут: внимательный взгляд — поэта, рассеянный —старика, никакой — мамаши, цепкий — властный дамы, мутный — сынка-алкаша.

Кто снимает квартиру на третьем?

Они съедут вот-вот, не узнанные никем в доме, да и не интересные никому…

Тяжёлое Гав стариковской собаки гулко падает воздух, как кем-то выброшенный предмет— и прозаик, проходящий мимо, видит: дом мерно,

неукоснимо заселяется людьми, взрослеет вместе с ними, принимает радостно новорожденных, каким предстоит свершить круг, чтобы лечь в лодку гроба, как легли уже многие, жившие в доме — которого никогда не было, ибо прозаик, путешествуя по листам снежной бумаги, не признавая поля монитора, измыслил самый обычный, такой сыто-крепкий, из многочисленных, дом: измыслил и заселил, играя смыслами, отчасти угнетённый ими, отчасти счастливый —дугами пёстрого воображения.

НЕЖНЫЙ ЯНТАРЬ

В нежный янтарь детских воспоминаний одевался маленький скверик напротив подъезда, из которого выходил первые десять лет жизни: и мерцал оный янтарь зыбко, красиво, не отчётливо.

А скверика нет — вероятно, и не было: славный камень пошутил: есть только детская площадка — пёстрая, как все подобные ныне, красивая, с горкой, различными качелями, разноцветной каруселью (а тогда дощатая была, и сквозь щели досок мелькала серая земля)…

Дом огромен: всего пять этажей, но строили сто с гаком лет назад, прочность закладывая вековую; и, торцевой частью выходя на улицу, тянется он в глубину двора, длится долго… По этой асфальтовой речке нёсся на первом своём велосипеде, как на быстрой лодке; нёсся, впервые усевшись на него, захваченный скоростью, и, не зная, как тормозить, вылетел на проезжую часть, рухнул, испугавшись, всей силой маленького тела, и — скрежетали тормоза, кто-то ругался, болел разбитый локоть…

Огромные окна дома, высокие; тут были коммуналки — с трёхметровыми потолками, стреляющими, толстыми половицами, общим телефоном в коридоре на тумбочке, и аппарат был склеен липкой лентой.

Зевластая пасть колонки играла синим огнём, точно показывала зубы; а обширное нутро кухни было разделено тумбочками на сегменты.

Отец возвращается с работы, выбегаешь встречать…

Вешалка возле двери, отец снимает куртку, вешает её, улыбается тебе, шестилетнему…

…морг, из которого хоронили папу, находится поблизости, можно дойти пешком, но не хочется, ибо воспоминания тяжелее свинца; а на детской площадке нет никого поутру, и садишься на скамейку, куришь, стряхивая пепел в урну, из которой торчит скомканная газета с перемятыми событьями летнего дня.

Жили на первом этаже.

Окна ныне забраны витыми решётками — а как было у вас? Не вспомнить, вся жизнь прошла.

Ходили на третий этаж в гости к часовщику дядя Косте; заглядывал ты в дверь, спрашивая:

— Мозя?

— А, давай, давай! — восклицал он.

Они пили с мамой чай, а ты выдвигал ящики, заполненные блестящими механизмами, перебирал их, иногда не больно накалывая палец, вертел в руках шестерёнки, сжимал пружинки.

Ещё заходили в гости к старой болгарке, дочке опального поэта; и ширма в её комнате была раскрыта павлиньим хвостом.

Сидишь, куришь.

Дома громоздятся, и дворы скручены причудливыми гирляндами тропок.

Дверь открывается — и вы выходите с отцом: он ведёт тебя за руку, что-то рассказывая — о далёких странах? О книгах? Музыке?

Вы идёте — медленно, ибо воскресный день — вдоль дома, глядящего на вас суммою окон, — идёте в парк, где есть пруд, и можно покормить уток, а можно — взять лодки напрокат.

И ты, сидящий на скамейке, забывший про сигарету — смотришь вслед двоим, медленно растворяющимся в перспективе.

КИНО СВОЕЙ ЖИЗНИ

В громоздком павильоне на ВДНХ — обветшавшем, но сохранившим имперское величие —в заднем его отсеке, тоже, впрочем, громоздком, снимают куски фильма.

Беспорядочное, несколько хаотичное движенье выливается в небольшой клок фрагмента, и человек, несущий чёрный шнур за камерой, улыбается, глупо и торжественно, точно доверили ему дорогую церковную утварь: ещё бы! чуть дёрнется, и картинка смазана.

Актрисы жестикулируют, проходя мимо случайно оказавшегося в массовке нищего поэта: выпал шанс подработать.

Он просто сидит на стуле, тягуче думая, что мог бы тоже сыграть крохотную роль, да удача нигде не подкараулила его.

Режиссёр кричит, кто-то вздрагивает, и щёки толстяка-оператора трясутся, как желе.

Воздух за стенами, за куполом павильона густ — хоть употребляй его с чаем: день плавила жара, и вечер не принесёт облегчения.

Праздная плазма гуляющих пестра, как фильм, как детские мечты; гроздья воздушных шариков качаются в воздухе, и продавец, когда подойдёт черёд расставаться с очередным, выдирает его из суммы собратьев, отдавая, чуть ли не сожалением.

Фонтаны блещут водяной работой: великолепные водомёты помпезной империи, сгустки радости — зыбкой, что круги, расходящиеся от падения струй.

Молодёжь влезает в воду, ходит в прогретой, тёплой; ребятня, смеясь, собирает блещущие, а иной раз заржавелые монетки…

Суммы дворов, скрученные летними гирлянды, пойдут за выставкой; суммы домов, каждый из которых превосходит объёмом средневековую крепость, восстанут на фоне вечереющего неба, храня содержимое своё с трепетом силы; домов и дворов, равнодушных к снимаемым фильмам, или заключаемым сделкам…

Сверкающее нутро банка: животные внутренности этого городского слона, где в мясистых креслах восседая, тузы потягивают коньяк, и говорят о суммах, чьи нули отдают космосом.

Жизнь дворов естественнее нулей, и бурное кипение детских площадок выбрасывает в воздух флажки и вымпелы криков.

А вот случайное чужое объятье в окне: подсмотри, поэт, пойдёт ли для излияния лирика?

Отец, качающий сынка на качелях, замечает под ними сгорбленные лодочки листвы — смуглые, бронзоватые; и грустно становится ему, и мысли про осень тянутся, как косяки улетающих птиц.

…или в другом окне: важный кот восседает на подоконнике, как на троне: не кот, а кошачий царь, ленивый властитель, и кактус, около него, будто съёживается, уменьшаясь в размерах…

Люди, снимавшие фильм, суетятся теперь, собираясь; дым делает воздух спёртым: курили много; пустые стаканчики из-под выпитого кофе мнутся под ногами, а режиссёр не доволен, устал.

… двор ко двору, кадр к другому: каждый снимает кино своей жизни —

как умеет, не спеша, поторапливаясь, заключая сделки, спиваясь, прогорая стихом, мечтая отлиться в песне; каждый громоздит его — фильм жизни своей, или тащит в отчаянье, сбиваясь, валясь от усталости, как бурлак — только баржи не видно.

Каждый прошёл детской площадкой, разбивал колени, хныкал, вырывал ручонку из руки отца, казавшегося таким сильным.

Закат меж домами виден литым золотом: там Вавилон небесный, раскинувший веера своего богатства…

В золото вливаются красные жилы, густая руда крови; потом появляются оттенки кармина, киновари; средневековые дукаты сыплются, меняя время, укорачивая его…

Бархатный провал ночи — с роскошью его, со звёздными шатрами и полями — ждёт все наши фильмы, и не отказаться от него, нет-нет — как и от них, кем-то продуманных до последнего кадра, до окончательной, красочной йоты.

ФИЛЬМ ЛИВНЯ

Вертикальные стрелы жары смиряет серо-оливковая тень: туши туч ползут медленно, туго задевая вершины многоэтажек, никак не способных повредить им.

-Уходить пора, — говорит тоненькая мать кудлатого малыша, который носится с девочкой, чуть постарше.

-Или прятаться, — улыбается в ответ седобородый пожилой отец девочки.

Дети на площадке глядят вверх — медленное движение фиолетово-лиловых громад завораживает почище всякой игры.

Темнеет среди дня — будто властный вечер, опережая события, задёргивает шторы.

— Ливень нужен, — одышливо говорит толстяк на скамейке возле подъезда. — А то от этой жары…

— Вздохнём свободней, — отвечает моложавый сосед лет пятидесяти, допивая пиво, и ставя бутылку около ножки.

Им незачем уходить.

— Да, незачем, — речёт толстяк. — Отсюда можно посмотреть фильм.

Фильм будет снят великолепно, и то, что режиссёр не известен не отменяет его грозной, роскошной красоты.

Вода низвергается стеной: будто высокие дома распороли, наконец, драгоценные мешки туч; вода закипает в мощных природных котлах, рвёт клоки пространства, закручивает их жгутами.

Фонтан в обширном дворе растворяется в синевато-стальной бездне, и маленькая эстрада занята выступленьем водяных артистов.

Всё блестит, растекается, хлещет; всё плавно, закруглено —стихия не знает углов.

Мощные кроны тополей сливаются в гигантскую массу: будто сверх-повар готовит зелёные щи.

Ветки сбивает водой, и низвергаются они, вереща, как живые.

— Ну и фильм! — восхищается толстяк.

Навес над подъездом велик, и, хотя ступеньки заштрихованы, а через пять минут и вовсе закрашены чёрным, перед скамейкой сохраняется часть серого асфальта.

— Не засекает, — зевает сосед.

Мальчишка глядит из окна — ему хочется выпрыгнуть и поплыть, он мечтает о плаванье-полёте, но, будучи семилетним уже, знает, что нельзя, что мечта редко обретает плоть яви.

Некто, приоткрыв дверь лоджии, курит, пуская седые кольца, смотрит на литую мощь влаги, вспоминая юношеское увлечение кино, представляя, как выглядело бы водное представление в эстетской картине с замечательной, вынимающей фрагменты яви с мускульным натяжением жизни, операторской работой.

Эфиопская жара позабыта, смена декораций, продиктованная природной мудростью, оправдана и сильна.

Горы туч — единственная форма гор, знающая визуальное движение; они плывут, мерно покачиваясь, они несут водное известие дальше.

Ливень переходит в дождь, но некто, продолжающий курить у приоткрытой лоджии, успевает подумать, что соседний дом похож на новый Ноев ковчег, в котором воистину всякой твари по паре: стариков, бывших сидельцев, скучных тёток, мечтательных мамаш, упоительных деток, неудачников, пьющих мудрецов, бездельников, жирно живущих за родительский счёт.

Дождь сочится, точно плачет о прошлом могуществе: о! византийская мощь ливня! о! имперская роскошь его оснастки! Тут порфирия — зал с пятибашенным грозным шкафом, где хранятся облачения басилевса, иные из которых убраны камнями так густо, что не гнутся даже; дождь плачет над своей судьбой, оплакивает себя.

Он исчезает, растворяется в воздухе.

Сеть сверкающих каменьев висит в воздухе, и бессчётно алмазов переливается на листве.

Богатство, за которое не надо платить — угрызениями совести, раскаянием, муками одинокого сердца.

Дети выбегают — и счастье прыгать по лужам сверкает чисто, как воздух, вымытый июльской грозою…

ОГОЛЁННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Магниевые вспышки в темноте наполнили небо трепыханием: кто-то с небес фотографировал остатки суток: был одиннадцатый час.

Воздух стал реющим, тонко-прозрачным, и рухнуло сразу, мощно, будто океан опрокинули…

Муж вскочил, бросился на лоджию — закрывать хлобыстающее окно.

Малыш спал.

— Тряпки, тряпки возьми, — скороговоркой роняла жена. — Заливает.

Громыхало яро, сочно, смачно; скрип и грохот доносились из тёмной дыры двора; тополя стонали под бросками новых и новых порывов, как обречённые под пыткой.

Но стихало — вот уже дождик, потом барабанная дробь капель, и — бархат июльской ночи бесшумен, красив.

Утром вид из кухни был ужасен: два старых, могучих тополя были вывернуты с корнями, бессильно и жалко поднятыми в воздух, и живые ещё ветви мочили пышную листву в лужах.

Красавцы тополя лежали на крышах машин: одна была смята, как игрушка, две другие пострадали меньше.

Тополя! Старые, родные! В ярусах грандиозной листвы, амфитеатрами поднимавшейся к небу… Точно оголённый, бесстыдный клок пространства пялился в кухни, гостиные, спальни…

Хозяева машин высыпали часов в восемь.

— Что же, а? вот чёртова стихия, а? — Сокрушался дородный старик в мятых джинсах и белой рубашке…

— Ладно, Анатольич, у меня вообще — кранты. Хорошо застраховать успел. Только купил ведь…

— Моя-то погибла! — заверещал старик…

Народ высыпал.

Патлатый длинный парень, у которого машины вообще не было, суетился между соседей, раздавал указанья, говорил без конца.

— Как сдвигать-то? МЧС что ли вызывать?

— Пилы тащите, — руководил парень.

Знали — живёт один, средства есть, правда непонятно откуда, и любит советовать, руководить. Недавно затеяли ставить вторую железную дверь — так первым вызвался и деньги собирать, и…

— Пилы? Правда, что ль…

— Ну да. Распиливать надо частями.

Старик пропал.

Потом вынырнул из подъезда с початой чекушкой, сел на скамью, выпил прямо из горлышка.

— Хочет кто? нет?

— Да погоди, Анатольич, успеем, так скать, помянуть. Пока разгребать надо.

Пилы появились.

Парень, вооружившись одной, всем давал указанья, махал инструментом, но сам ничего не пилил.

Муж, — тот, что вскакивал ночью закрывать хлобыстающее окно, — писал эсэмэски жене: Виталик всё суетится, руководит пилкой.

Они одноклассники были, знали обстоятельства жизни друг друга, общались иногда.

Он любит руководить, — отвечала жена. — Как малышок?

И муж отвечал, сколько гуляли, что ел.

Во дворе кипело, бурлило, варилась каша общего дела, сдобренная сумятицей и горечью утрат.

Анатольич не принимал участия, сидел на скамейке, пил, медленными глотками орошая рану потери.

Пилили усердно, раздвигали огромные сучья, разгребали листву; дворники появились: убирали спортплощадку, тоже заваленную листьями, что-то двигали, переносили.

Виталик, всё ещё жестикулируя пилой, болтал с одним из пострадавших автовладельцев.

Тот вечно жаловался на бедность, дураков-начальников, безденежье, надоевшую тягомотину… Виталик и сам маялся скукой; заработанные некогда деньги позволяли не суетится в настоящем, а блеснувшие некогда музыкальные способности не сумел развить, и возможность провести несколько часов во дворе, среди людей гасила одиночество, осушала водные массивы скуки.

Пилили…

Таджики-дворники в оранжевых куртках оттаскивали чурки, в которые превращались красавцы-тополя.

Новые соседи подходили, курили, сетовали.

Толстяк уселся на скамью возле площадки, попробовал было сунуться с советами, но ничего не вышло.

Рослый парень, дымящий трубкой — его машина, ночевавшая на другой стороне дома не пострадала — говорил, как стоит снимать стволы с крыш.

А день разгорался, стирая память о ночном шквале, но не отменяя происшедшего; солнце наливалось соком, исходило знойной силой; лужи стягивались, исчезали на глазах…

Часа в два народ разошёлся — есть хотелось; потом опять появились…

И оголённое пространство на месте замечательных тополей гляделось странно, — не привычно, чужеродным куском.

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

Выходил из библиотеки, где была пыль, пачкала руки, но манускрипты светили янтарно; выходил, неся под мышкою пухлый том, в котором суммировал всю современную ему теологию, подвёл ей итог, включив в оный свод всё, что может представлять интерес для скорбного ума, тщащегося познать Господа…

Улица была узкой, дверь библиотеки массивной, и, выйдя, спустившись по ступеням на эту узкую улицу, вздрогнул: мимо промчалось нечто… напоминающее античного кентавра.

Да, но только это очевидно был человек — молодой человек на чём-то ревущем, быстром…

Город изменился —изменился страшно: это больше не был привычный, тихий, склоняющий к размышлениям и молитве город, с домами под черепицей, с возившимися у дверей детьми: это был…

Гигантские дома, играя синеватым стеклом, росли до небес, узкая улица переходила в другую — широкую, где не было крупного камня, но серела река неизвестного твёрдого материала, и по этой реке мчались, обгоняя друг друга, железные повозки, мчались, ревя и шумя, а люди были одеты… — что за странная одежда?

Он, всё ещё несущий под мышкой том, оглядел свою рясу, серыми складками ниспадавшую на неизвестный ему асфальт, поднял голову, и увидел, что группа молодых, пускавших дым изо рта, парней тычет в него пальцами…

Он поспешил — но куда?

На улице стояли столики — под белым навесом; несколько людей сидели за ними, один листал газету.

Он тоже присел — отдышаться, ибо от волненья и неизвестности, он запыхался, как будто бежал.

Девушка подошла к нему, глянула вопросительно, спросила:

— Кофе?

— Что? — не понял он.

— Вам кофе? Или закажете что-то другое?

— Нет, я…

— Он встал, быстро пошёл наугад…

Он оказался на площади — вроде бы знакомой, и вместе совершенно иной.

Он уже догадывался, что произошло невозможное, что…

Петля времени мелькнула перед глазами, отливая стальной синевой, играя малиновыми брызгами — и тогда он пошёл в библиотеку.

Он миновал парк, где на скамейке, — на пустующей скамейке, — оставил свою книгу, он пошёл дальше, зная откуда-то, что там должна быть библиотека — и правда: огни сияли мягко, расплывались, ибо начинало вечереть.

Он зашёл.

Он не знал, какой язык использовать, и обратился на латыни, но молодой работник глянул на него удивлённо, и тогда он сказал просто и вопросительно:

— Фома Аквинский?

— Ах, вам том Аквината?

Он покивал.

И получил толстый собственный том, и стал листать его, сев за столик, стал листать под лампой, понимая через пятое на десятое, ибо язык был знаком смутно, точно пятна смысла проступали сквозь настоящее, которое стало будущим, из какого неизвестно, как и куда бежать; он листал и листал свой том, смутно надеясь, что шуршание страниц унесёт его обратно, вернёт в ту, привычную библиотеку, — в ту реальность, из которой он вышел час назад, суммировав всю современную ему теологию.

— Нам нужен типаж, - досадовал, нервничал и сердился режиссёр. — Типаж! Понимаете? Ищите в библиотеках… не знаю, где ещё… В книгохранилищах. Не в монастырях же! Как иначе мы снимем этот кусок — про Аквинского, вышедшего из библиотеки и оказавшегося в нашем времени?

Они искали.

Искали на площадях и улицах, в магазинах и кафе.

Но всё было не то — и режиссёр нервничал, бормотал нечто злобное, чертыхался…

…когда ворвавшийся на студию помощник заорал:

— Видел! Сидит, читает! Точно — то, что нам надо…

И —помчались в библиотеку; пузатый, маленький режиссёр втискивался в машину, летели, боясь не застать, ибо вечерело, а библиотеки, как известно, не работают ночью.

Но — застали.

Вот он сидит — с бледным, отчасти испуганным лицом, вот он листает толстую книгу.

— Ха, да он и листает том Аквинского!

И — окружили, и затянул режиссёр лилейно:

— Дорогой, уважаемый, не желаете ли сняться в кино? У нас интересный сценарий, представьте себе — Фома Аквинский, суммировав сумму средневековых знаний, вышел из библиотеки, и оказался в нашем времени. И вот он идёт по улицам…

Аквинский глядел на человечка, не очень понимая, о чём он, глядел, сомневаясь, что происходящее позволит ему когда-нибудь вернуться…

Он только понял, что следует улыбнуться — хотя он не любил улыбаться, — а затем встать и идти за этими людьми.

И — пошёл.

Он говорил на странной языковой смеси, и они понимали его с трудом, но понимали всё же.

Он делал вид, что ничего не произошло, он черкнул нечто на листе с массою строчек — никогда не видал таких листов, но он не видел многого, из того, что окружало.

А уже на ступенях суетились люди: устанавливали экран, лампы; шнуры, чернея, тянулись, и зеваки собирались, как бывает всегда, когда снимают кино.

И Аквинский вышел из дверей, держа под мышкою том — просто толстый том, вовсе не свой; он вышел из тяжёлых, массивных дверей старой библиотеки, вовсе не той, где он листал собственный труд, он спустился по ступеням, и мотоциклист пролетел мимо…

— Снято! — раздалось.

— А где он? Где? Сбежал?

Он не сбежал.

Он провёл рукой по лицу, как человек только что проснувшийся.

Он подумал о странных снах, что могут прийти от усталости.

Он знал, что закончил свой труд, возвёл свой собор, который, хоть и не имеет архитектурной оснастки, простоит века, и со спокойным сердцем вышел на улицу, понимая, что ничего неожиданного не ждёт, ибо Господь всегда держит мир в равновесии — вышел, погрузился в свой город, растворился в нём — таком надёжном, современном, средневековом…

НА МОЛОЧНОЙ КУХНЕ

Сквозь ажурные решётки глядеть на пузырящиеся лужи — маленькие купола пузырей вздуваются, плывут легко, лопаются, появляются новые…

Машины во дворе вымыты дождём, и блестят, как праздничные.

Мотоцикл возле решётки — всегда тут стоит…

Раннее июльское утро выглядит вполне по-осеннему, и дождь холодный, не ласковый; а молочная кухня находится в полуподвальном помещении старого дома, и каменный закуток перед нею забран ажурной решёткой.

Один отец в этот час мается в закутке, ловя собственные ассоциации, связывая их в букеты…

Пришёл пятнадцать минут назад, и бодрый парень на раздаче, напоминающий молодого бычка, улыбаясь — скорее нагло, чем виновато — развёл руками: Молочку не привезли.

— Как?

— Сам не понимаю. Впервые такое.

— А связь с теми, кто везут есть?

— У руководства. Звонил уже. Сказали, выехали без десяти пять. Должны быть давно уже.

— Ладно, покурю пока.

Отец вышел в закуток, поднялся по четырём стёртым ступенькам, раскрыл зонт, закурил.

Дождь работал то усерднее, то затихал, точно растратив силу, и обращаясь к водным резервам — о! неисчерпаемы они! —и вновь гудит и кипит водяная работа.

Зонт не спасал, рукава куртки намокли, липли к рукам.

Парень выскочил тоже, задымил, выпуская струи и колечки в ячейки решётки.

Отец глядел на дорогу, на панораму двора, не зная, откуда может появиться машина; спать хотелось…

Жена и малыш были на даче, он не поехал — слишком устал, хотел отлежаться дома.

Дождь штриховал всё, воздух казался тяжёлым, отсыревшим.

Ещё один папашка — кругло-толстый, с пакетами — забежал внутрь, и… выбежал ни с чем…

Уходить пора.

Но отец спустился в помещение кухни, сел на единственный стул.

Показалось — выпадает из реальности: такой знакомой, приевшейся, скучной; выпадает, не зная, что делать — договориться на завтра? Подождать?

Шли какие-то куски времени, пласты сна и яви перемещались в голове, букеты ассоциаций рассыпались.

Сухой блеск алюминиевого стола, между которым и жёлтой стеной помещался единственный стул, мнился навязчивым, ибо ждущий был близорук, глаза болели в последнее время, и картинка мира представлялась не чёткой порой, если не раздражающей.

Парень мелькнул в раздаточном окне — так, бывает карп всплывает на поверхность пруда: чтобы опять уйти в тихую и тёмную глубину.

— Ну что? — спросил отец.

…но с карпом не поговоришь.

— Не знаю, — развёл руками парень. — Может, форс-мажор какой? Первый раз такое.

Три дня назад была ночная гроза — тяжёлая, штормовая, со шквальным ветром, чьи ярые порывы кидали на землю могучие тополя двора, выворачивая их с корнем.

…вчера ходил прогуляться в лесопарк, и, углубляясь в него, был поражён разрушеньями: высокие берёзы, исторгнутые из домашней почвы, лежали друг на друге, и треугольные пласты земли, глинистой и желтоватой, слепо пялились на него, смотревшего. Безжизненные корни торчали, как покалеченные пальцы, упирались в воздух; а ветви мешались, переплетались — как ассоциации в голове.

В одном месте повалило сосну, и толстый, как огромный шланг, корень был перекручен, разорван наполовину, точно связь с землёй, со средой жизни осталась, не прервалась, хотя иллюзия это, понятно.

— Стоит ждать?

Парень снова мелькнул в окне.

— Извините, сам не знаю.

Флёр иллюзий, закрывающий жизнь.

В детстве казалось — всё достижимо, только руку протяни, приложи усилие.

Детство осталось в тебе, или ушло в никуда, прокатилось по сознанью, оставив следы воспоминаний, йоты слёз и восторгов…

Детство прорыто в тебе, как траншея, из которой не выбраться, как ни старайся, хотя на войну не собирался никогда, но оказался на ней — на войне с самим собою, тяжёлой войне, связанной с постоянным преодолением — самости, горестей, тоски.

Отец вздохнул, вставая.

— Телефон у вас есть?

— А вон посмотрите, на стенде.

Ручка была на полочке раздаточного окна, и там же, в пластиковом кармане, торчали бумажки.

Взял одну из них, записал телефон — на тускло блещущем столе.

Возвращая ручку, праздно оглядел нутро раздаточного пункта: коробки громоздятся, холодильник велик, снежно-бел, линолеум истоптан: всё казённое, и какое-то не живое, как в волокитном, бюрократическом заведении.

Дождь разошёлся пуще, и улицы были безлюдными, как и дворы, увязанные в хитрую систему, где неожиданный поворот выводит к линиям бульвара, таким милым в хорошую, солнечную погоду.

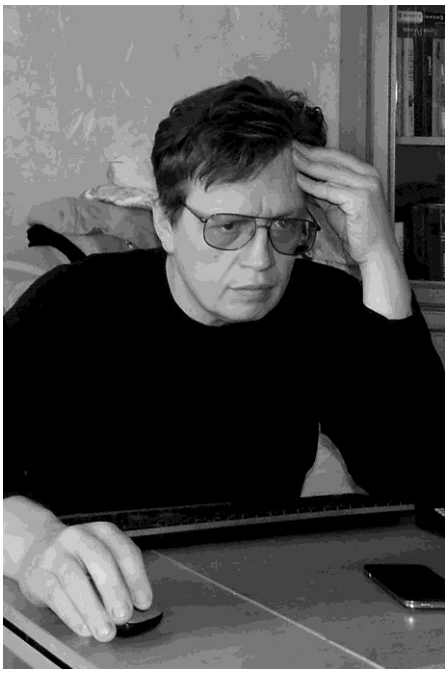
Дождь свинцов, у гаражей лужи — пространные, чёрно-прозрачные, пузырящиеся: не пройти, надо в обход.

Рельеф дворов всюду неровен, дома громоздятся в условном порядке, и деревья, раскачиваясь, сыплют мириадами брызг.

Бульвар переходит в новую связку дворов.

Позвоню часов в десять, думает отец, зевая, уходя в перспективу начинающего дня, столь непохожего на летний, хотя июль зрел, и не ждёшь от него ничего, кроме ласки тепла и солнца.

Андрей Звонков. Имперские амбиции. Повесть-фэнтези (18+)



Андрей Леонидович Звонков родился 3-го апреля 1960 г в Москве. Отец офицер, впоследствии (с 1970 г после окончания МГИМО) — дипломат (работал во Франции); Мать — медсестра. В 1980 году окончил медучилище и до 1991 года работал фельдшером на Московской станции скорой помощи, одновременно учась в мединституте. В 1992 году получил диплом и сертификат врача и анестезиолога-реаниматолога, работал в кардио-реанимации, в службе переливания крови, врачом сборной команды по прыжкам на лыжах с трамплина и проч.

А. Звонков публикуется с 2009 года, когда вышел его роман "Любовью спасены будете" Центрполиграф, М. серия "Бессонница", затем в 2014, -15 и -16 годах вышли одна за другой книги "Анализы и диагнозы" ЭКСМО, затем переоформленная под названием "О чем говорят врачи?", "Пока едет скорая." ЭКСМО 2015, и переиздание "Любовью спасены будете" под названием "Ворожея. Любовью спасены будете" ЭКСМО 2016, также в 2015 в сборнике "Настоящая фантастика" опубликован рассказ "Один взгляд назад", готовится к выпуску в сентябре 2016 сборник "Трава была зеленее" ЭКСМО с рассказом "Потерянный рай", в издательстве АСТ авторский сборник "Без наркоза" с мистической повестью "Мировой судья" и рассказами о врачах и скорой помощи, а в соавторстве с Дмитрием Янковским готовится медицинский детектив "День "Ч"" в издательстве ЭКСМО.

Приглашение к чтению…

И немного пояснений. Повесть «Имперские амбиции» писалась по мотивам ролевой игры на игровом литературном чате «Границы миров». Мир Арринда, в котором происходит действие повести, создавался по законам «AD&D», и более пятидесяти участников игры около четырех лет с 2004-2008 наслаждались приключениями, выдуманными для них вашим покорным слугой — автором мира, его религии, геофизики, географии и истории — и другими мастерами игры.

В результате родились основы сюжетов для серии романов, написанных разными авторами: Юлия Скуркис написала «Роковое наследие и Последняя гастроль»; Татьяна Минасян и Сергей Лукиянов написали «Пьянящая кровь и Исход», а я — первую часть истории о лекарке Атрелле «Дорога на Регалат» и повесть «Имперские амбиции», которую вы и видите. В отличие от многих книг, написанных по играм «Забытые королевства», «Драгонлендс» или серии AD&D — «Драконы и лабиринты», где основа сюжета — игровые модули и кампании, а искушенные читатели замечали «стук игровых кубиков» — наши повести и романы это не игры, а полноценные литературные произведения, объединенные условиями религии, физики и географии Мира, а также его историей, характеры и образы героев результат творчества авторов, а не копия «Листа персонажа».

А.Звонков

Но я, я остаюсь.
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь...
Я остаюсь, чтобы жить!
А. Крупнов

Часть 1. Запасной вариант

Лияра соскользнула по шелковой простыне на пол. Я чуть-чуть приоткрыл веки, наблюдал за ней. Пусть думает, что я сплю. За окнами чуть розовело небо, и в комнате царил мягкий полумрак. Ночная любовь моя подошла к окну и сладко потянулась. Знает она, что я не сплю? Догадывается, чует? Вряд ли. Я старался не менять дыхания. Обнаженное тело ее мерцало в тающем лунном свете. Лияра снова поднялась на цыпочки, вытянув руки вверх, будто перед броском в воду, еще раз потянулась от пяточек до кончиков тонких длинных пальцев. Вьющиеся длинные черные волосы закрыли плечи и спину. Она смотрела на пробуждающийся город, и тускнеющие звезды, и портовые огни. А может, она ни на что не смотрела и стояла перед окном с закрытыми глазами? О чем она думала? О нас? Обо мне? О проведенной ночи? Она, видимо увидала свое отражение в стекле, потому что машинально открыла баночку с губной помадой и кончиком пальца намазала губы. Женщина! Зачем ее и без того ярким губам помада?

Высокая, гибкая, крупные миндалевидные глаза сиреневого цвета — тут уж явно постарались маги-косметологи; брови — будто чуть приподнятые в удивлении, прямой от самых бровей без ложбинок или горбинок узкий нос, не слишком толстые губы, чуть припухшие, как у ребенка, сходящийся к узкому подбородку овал лица. Когда говорит, чуть вытягивает губы вперед, что придает ее и без того молодому личику выражение детскости. Ей где-то между двадцатью двумя и двадцатью пятью. Но опыт?! Хотя чему я удивляюсь — постельный опыт набирается легко. Шлюха? Неет... она не похожа на шлюху... Впрочем, вчера, когда я увидал ее в кабаке "Шхера", об этом не думал.

Я невольно усмехнулся, и Лияра, видимо, почуяла мое состояние — обернулась, нагибаясь через край кровати. Глаза ее жадно изучали мое лицо, руки упирались в постель, я зажмурился, вся она манящая, страстная... аромат духов, сохранившийся после бурной ночи, смешивался с тонким запахом ее тела, пробуждая воспоминания и возбуждая. Меня предал... я сам!

Красавица перевела взгляд на возросший посреди шелковой глади холм и рассмеялась:

— Ты не спишь! Коварный!

— С тобой поспишь... — хрипло проговорил я, ибо ни пересохший внезапно язык, ни губы толком не слушались, и каждый звук, проходя через горло, драл его словно щеткой. — Дай попить... что-то пересохло во рту.

Лияра подняла кувшин с остатками кислого сока ягод клю.

— Так отхлебнешь или в бокал налить? — говорила она с еле заметным акцентом, характерным для северного Рипена.

— Так... мне только горло прополоскать, а впрочем, нет — налей... — и она налила полбокала кислого рубинового сока.

Я левой рукой принял бокал и, пока пил, обнял обнаженную красавицу за талию и привлек к себе. Тело ее отозвалось дрожью под ладонью. Пустой

бокал покатился по простыне, оставив еле заметную дорожку "кровавых" капель. Лияра дрыгнула ногами, легко и удивительно грациозно проскользнула обратно под шелк покрывала, усаживаясь сверху, при этом руки гладили ночную щетину на моих щеках, губы нежно прикасались к губам, бедра обнимали мои бока, а заветная, соблазнительная попка самостоятельно решала отношения со старым другом, то приподнимаясь, то двигаясь из стороны в сторону. Страсть ударила в голову, я ничего не соображал... да и как? Если вся кровь от головы утекла вниз, туда, где вершилось важнейшее дело... и обескровленный мозг уже не был способен что-либо обдумывать, он наслаждался... В глубине сознания засела мысль: как бы ее удержать на несколько дней, а лучше недель? Встретиться сегодня вечером опять? Кто она?.. И сам себе я наступал на горло: я ее больше никогда не увижу. Это наш первый и последний случай любви. И это не каприз зажравшегося любителя женщин, это принцип безопасности.

Я уже не помнил, как все то же самое было несколько часов назад, но сейчас — бесподобно. Мои руки лихорадочно носились по ее коже, скользя, словно по шелку. Я не мог говорить, только рычал, и она рычала вместе со мной, и дикое пламя разгоралось, норовя спалить обоих, оно залило нас одновременно. Лияра оттолкнулась от моих плеч кончиками пальцев, качнула бедрами, содрогнулась всем телом в эротическом экстазе, и бешеная сила из меня рванулась наружу жидким пламенем. Несколько мгновений распаленная красавица сидела, замерев, ощущая происшедшее... и в изнеможении легла мне на грудь, по-кошачьи свернув руки, под себя. Густые черные волосы накрыли мое лицо и защекотали кончик носа, я чихнул прямо в розовое ушко. Лияра со стоном скатилась на простыню, положила головку мне на плечо и, подобравшись губами к уху, прошептала:

— Ты бесподобный любовник, король, но ты уже мертвец.

Как удивительно, она сказала то слово, что родилось в моем одурманенном страстью мозгу — "бесподобно".

Ее слова не сразу обожгли мозг, уничтожая блаженное чувство.

Она — убийца?! Наемница...

Да что она говорит? Видимо, по сбившемуся моему дыханию она подумала, что ей удалось напугать меня. Надо признаться, ей это действительно удалось. Я не боюсь смерти, но что-то внутри меня ее боится, как и внутри каждого человека. Каким бы он ни был: обычным, низкорослым и коренастым обитателем пещер — фардвом, трехметровым длиннолицым гендером или, как я — эленсаром (1).

— Умереть от любви — это ли не высшее наслаждение? — я постарался все свести к шутке. Солнце уже заливало комнату. Это не королевские покои. Я не настолько глуп, чтоб снимать шлюх и раскрывать себя.

— На моих губах был яд, дорогой, — сказала Лияра, слезая с кровати и собирая раскиданные по комнате детали туалета. — Я отравила тебя. Еще вчера, и сегодня... ты слизал с моих губ столько яда, что в другой ситуации хватило бы, чтобы убить весь этот город.

Она принялась одеваться, пока я тупо смотрел на нее. Я изучал ее лицо. Пытался заметить хоть чуточку фальши или притворства, или скверной актерской игры. Она была естественна, как и с той минуты, когда мы зашли в этот номер.

В чертах лица Лияры проступило отстраненное, холодно-формальное выражение. Будто галочку поставила в списке выполненных дел. Словно не она только что стонала и извивалась от страсти... а между нами уже вырастала невидимая стена. Она там, а я тут... это не было ненавистью, скорее безразличием.

— Глупость, — сказал я. — Во-первых, с чего ты взяла, что я король? А во-вторых, я ничего не чувствую... Ты лжешь! Зачем? А если нет — ведь ты умрешь тоже! Зачем? — повторил я и, удивленный ее спокойствием, тоже принялся одеваться. Мне не удалось сыграть так же естественно, как ей. Я врал. И опять что-то внутри меня подмешало страха и фальши в голос.

Лияра взяла с туалетного столика миниатюрную коробочку с губной помадой и кинула мне на постель. Как раз на пятно от сока, образовавшего символ из трех палочек, соединенных посередине четвертой — древний символ ритуального жертвоприношения. Я тупо смотрел на случайную картинку. "В этом мире случайностей нет, и каждый шаг оставляет след..." — всплыли в памяти слова старинной песенки...

— Отдай своим алхимикам. Это медленный яд. Специально для тебя. — Она одевалась. — Ты умрешь через сорок восемь часов. И я тоже умру, но немного раньше. Противоядия нет, любимый, — она улыбнулась, но "любимый" прозвучало презрительно. — Я не должна была тебе этого говорить, но... — она затянула поясок на платье, уложила бюст так, чтоб оставалась соблазнительная ложбинка, и сказала: — Но ты был бесподобен... подарил мне такую ночь, что я решила по-своему расплатиться — дать тебе двое суток на подведение итогов. И, честно говоря, мне сейчас приятно видеть, как тебе страшно.

Она достала из сумочки еще одну коробочку. Я молчал и смотрел только на ее губы и глаза. Она не лгала... и хотя страх мне удалось загнать глубоко, но ее равнодушная ненависть после страстной ночи любви вызвала какую-то детскую обиду, что прихлынула к сердцу. За что? Как же можно так? Изнемогать от страсти, вожделения, возбуждения и любви — и знать при этом, что убиваешь. Что умрешь. Однако я верил каждому ее слову. Просто меня всегда поражала способность некоторых людей — или людей вообще — лицедействовать, совмещать в себе разные натуры. Я так не мог. Именно поэтому всегда с опаской относился к закрытым людям — женщинам. Меня тянуло к ним всегда и отвращала способность говорить одно, думать другое, а делать — третье. Может быть, потому, что я эленсар? Говорят, мы близки гендерам — а они вообще не способны лгать.

Я внимательно смотрел на Лияру. Она не просто наемница, тут что-то личное... Нет, не верю! Это не могло быть заказанным убийством. Зачем она сказала? Я не снимал с себя тяжести грехов, что совершил за бурную молодость и мое правление островной империей Эленсааров, но все-таки, что я лично ей сделал? Догадки не было. Я вдруг увидел, что эта молодая женщина готова умереть. Все ее действия, уборка — приготовления к смерти. Она боится и подавляет страх действиями. И я спросил:

— Кто тебя нанял?

— Никто... хотя, впрочем, пожалуй, нанял, но ты ее не знаешь, — ответила Лияра. Она спокойно и методично двигалась по номеру, собирая вещи, как-то буднично, размеренно. Наконец, после недолгой паузы, за которую успела сложить скомканное покрывало и аккуратно устроить его на пуфике, так же аккуратно свернуть свой плащ, расставить грязную посуду с остатками ужина на столике у двери, она сказала:

— Точнее, не помнишь. Моя мать, — она произнесла это с оттенком теплой формальности, как говорят о давно умершем родственнике. — Да упокоится с миром ее обиженная душа. Я выполнила ее завещание, — и радостно объявила: — Жертва Безутешной (2) принесена!

Произнеся заученную ритуальную фразу, Лияра улыбнулась, достала черный шарик из коробочки...

Я прыгнул к ней, стараясь выбить смерть из ее рук... но она оказалась проворнее, кинула в рот, надкусила и, закатив глаза, медленно упала к моим ногам. Короткие конвульсии, последний выдох... и все. Я, голый, стою и тупо смотрю на тело Лияры.

"Знаю, но не помню", — разум отказывался верить ее словам. Двое суток? Впрочем, всякое в мире бывает. И мне многое довелось пережить. Не всегда я был императором. Владетелем двух тысяч островов в Южном океане — хозяином морей.

Почти шестьдесят лет назад отец отправил меня учиться на материк, в лучшую военную академию Рамбата — тогда еще это была Республика Рипен. Его отговаривали. Сыну императора учиться у республиканцев? Да он наберется там греховных учений о равноправии, может разрушить многовековую кастовую (3) систему Империи...

Я подобрал с постели коробочку с помадой, содержащей якобы долгий яд, обул сапоги, поглядел на себя в зеркало: обычный офицер, морской. Даже на капитана не похож. Так, средний офицерский состав какого-нибудь рейдера. Загорелая кожа лица, правда, не обветрена, как у настоящих моряков, зато шрамов имеет достаточно: один на левой щеке, от уха до подбородка, второй над левой бровью к виску — от удара кинжала. А одежда? Дорогая, но не редкая. Коричневая кожа отличной выделки, пошита на заказ, это видно, что не из портовой мастерской, где продается форма для моряков. Штаны, куртка, сапоги... под курткой обычная льняная рубаха, какую носят морские офицеры и шкипера торговых судов. На мне нет никаких знаков различия. Рост большой? Мало ли высоких мужчин? Символ власти — золотую цепь с гербом Империи — я оставил во дворце, как и всегда, когда выхожу в город без охраны.

Как короля меня знают совсем другим. Всякий раз для официальных церемоний перед выходом к народу маги ретушируют мое лицо, маскируя шрамы, добавляя благородства и выразительности.

Во дворце живет двойник, который периодически появляется на балконе и машет рукой подданным. Это его работа — быть мной, когда меня нет. Возможно ли узнать во мне короля? Как она вычислила, что я король? А если точно это знала, то откуда ей было известно, где я сегодня буду?

Я поднял труп и перенес на кровать. Голова Лияры запрокинулась и с губ потекла розовая пена. Это удержало меня от прощального поцелуя. Я запер двери комнаты на ключ и отправился домой.

Охрана, ночевавшая в харчевне при отеле, заметила, как я вышел, и, не подавая виду, пристроилась в кильватер, пока я, вроде как озабоченный службой моряк, ранним утром шел по своим делам. В этой части город еще спал. Мы вышли из квартала, поднимаясь извилистыми улочками все выше и выше, добрались до стены замкового парка, и пока охрана прикрывала меня от любопытных глаз, я нажал тайный рычаг в каменной кладке — отодвинулась часть стены.

Я шагнул в прохладную сырость перехода. Охрана же осталась там, на улице. Теперь им возвращаться во дворец обычным путем.

Чем дальше уходил я от отеля, тем призрачнее становились события ночи, но тем ярче — последние минуты и мертвая Лияра, лежавшая на кровати... Я не верил ей. Не хотел верить. Да, она отравилась... это аргумент. Зачем? Чтоб доказать мне истинность своих слов? Чтоб скрыть имя истинного заказчика? Значит, есть что-то, что она хотела сохранить в тайне. Что? Впрочем, все это уже не важно. Она не должна была умереть... я не

хотел этого. Не для допроса. Все мне было и без допроса ясно. Пусть не в деталях, детали я найду — для жизни. Я чувствовал какую-то неуловимую тонкую связь с этой женщиной. Не только постельную. Связь, истинную сущность которой я никак не мог определить.

В кромешной темноте, в тишине вязли шаги. Смерть красавицы потрясла меня. Все бессмысленно. Дико. На ней не было татуировок и знаков клана убийц. Значит — все-таки личная месть... она подтвердила это. Много желающих? Не сосчитать. Со свода капало, текло по лицу, но я не замечал. В мире тысячи, может быть, сотни тысяч желают моей немедленной смерти. Меня боятся. И есть за что.

Я толкнулся руками в запертую дверь, нащупал рычажки, и она отворилась, пропуская в библиотеку замка. Задвинув стеллаж с книгами, я остановился и осмотрелся, приводя мысли в порядок.

У меня двое суток, из которых шесть часов я предавался любовным утехам. Сорок два часа. Лияра не лжет.

Что-то случилось со мной. Дыхание сбилось, в груди заломило, к горлу подкатил жгучий ком, и я опустился на колени, по лицу потекли слезы. Шок, в котором я пребывал с момента смерти девушки, нашел выход. Ну хорошо, она убила меня. Это должно было случиться, но зачем ей-то умирать? Глупо, обидно... какое-то дешевое позерство. Обида сменилась гневом. Ей хотелось произвести впечатление? Это ей удалось. Гнев не остановил моих слез, но придал им жгучести.

Король плачет. О чем, о ком? Официально она убийца. Нет! Назад дороги нет... Теперь только вперед, и очень быстро...

Король не имеет права на слабость... он — власть, он — сила, он — символ государства.

Он — связь между своим народом и Богами.

Но я — человек.

Да, я эленсар, но я еще живой человек. И ничто человеческое мне не чуждо. И каким бы холодным ни был мой разум — в сердце моем живут нормальные человеческие чувства. Я никогда не относил себя к поклонникам Безутешной Нэре, но меня всегда радовал Лит — золотое светило!

А смерть — она всегда смерть: страшная, гнусная, обидная. Она никогда не была и не будет красивой. Я повидал смерть...

Я плачу второй раз в жизни, в моей взрослой жизни. Детские слезы не в счет. В тот раз я готов был убить себя, меня удержали... в этот раз меня убивают, а я плачу о смерти женщины, с которой провел ночь...

Я целовал ее, незнакомую, обольстительную, распуская ремешки и шнурочки на платье, покрывал поцелуями каждый дюйм ее обнажающегося тела, мои руки горели... сердце рвалось из груди... она запрокидывала голову, откидывая волосы от шеи, позволяя целовать ее, и звонко смеялась. Я добрался до груди и обезумел... небесная красота, божественное тело...

— Как зовут тебя? — спросил я, когда мы устали и взяли небольшую передышку в первый раз.

— Зачем тебе мое имя? Блуд — не повод для знакомства, я же не спрашиваю твое... — ответила она, смеясь и сдувая прилипшие волосы со лба. — Разве тебе мало меня?

Она права.

— И все-таки я хочу знать твое имя, — настоял я. И она, притягивая меня к себе, прошептала:

— Лияра!

Глаза мои высохли. Я поднялся. Зачем я ходил в порт? Найти себе девку на ночь. Нашел. Лияру. Уже слышу голос Рэдрика:

— Не королевское это дело — по кабакам шлюх собирать!

Что я ему скажу, что я всем скажу? У меня сорок два, нет, уже сорок часов... Я должен успеть.

Она действительно отравила меня. Не верить — бессмысленно. Главное, как она меня нашла? И еще важнее — кто ей помогал?

Настоящий враг где-то рядом. Ну, ладно, я обидел мать Лияры. Так смертельно обидел — что иного способа отомстить мне, кроме как завещать дочери убить меня, она не нашла? Вполне резонно. Более чем резонно. Но подобраться ко мне можно, только если знать меня очень хорошо. Знать мою натуру. А это уже не так просто. Или ее мать когда-то была со мной так же близка, как Лияра, или она — игрушка в чьих-то более опытных руках. Второе — вероятнее всего.

Я подошел к шнуру звонка, подергал. Мгновенно явился коридорный лакей:

— Слушаю, Ваше Величество!

Я протянул ему коробочку с помадой:

— Отнеси это алхимикам. Пускай выяснят, что там еще. И передай Рэдрику, что я у себя. Он мне нужен срочно!

Лакей поклонился, забрал коробочку и исчез. Я осмотрел полки с книгами. Зачем? Действие скорее автоматическое, но сегодня я смотрел на старых друзей, которые никогда меня не предадут. Наверное, сегодня я их вижу последний раз. Семейная библиотека Эленсааров. Миллионы томов. Древнейшие книги. Кому теперь вся эта мудрость достанется? Я должен решить, кому. Впрочем, я уже решил. Еще двадцать лет назад.

Я дошел до своего кабинета, молча ответил на приветствие караула у покоев. Король отдал честь офицерам охраны. Что ж, я сам — офицер. Главнокомандующий моей армией. Я не смотрел на их лица. Последний парад? Рано еще открывать кингстоны. Рано.

На стене табло. Я давно велел моим магам его изготовить. И те постарались. Обратный календарь Хуора Эленсаара. На полированном камне светится число 45 074 — дни. Сто двадцать три года, восемь месяцев и десять дней. Вот сколько мне еще жить. Таков наш удел. Жить двести лет и умирать молодыми, полностью истощив ресурсы организма.

Я еще не стар. Совсем не стар. Мне всего лишь семьдесят семь лет, а выгляжу я на тридцать. И до самой смерти мой организм замер на возрасте тридцать лет. Теперь моя жизнь укоротилась на сто двадцать три года, восемь месяцев и восемь дней. Смотрю на табло. Оно не знает. Мертвый, зачарованный на обратный отсчет камень... напоминание.

Я подошел к окну и раздвинул гардины. Солнце уже поднялось над морем. Шум прибоя не доносится до замка, а звуки города и порта остались по другую сторону. Ветер залетел в распахнутое окно и пошевелил волосы. Сквозняк. Я обернулся. В кабинет вошел Рэдрик. Мой старый добрый друг. Слово "старый" не годится для пятидесятилетнего мужчины. Он по-своему молод, но он не эленсар. Он не знает срока своей смерти.

Когда-то, тысячи лет назад, наша семья пришла на эти острова. Откуда? Предки стерли эти данные из архивов и накрепко запечатали за собой дверь (4)... Как потом выяснилось — не так уж крепко, если юная волшебница, ученица, случайно сумела их распечатать. Дожил ли кто-нибудь до срока? Большинство. Болезни редки среди нас. Отец. Да. Отец умер, как и было рассчитано. В двухсотый день своего рождения. Час в час. Брат? Если бы не брат... не был бы я королем... во всяком случае, не сейчас. Брат был старше

меня на восемьдесят пять лет. Первенец. Отец еще не был королем, когда он родился. И уже был — когда родился я. От его последней жены. Между мной и братом была и есть наша сестра — любимая Анита-Амра. Где она? Отец ее выдал замуж за герцога Лиды. Но она — эленсарка, хотя и женщина. А они менее устойчивы к болезням и более эмоциональны. Они тоже не стареют, да и ростом не обижены, а в остальном — обычная женщина, умнее остальных, конечно, но не умнее мужчин нашего рода.

По закону я могу передать трон ее сыну-эленсару, а ее назначить регентшей до его совершеннолетия. Правда, на это нужно согласие его отца — престарелого герцога.

А самое главное, мой преемник должен быть коронован еще до моей смерти. А вот это — при условии, что я действительно отравлен — нереально. Таков существующий расклад. Так думают во всем мире. И не знают о сюрпризе, что приготовлен мной.

Нужно обязательно послать официальное приглашение сестре, даже если оно запоздает.

Рэдрик кашлянул.

— Что с тобой, мой король? Ты на себя не похож.

Я вздрогнул. Задумчивость не к лицу императору-эленсару. Да, Анита — это хорошее решение, пусть в мире думают, что я паникую... Нужно немедленно отправить корабль. Корабль.... это трое суток до Хабига — ближайшего порта Лиды, сутки, как минимум, ей понадобятся на сборы и еще двое суток — на обратный путь, итого почти неделя... Я уже буду официально мертв и погребен. Она не успеет даже на церемонию похорон. Я повернулся к Рэдрику.

— Что? — осознание вопроса пришло чуть позже. — Да так... Задумался.

Не умею я и не хочу врать. А Рэдрик слишком хороший друг, чтобы его обманывать.

— Вот что, — я положил на стол ключ из отеля, — сделай так. В номере, что снял капитан Ленкорт, ты найдешь на постели труп девушки — нужно без лишнего шума и звона доставить его лекарям, так, чтоб никто не видел. Я хочу знать о ней все.

Рэдрик изменился в лице:

— Тебя пытались убить? — он мучительно скривился. — А я предупреждал тебя! Ну, почему ты никогда меня не слушаешь?

— Хватит скулить, Рэд, — я ненамеренно сказал это слишком жестко, — сделай, как я сказал. Я должен до обеда знать о ней все. Кто она, откуда, как попала на остров, с кем встречалась? Ее имя... — я запнулся, — да, узнай ее полное имя. — Раздражение, видимо, проскочило в моих словах. — Ты же знаешь, что я никогда не ошибаюсь... почти никогда.

Рэдрик стал смирно:

— Что еще прикажете, Ваше Величество? — ну вот, обиделся.

— Ну, не надо, — я обнял друга, — не надо. У меня сегодня трудный день. Она действительно хотела меня убить. Не она первая, не она последняя... Думаешь, Вольная наемница? Она не похожа на убийцу. Не профессионал.

— Может, объяснишь мне, что произошло? Ты ее убил?

Я покачал головой:

— Нет, она убила себя сама — отравилась.

— Нормальное дело, — кивнул Рэдрик, — обычная практика, чтоб не выдать заказчика.

— Она сказала, кто заказчик, — произнес я тусклым голосом. Разговор о Лияре всколыхнул воспоминания ночи и ее смерть.

— Да ну? И кто же?

— Ее мать.

Рэдрик удивленно выкатил нижнюю губу, задрал брови до макушки:

— А кто ее мать?

Тут я развел руками:

— Ума не приложу, но меня она знает. Знала.

— Ладно, я пошел выполнять. За обедом обсудим, — сказал дружище Рэдрик, отходя к двери, — время есть. Тебе, наверное, стоит отдохнуть, поспи.

За ним закрылась дверь. А я усмехнулся. "Поспи"... поспишь тут.

Рэд вышел, а я, повинуясь порыву внезапно нахлынувшего бешенства, сорвал со стены камень с цифрами и запустил в открытое окно. Мне не стало легче. Нужно работать. Правда это или нет, теперь нужно работать как никогда! Так, будто все это правда.

* * *

Курьера с письмом Аните я отправил сразу, как только ушел Рэдрик. Я заканчивал составлять план реформ, когда вошел дежурный и доложил:

— К вам магистр Фигула, Ваше Величество.

Время — девять утра. Быстро он. Молодец.

— Пропусти!

Фигула Старгер — глава алхимиков Империи. Ровесник Рэдрика. Выбрит до блеска, или зельем каким мажет макушку, чтоб волосы выпадали и не росли. Фигула пришел в белом рабочем балахоне, в руках держал лист, на лице глубокая задумчивость. Я не вытерпел:

— Ну, говори! Что там?

Нет, он все-таки подошел к столу и протянул лист. Я пробежал глазами: ореховое масло... пигмент улитки тыр-быр-фыр... экстракт коры дерева хрен-поймешь... вытяжка из корневища... Состав не содержит токсичных веществ.

Что это значит? Лияра все-таки лгала? Пугала меня? А чего хотела? Отравиться у меня на глазах? Нет, помада... ее убежденность... Тот, кто ее навел на меня и дал помаду, решил пошутить? Но есть признаки отравления, я чувствую. Я знаю. Но мне нужно официальное заключение об отравлении.

— Это что, шутка?

— Никак нет, Ваше Величество, это обычная губная помада. Довольно дорогая, судя по ингредиентам. На рынке в порту такая коробочка стоит примерно одну золотую монету — лит.

— Ого!

— А что вы ожидали в ней обнаружить?

— Мне сказали, что там медленный яд.

Белесые брови на лице алхимика полезли к затылку. Он пискнул, а я спросил:

— Неужели ничего нет?

Фигула промокнул платком лысину:

— Ваше Величество, мы ничего не нашли. А вы знаете, нет такого яда, чтоб его невозможно было обнаружить. Хоть следы, хоть что...

— Покажите баночку магам.

На лице алхимика промелькнула гримаска.

— Не надо! Не надо гримасничать, Фигула! Мне ваши симпатии-антипатии до звезд! — я стукнул кулаком по столу. — Сейчас вам доставят

труп девушки. Я хочу, чтоб вы с магами... — я повторил: — С магами!.. ее исследовали досконально и доложили мне! Бросьте все силы на это дело. Даю час на выяснение!

Фигула с поклоном удалился. Снова вошел дежурный офицер:

— Ваше Величество ждут в зале.

Ах... забыл! Тренировка, два часа. А зачем она мне теперь? Отменить? Нет. Никто ничего еще не должен знать. Нет бедствия страшнее, чем паника. Лияра действительно сделала мне королевский по щедрости подарок.

Тренировка закончилась через полчаса.

— Ваше Величество сегодня бились хуже, чем вчера, — тренер говорил, чуть опустив глаза, и вся фигура его выражала уважение. — Я слышал, вы провели бессонную ночь?

Вот трепачи! Все трепачи! Ну да... да.... я... что я? Я ходил сегодня в порт, как и в другие дни. "Сволочи, все сволочи и болтуны!" — гнев нахлынул и так же быстро растворился. Что мне теперь? Эти люди мне как родные. Они меня любят — я им верю.

— Раньше ты не упрекал меня за это, — я судорожно ловил ниточку памяти, — полковник Барреда.

— Раньше Ваше Величество не показывали столь скверных результатов на тренировке, — тренер меня огорчил, а я никак не мог восстановить дыхание.

— Совсем плохо?

Он поклонился:

— Раньше вы меня не подпускали так близко. Вы устали?

— Да... что-то мне неважно, Барреда.

— Давайте отложим до завтра?

— Пожалуй, так будет правильно.

Я отдал мечи подбежавшим ассистентам и на ватных ногах направился в бассейн.

Проходя мимо зеркала в раздевалке, увидал поседевшего мужчину... Рэдрика? Нет, не его... Там был я, только выглядел, как Рэд... на все пятьдесят. Вот оно, действие яда!

Я разделся и прыгнул в бассейн. Вода приняла меня, выбросила на поверхность. В несколько гребков я выплыл на середину и лег на воду, глядя на прозрачные квадраты купола и бирюзовое небо. Она не лгала. Отрава в помаде есть и работает. Что-то мне скажут маги и алхимики? Что бы ни сказали — я уже все знаю.

В бассейне появился Рэдрик, присел на бортик:

— Король!

Я, не переворачиваясь, на спине поплыл к нему:

— Рассказывай.

— Девушка лежала, как ты и сказал. Мы упаковали ее в мешок для грязного белья и на тележке прачки вывезли из отеля, потом погрузили на повозку...

— Может быть, ты мне каждый камень на мостовой, попавший под ваши колеса, пересчитаешь? Короче! Кто она? — мне все тяжелее было скрывать напряжение и раздражение.

Рэдрик замолчал, видимо, перематывая в памяти приготовленное повествование до того момента, когда нужно было рассказывать о Лияре:

— Ее зовут... звали... Лиярвениза Аль Фахрадина,.. — он заглянул в карточку регистрации в порту, — Саланго, Ар Сияддин — это ученое звание.

— Она агхазидка? — смутная догадка забрезжила на краешке сознания.

— По рождению да, асахи, асахайка. По вероисповеданию — нэреитка. А по гражданству, — он снова поглядел в карточку, — Республика Рамбат. Цель прибытия на Саармэ — наука.

Я перевернулся в воде и уцепился за край бассейна.

— Какая наука? Любви? Так она — профессор!

— Нет, мой король, она энтомолог — изучает бабочек, насекомых... Она действительно профессор. Ты ведь бывал в Рамбате? Я слышал, ты учился там в молодости. Знаешь университет в Вализе?

— Да кто его не знает? Я ж жил там, когда Рамбат еще был Рипеном. Военная академия там же — в Вализе была. Потом, после моего выпуска, ее перевели в Ивинсол, близ Продубина.

— Верно... Вот она — профессор этого самого университета... — Рэдрик поглядел снова в карточку и запнулся: — Ты знаешь, сколько ей лет?

— Двадцать — двадцать пять... — выдал я свое предположение, уже зная его абсурдность.

— Сорок четыре.

Я погрузился с головой... вот так да!.. И вынырнул:

— Сильна стала магия лекарей! Омолаживают — наверное, кровь чистят?

Рэдрик усмехнулся, ничего не сказал на мою шутку.

— Труп я передал Фигуле, они уже копаются в кишочках...

— Замолчи!

— Молчу.

Я задумался над сказанным. Вылез из воды, вытерся и принялся надевать приготовленную чистую одежду — льняную рубаху и штаны. Что мне сказать Рэдрику? Само собой, я должен ему рассказать об отравлении, но не сейчас. Он молча наблюдал за мной.

— Ты неважно выглядишь, Хуор, — сказал наконец. — Безумные ночи любви должны заряжать энергией и молодостью, а ты словно постарел. Я ж говорю — тебе нужно выспаться.

— На том свете высплюсь, — пошутил я... и, только произнеся фразу, ощутил, насколько истинен ее мрачный смысл.

Я поманил Рэда за собой и вернулся в кабинет, где уже не отсчитывались дни, оставшейся моей жизни. Мой друг, кажется, не заметил пропажи.

У дверей караульный офицер протянул мне пенал с письмом:

— Корреспонденция, Ваше Величество.

Я взял письмо, осмотрел цилиндр. Кроме надписи "Королю Хуору Эленсаару — лично", ничего.

— Кто принес?

— Ваш секретарь.

— Позови!

С письмом в руках я прошел к себе. Рэдрик следовал за мной, заглядывая за плечо и изучая его издали.

Я не спешил раскрыть цилиндр, осмотрел его и обнаружил печать отеля. Значит, письмо пришло не почтой.

Вошел секретарь, парень лет двадцати. Выпускник Сааремского университета. Когда его направили ко мне, как мне доложили из ректората — парень сильно расстроился. Ничего. Мне лучше видно, что ему нужно. Гениев в экономике и так хватает. Этот нужен мне.

— Кто доставил письмо?

— Рассыльный гостиницы "Фьорд", Ваше Величество, — секретарь побледнел. Он всегда бледнеет, когда я к нему обращаюсь, от этого огненная шевелюра его становится просто пламенеющей.

— Диппочту отправили? — спросил я, чтоб сменить тему. Мог бы и не спрашивать. Мое письмо Аните, напоминание, уже доставили. Регулярная армия герцогства должна сосредоточиться у границы Ханута — южной провинции Рамбата. А флот — через сутки подойти к проливу Орнеды и перекрыть морской путь между Западным океаном и Восточным.

— Так точно! Переброска почты прошла успешно.

Спасибо покойному брату Эрику.

Я взял лист из пачки на столе и написал распоряжение для Фогта Саббата, начальника тайной полиции. Сложив пополам, протянул секретарю:

— Передашь, кому указано, немедленно и лично. Можешь идти, я позову, когда будешь нужен, — секретарь взял листок, поклонился и ушел.

Я уселся за стол у окна, так, чтобы свет шел слева, пригласил Рэдрика занять место напротив. Осторожно вскрыл цилиндр с письмом, вытряхнул скрученные листки, оболочку отдал Рэдрику — изучать, а листки расправил и придавил гранитным пресс-папье.

— Видимо, "Фьорд" — это где она остановилась.

Рэд кивнул:

— Да, так указано в карточке порта.

— Когда она прибыла на остров?

— Вчера утром, на Лидийском транспорте "Хариб". Документы, видимо, были в порядке, ее сразу пропустили в город.

Я, не читая еще послания, внимательно поглядел на Рэдрика:

— Выходит, дамочка — лихая баба... была уверена, что именно вчера встретит меня?

— Не факт...

— Ты веришь, что наша встреча была случайной?

— Ни на минутку... очевидно, что все спланировано, только вот с отравлением у нее ничего не вышло, оттого она и покончила с собой. Я так думаю.

Я промолчал, потом предположил:

— Думаю, ее кто-то встречал. "Фьорд" и кабак "Шхера" — на разных концах острова.

— В смысле?

— В прямом. У нее есть информатор на острове. Тот, кто встретил ее, и тот, кто точно знал, что я вечером выйду в город.

Теперь Рэдрик уставился на меня:

— Хочешь сказать, что в замке есть предатель?

— Это очевидно. Как она смогла узнать меня? Откуда она вообще знала, что я пойду снимать проститутку именно в этот кабак? Поселилась-то она на другом конце города и острова.

Рэдрик пожал плечами:

— Очень притянуто, действительно. Не нужно быть эленсаром, Хуор, чтобы понять это. Если предположить, что ее встречали и встречающий знал, что ты пойдешь в город вечером, то почему ее не поселили именно там же?

— Значит, встречавший не знал, куда я пойду. С другой стороны, он так отводит от себя подозрения. Я на его месте, даже если б знал, не стал бы селить в "Шхеру" — может, поблизости... Вот что, Рэд, составь список всех, кто был в курсе моей вчерашней прогулки.

Я поглядел на часы. Десять утра. Еще четыре часа жизни улетело. Я поднял распрямившиеся листки.

"Хуор! Если ты читаешь это письмо, значит, я уже мертва, а ты скоро умрешь следом за мной. План моей матери удался. Ты, конечно, забыл о ней. Зачем королю помнить о всяких "букашках"? О девках, которые нужны ему лишь для одного — постельной радости? Понятное дело, ты — эленсар, знающий срок своей смерти. Биологической смерти. Кто моя мать? Одна из 123 выживших в бойне, которую ты устроил пятьдесят пять лет назад во время Асахайской войны. Она поклялась отомстить тебе за все 12 000 смертей, за кровь этих детей на твоих руках. Однажды она уже попыталась это сделать, но неудачно, оставив лишь шрам на твоем лбу. Она очень хорошо описала тебя, палач Хуор. За полвека ты нисколько не изменился, и мне не составило труда опознать. Привычки твои тоже не изменились. Ты все так же вечерами бродишь по кабакам в поисках развлечений. Найти майора Эленкорта, как тебя называли в Рипене, или инженера Елессаара, как тебя стали называть в Лиде, где ты строил плотину на Пронге... уж тем более императора Хуора Первого Эленсаара — было нелегко. Но я нашла. Нашла и отомстила.

Ты, конечно, уже отдал помаду для изучения алхимикам, и те лихорадочно ищут противоядие. Напрасный труд. Этот яд сделан специально для Эленсааров — для таких, как ты. И теперь ты стареешь, только очень быстро... завтра к вечеру ты превратишься в трухлявый пень, в импотента, и сдохнешь. Твои лекари, вероятно, глумятся над моим трупом... мне все равно. Я уже с мамой, в царстве Безутешной Нэре, и мы обе счастливы, что ты не доживешь до своего двухсотлетия, что ты не свершишь громадье своих планов — и, главное, ты умрешь, не оставив наследника! Будь ты проклят! Мы отомстили!

Лиярвениза аль Фахрадина — дочь асахайского народа.

P.S. Да! Одну коробочку этой помады я от твоего имени отправила твоей сестре герцогине Лидийской — Аните-Амра. Путь тебя перед смертью обжигает мысль, что она тоже не доживет до своего двухсотлетия!".

Я положил письмо на стол. Я все вспомнил. Рэдрик, увидав мое лицо, протянул руку за письмом:

— Можно?

— Читай, — я отдал листки.

Рэдрик принял письмо, читал несколько минут, а я уставился слепыми от внезапно набежавших слез глазами в окно... Память моя... идеальная память. Хотел бы забыть — да не забудется.

Пятьдесят пять лет... все было как вчера. Мне двадцать один год, я выпускник Высшей военной школы в Вализе, третьем крупном городе Рипена — республики, впоследствии объединившейся с другими в Рамбат. Курсант Эленкорт, отличник боевой подготовки. Отец велел мне сменить имя. Никто не знал, что я младший сын имератора Эрика Пятого. И вот я — артиллерист. Да, моя военная специальность — артиллерия. Баллисты и катапульты, паровые и пружинные. Ракеты на сжатом воздухе и перегретом паре — самых разных систем. У меня прекрасная память, я произвожу вычисления углов и баллистических траекторий за секунды в уме. Я держу в памяти все данные орудий. Асахайская война. Теория превентивного удара. Небольшой народ Асахи — асахайцы или асаги — в горах на северо-востоке Рипена. Независимый и гордый. Долгое время асахи считали себя независимым народом, хотя Рипен всегда полагал их своими жителями. Это недоразумение длилось веками, пока, после заключения договора о переделе мира, Асахай не отошел к Рипену. Они не пожелали покориться.

Главным аргументом был религиозный конфликт: асахи отказались от поклонения двум Богам, Литу и Нэре, объявив, что Бог — один, невидим, неназываем и довольно ревнив. Что все, кто не признает этого, — неверные и недостойны жить пред Богом и в свете Его любви.

Они объявили, что не станут платить податей неверным. Религиозные фанатики...

Они убивали сборщиков налогов, отрезали им головы и отправляли посылки в финансовое управление.

Они объявили войну Республике Рипен и захватили пять приграничных городов, мечами принудив жителей принять новую веру. Это была война мышей против кошек. Чего они добивались?

Армия Рипена вышла угомонить распоясавшихся религиозных безумцев.

Лейтенант Эленкорт принял батарею и так хорошо воевал при осаде Фадра — небольшого городка в горах Дор, западном отроге Большого Рипенского хребта, уходящем на запад до океана и фактически отгораживающем Рипен от проклятых земель Харанда (5)! После разрушения города я был вызван в ставку Верховного Главнокомандующего, награжден орденом Офицерской Доблести (третьей степени!) и произведен в звание майора и командира артдивизиона, а это 300 орудий и полторы тысячи единиц прислуги.

Я получил свою маленькую армию и предписание передислоцироваться в распоряжение командующего фронтом. Путь мой пролегал через Асахайский перевал. Можно было б пойти ущельем — это дольше, армия бы вытянулась на несколько километров вдоль реки Пры. Второй путь шел через перевал — верхом, там дорога была шире, и хотя нам пришлось бы тащить на высоту трех километров орудия и боеприпасы, я решил идти верхом. Так, я считал, меньше риска попасть в засаду.

У меня был порученец из солдат. Смышленый малый шестнадцати лет. Как его звали? Серик.... да, Серик Оорт. Мы пошли через перевал, это позволяло сократить время на десять дней... Огибая кряж, мы вышли в небольшую долину — плоскогорье.

Передовой отряд заметил крепость в скалах. На моей карте ничего отмечено не было. Над центральной башней развивался черно-розовый флаг народа Асахи.

Боевая крепость!? Данных о ней не было никаких. Секретный объект противника? Я отправил разведку в поисках местных жителей: пастухов или охотников, и одновременно выслал парламентеров с предложением сдаться. К сожалению, местных жителей найти не удалось. Армия Рипена теснила противника в долине. За перевалом — главная крепость асахайцев, Крекс. А этот укрепленный пункт никому неизвестен.

На что им надеяться в этом горном гнезде? Я и не подозревал тогда, что моя ассоциация в обозначении крепостицы точно соответствовала настоящему ее имени на языке Асахи — Гризмер. Я со своими математическими мозгами не мог допустить того, что допускали предводители восставших — ни один нормальный военачальник не пойдет верхней дорогой! Как и не могли они подумать, что у того безумца окажутся тяжелые дальнобойные орудия. Это — провидение. Нижний рукав — через ущелье, хоть и длиннее и уже — но ровнее и не так крут. Армия растянется на несколько суток, но меньше устанет. Приказ командующего не оговаривал пути, но по времени, отпущенному на выполнение, соответствовал нижнему маршруту.

А я пошел наверх! Для меня фактор времени в тактике — решающий, как фактор внезапности.

Парламентеры не вернулись. Из-за крепостной стены вылетел мешок с головами. Еще там был кусок козьей шкуры с безграмотной надписью печатными иероглифами, которую можно было понять так: "Вы вси умрети нивернаи сабаки!".

Я отдал приказ атаковать. Орудия расположились полукругом и тремя рядами. Я обстреливал эту крепость целый день — двенадцать часов, в надежде, что найдется хоть одна трезвая голова, которая спустит боевое знамя и поднимет сигнал о сдаче. Полдня они огрызались. Их каменные снаряды не долетали даже до первой линии моих батарей. От ударов дрожала земля.

К вечеру я дал команду прекратить. Серик возбужденно уговаривал отпустить его на переговоры. Меня мучили сомнения. Я собирался послать предложение о сдаче в том же мешке, в котором получил головы моих солдат — а Серик уже летел к воротам крепости на своей рыжей лошадке. Лошадка вернулась через час, волоча за собой его труп. С этого момента бомбардировка крепости не прекращалась трое суток. И уже когда от нее осталась лишь гора дробленого камня, командиры орудий и вся прислуга пошли на приступ.

Да, мне хотелось отомстить за Серика... Я не произносил ритуальных фраз. Я воин, а не мститель. Кто убил мальчишку — какая мне разница? Я ждал, что уцелевшие защитники крепости выйдут в рукопашную... я шел с мечами в руках, мечтая изрубить в капусту любого, кто попытается оказать сопротивление, но не вышел никто. Мы принялись разбирать завалы, складывая трупы перед крепостью на лугу. Из взрослых мы насчитали семьдесят четыре старика и пятьдесят пять старух, семьсот женских трупов, остальные были мальчишки и девчонки не старше тринадцати-четырнадцати лет. Все были мертвы, а кто ранен, те кончали с жизнью на наших глазах, вспарывая себе животы с фанатичным блеском в глазах. Потом я узнал, что все они напились настойки дерева каза. Боль не тревожила их, и разум оставил...

Мы нашли уцелевших десятилетних девочек и мальчиков с малышами и младенцами в подвалах, куда добрались к исходу третьих суток после обстрела. Я этого не видел. Меня связали и положили в обозе, отобрав при этом мечи и ножи. В тот день я плакал первый раз в жизни. Я проклинал себя, и войну, и асахайских фанатиков... Друзья-офицеры напоили меня вусмерть... трупы закопали, детей обозом отправили в комиссию по перемещенным лицам. Помню, отрезвев немного, я стоял, тупо глядя на повозки с детьми... одна девочка из старших подбежала ко мне, плюнула и что-то гневно прокричала, проклиная.

Добравшись до расположения командующего, я подал отчет, следом — рапорт об отставке. Меня рвало при одном воспоминании о пережитой бойне.

Предводители агхазидов Асахи, узнав о гибели "Горного гнезда", покончили с собой — точно так же, вспоров себе животы. Война закончилась. Представителям асахи запретили селиться обособленно и создавать места компактного проживания. Им запрещено также отправлять религиозные культы и обряды, противоречащие законам республики.

Однако, желая, видимо, сгладить вину перед малым народом, меня судили. Как военного преступника. Приговор прозвучал странно: "За невыполнение приказа, самовольное вступление в боевые действия без приказа руководства, использование имущества армии Рипена в личных целях лишить бывшего майора Эленкорта званий и орденов, как опозорившего честь офицера, и изгнать из страны".

Странно, ведь я к тому моменту уже два года был в отставке, но находился под домашним арестом. Приговор принял с равнодушием. Политика — грязное дело. Не менее грязное, чем война.

Учитывая, что никаких репрессий и задержаний ко мне не применили, наоборот — подвергли остракизму, я уехал в Лиду, куда меня пригласила сестра, и там занялся строительством плотин на реках. Строительство и гидротехнические установки — моя гражданская специальность.

После работы я традиционно шел в корчму, и там обязательно находилась смазливенькая девица, не отягощенная моралью. Так прошло одиннадцать лет. Однажды от сестры прибыл порученец и привез письмо, в котором сообщалось, что наш брат Эрик тяжело болен и мне надлежит немедленно выехать домой, на Саармэ. Эрик Пятый Эленсаар — император-ученый. Он занимался... прямо беда, я даже не могу толком понять, чем он занимался. Что-то связанное с высокими энергиями и пространством. Эрик не имел магических способностей, но умело руководил магами, производя вычисления.

Я отправил необходимые письма руководству строительства и в тот вечер в деревенской корчме встретил чернобровую горянку лет двадцати. Мы пили за мой отъезд. Она танцевала, аккомпанируя себе колокольчиками на ногах и руках, поддерживая ритм ударами в небольшой бубен... она танцевала для меня! Помнится, захмелев, я обнял ее за талию и спросил:

— А со мной станцуешь? Давай, кто кого!?

Она кивнула и потащила за собой в круг между столами. Посетители корчмы хлопали, а мы танцевали. Она крутилась вокруг меня. Это было соревнование: кто истощится скорее? Откуда ей было знать, что Эленсаары не устают! Мы двужильные, стожильные... и, конечно, она повалилась мне на руки, а я, получив награду, понес ее к себе в комнату под одобрительный хохот и аплодисменты посетителей корчмы.

Она отдалась добровольно, я бы даже сказал — с удовольствием, и, лежа рядом со мной, спросила на ломаном лидийском:

— Ты мой замуж?

Я отодвинулся и покачал головой:

— Нет... мне не нужна жена...

Я ждал слез. Чего угодно. Но она вдруг взвилась, оседлала меня — и чудом я перехватил ее руку с кинжалом, уже рвущим кожу на лбу. Я откинул ее, а она рычала и шипела:

— Ты умрешь, неверный! Убийца! Ты умрешь, будь ты пирокляты!..

Я отобрал у нее кинжал, кое-как перевязал голову, собрал вещи и ушел. Через сутки я уже был в порту, а через неделю прибыл на Саармэ.

На месте "Горного гнезда" теперь большая могила и развалины. А имя Хуор у народа асахи тождественно демону. Как мне потом рассказали, у асахи ходит легенда, что демон смерти Шихра вселился в Хуора — меня. Бред. Сказки. Но кто-то верит.

Значит, танцовщица и агхаббитская девочка из крепости — это один человек, мать Лияры? И тут меня словно подбросило. Ну конечно, это она! Рэдрик, положивший письмо на стол, удивленно уставился на меня. Я ничего не успел сказать. Вошел дежурный. Внезапное озарение... я заставил себя закрыть рот.

— К вам магистр Фигула и Легир Арахенский, Ваше Величество!

Вовремя, ничего не скажешь.

— Пропусти! — я скатал письмо и засунул обратно в пенал. Рэд прочел о том, что я отравлен. По его поведению было заметно, что он рвется что-то

спросить, но я, глядя на входящих, только приложил палец к губам и качнул головой — "не надо".

Магистр Фигула и глава магов Легир вошли, я указал им на кресла у стола и осведомился:

— Ну, господа специалисты, что вам удалось выяснить?

Фигула взял слово первым, видно, они так заранее уговорились:

— Когда вы, Ваше Величество, распорядились показать помаду магам, вы оказались, как всегда, правы.

"Ну конечно! Не смажешь — не вставишь! Хорошо, Фигула, прогиб засчитан. Я знаю, что я гений!"

Я промолчал, а он продолжал:

— Помада действительно отравлена. О свойствах этого яда уважаемый Легир расскажет лучше меня.

Я перевел внимание на мага, но боковым зрением наблюдал за Рэдриком. Тот с момента прочтения письма сделался суетлив и, пока маг не начал докладывать, быстро проговорил:

— Я вас покину ненадолго, Ваше Величество?

Я кивнул. Рэд выскочил из кабинета.

Легир разложил перед собой листки:

— Ваше Величество, в коробочке с помадой яда как такового нет. Для простых людей она абсолютно безвредна. Ореховое масло, составляющее основу помады, зачаровано исключительно на кровь Эленсааров — таким образом, что фактор, стабилизирующий процесс старения, разрушается, а само старение многократно ускоряется.

Фигула кивнул. Он смотрел на меня поседевшего, и тут в его глазах загорелось понимание. Я жестом остановил его порыв.

Что ж, вот все и подтвердилось. Легир замолчал, тоже глядя на меня. А Фигула, понявший, молчал, как я приказал.

— Да, уважаемые, меня отравили, — я проговорил это спокойно и с некоторой усмешкой. — Только давайте без ненужных эмоций... все слова приберегите для похорон. У меня не так много времени, чтоб тратить его на эмоции. Что вы можете доложить по девушке?

Фигула вышел из ступора и принялся сбивчиво рассказывать:

— Начну с того, что она эленсар. Ее биологический возраст не добирает до физиологического. Состояние ее органов соответствует примерно двадцати пяти — тридцати годам. В крови ее еще сохранились остатки стабилизирующего фактора старения. Фактически она отравлена дважды: ядом из помады и быстрым ядом растительного происхождения — слевзики, травы, широко распространенной на землях Империи. Шарики с этим ядом можно купить на рынке в порту, моряки его используют для травли крыс в трюмах кораблей.

Я кивнул, а Фигула продолжал:

— При вскрытии, однако, обнаружилось, что девушка тяжело больна.

Я насторожился:

— Поподробнее!

— У нее в очень тяжелой форме развивался рак крови, Ваше Величество, если б она не отравилась, то умерла бы через пару месяцев.

Я понял. Понял очень многое. Лияра — кукла, марионетка... мой враг дергал ее за невидимые ниточки. Асахи и кровная месть — такой удобный инструмент.

Оба специалиста чуть не хором обратились:

— Ваше Величество, позвольте нам попытаться спасти вас?!

Я усмехнулся:

— Валяйте. Что от меня нужно?

— Ваша кровь, — сказал Фигула, доставая из кармана балахона стеклянный цилиндр, в котором каталось несколько прозрачных капель.

Я засучил рукав, скрутив его жгутом, и несколько раз качнул кулаком, протянул алхимику. Он приложил цилиндр крышкой к руке, щелчок — в сосуд ударила тонкая багровая струя, рассыпавшаяся алым бисером по стенкам. Когда сосуд наполнился, еще раз щелкнуло, Фигула положил кровь на стол, осмотрел место инъекции. Там остался маленький кружок от присоски.

— Все нормально, — сказал я, опуская рукав. — Колдуйте.

Я позвонил в колокольчик. Вошел дежурный офицер.

— Секретаря, живо! И распорядитесь подготовить мою яхту. — Я поглядел на специалистов: — Магистры Фигула и Легир останутся в замке под домашним арестом, — те аж подпрыгнули, — до особого распоряжения. Не волнуйтесь, сутки-двое, — успокоил я их.

Офицер отдал честь и вышел.

— Значит так, господа специалисты. Вы знаете больше, чем мне б хотелось, но в том нет вашей вины. Сможете создать противоядие — честь вам и хвала. А не сможете... — я увидел, как они напряглись, — пробудете в замке до моей смерти. Я не хочу, чтоб эта информация растеклась по островам.

Маг и алхимик удалились. Вошел секретарь, с ним начальник тайной полиции. Секретарь доложил о нем, я взмахом руки остановил его:

— Сынок, сядь тут, — я указал на еще теплое от зада алхимика кресло. — Если ты думаешь, что у меня ранний склероз и мне нужно напоминать, в каком звании начальник тайной стражи и как его зовут, то ты ошибся.

Парень опять побледнел. Я достал из стола бутылку салийского, два бокала и открывалку:

— Займись-ка.

И, пока парень открывал и наливал, обратился к главному контрразведчику Империи:

— Что вам удалось выяснить о ней?

Генерал Саббат — а по нему не скажешь, что генерал, очень неприметная скромная личность — не садясь, принялся докладывать:

— Особа, связи и знакомства которой вы поручили нам установить, прибыла на Саармэ вчера в час пополудни на лидийском транспортном судне "Хариб". Согласно ее документам, она исследователь насекомых, сотрудник Вализского университета, откомандирована в Саармэ для отлова бабочек на островах Халанского архипелага.

— Посреди учебного года? — засомневался я.

— Я тоже удивился, но, как мне объяснили наши специалисты, у этих тварей короткий период вегетации — размножения, они вылупятся из куколок через три дня, неделю будут спариваться, завалят яйцами все острова, после чего разом сдохнут. Трупы и яйца являются частью пищевой цепи каких-то птиц и рыб...

Я кивнул. Все логично. Ученая дамочка едет в мою империю ловить редких бабочек, останавливается на сутки на моем острове, встречает меня, узнает, травит, травится сама, при этом будучи смертельно больной, перед тем как встретить меня — пишет и оставляет письмо на мое имя, с точным указанием утром отправить его во дворец. Что-то во всей этой истории не складывается. Хорошо, она жила — не тужила у себя в Рамбате, ее фанатичная мамаша накрутила ей мозги насчет кровной мести, но она не торопилась ее исполнять, пока... пока не узнала, что сама смертельно больна? Или у нее не было яда? Или вообще что? А может быть, у нее не

было плана... У меня сложилось стойкое ощущение, что ее будто вели за руку. В таком случае, кто вел? Скорее всего, у нее не было яда. Для меня.

— Хорошо. Дальше? — я взял один бокал, поставил его перед генералом, жестом пригласил его сесть. — С кем она встречалась?

Генерал взял бокал, не садясь, поднес к губам:

— Офицеры пьют стоя! За здоровье Вашего Величества!

— Тогда и я встану, — сказал я, поднимая бокал, — замечательный тост.

Мы отпили по полбокала. Генерал наконец сел.

— Официально ни с кем. Но один из наших общих знакомых оказывался в тех же местах, где была она.

— Хорошо, Саббат, и кто же он?

Генерал положил передо мной листок со списком. Я пробежался по именам, должностям, уперся взглядом в знакомое имя, обведенное в рамочку. Помощник начальника дворцовой охраны. Очень интересно.

— Уверен? Он, что, не имеет семьи?

— Так точно, Ваше Величество, семьи нет, есть подружка в нижнем городе, уважаемая женщина — вдова. Он ее навещает примерно раз-два в неделю. Имеются свидетели, рапорта.

— А подробнее о вчерашнем дне? Он не дежурил?

— Он поменялся сменами, днем был в порту во время прибытия транспорта, мы его не допрашивали пока, — я облегченно вздохнул, — потом он около часа что-то искал на рынке, как мы выяснили — купил кое-какие украшения, якобы для любовницы, коробку крысиного яда на соке слевзики. Она остановилась в гостинице "Фьорд", он тоже там был, обедал. Второй раз он зашел во "Фьорд" вечером. Сидел в харчевне, играл в кости. Она там ужинала. После чего она вышла в город и в кабачке "Шхера" встретилась с высоким мужчиной, снявшим номер в отеле "Саармэ" под именем капитана Ленкорта.

Я кашлянул и перевел тему опять на вероятного резидента. Саббат, наверное, сейчас обескуражен. Не надо его недооценивать. Лияру он считает моим агентом, который помог мне найти резидента в замке. Пусть продолжает считать.

— Надеюсь, вы не делали обыска в его апартаментах?

Генерал отвел глаза.

— Я был о вас лучшего мнения, Саббат.

— Все сделали очень аккуратно, Ваше Величество. Мы б не решились без вашего распоряжения, но приобретение им яда насторожило. Кстати, по результатам осмотра выяснились любопытные вещи.

Секретарь мой заскучал. Я жестом остановил Саббата, на листочке написал записку, протянул ее секретарю:

— Держи. У пятого пирса стоит моя яхта. Лети стрелой. Яхта тебя доставит на Раавен, записку отдай матери. Дальше следуй ее указаниям. Ты меня понял? — секретарь снова побледнел, кивнул, но тут же исправился, вскочив смирно, отрапортовал:

— Так точно, понял, Ваше Величество. Разрешите выполнять?

— Давай! Только помни, задание особой важности и очень секретное.

Секретарь, преисполненный осознанием важности своей миссии, убежал выполнять.

— Продолжим, Саббат. Какие же вещи выяснились?

— На входной двери были установлены так называемые "флажки". Вы знаете, что это? — генерал собрался мне объяснять, я махнул рукой. — Тайные метки, оставляемые жильцом — никакой магии, но ясно показывают, были ли незваные гости в доме.

— Знаю. Флажки законом не запрещены. Что дальше?

— Не запрещены, да, но сам факт подозрителен. Три флажка на входе. Внутренние двери тоже помечены. В прихожей установлена любопытная штука — счетчик незнакомцев.

— То есть?

— Да такая вот коробочка с цифрами: как только новый человек входит в дом, делает плюс один.

— И где он ее взял?

— Как мы узнали, эти счетчики были заказаны сетью магазинов с простой целью: считать посетителей. Выпускают их мастерские при академии магов. Студенты подрабатывают.

— Опять все легитимно. Но вас-то он сосчитал! Как же выкрутились?

Генерал смущенно улыбнулся:

— Да, в общем, просто. Купили точно такой же, поставили на входе на КПП гарнизона замка и прогнали три роты. Как только число сравнялось с нужным, установили в его прихожей.

Я кивнул, улыбнувшись. Самое простое решение — самое верное.

— Это все странности?

— Нет. Мы нашли у него тайник, а в нем — шифровальную доску.

Я знаю такие штуки. Шифровальная доска относится к изобретению магов Рамбата. Когда я учился в академии и служил в их армии, мы широко пользовались ими. Накладываешь на доску лист, пишешь донесение, потом на краю доски выставляешь ключ — текст на листе меняется на зашифрованный. Прочесть можно на такой же доске, если знаешь ключ. Расколоть такую шифровку без магии невозможно. На взлом дается одна попытка. Если не удалось прочесть — все. Даже доска не поможет, шифровка просто уничтожается в труху.

— А вот это уже улика! — оживился я. — Надеюсь, вы не наследили?

— Мы очень старались, Ваше Величество.

Я позвонил в колокольчик, и снова явился дежурный офицер.

— Министра обороны, немедленно! Саббат, срочно закрыть порты Империи по категории "три". Начать полномасштабные учения в шести флотах. Готовьте приказы по своему ведомству. Предупредите резидентуру в Рамбате, Харзе, Гернизе... активируйте лагеря десанта в Дереторе и у побережья Харанда. Этого говнюка сразу не берите, пускай подергается и накосячит... Главное, чтоб он успел доложить хозяевам о наших приготовлениях, и не дайте ему покончить с собой. Он много знает. И должен все рассказать.

Я был в бешенстве. Но не зол. Это рабочее состояние холодного рассудка. Если б мне сейчас дали возможность стереть с лица земли Рамбат, я делал бы это медленно... Ничего, они еще попляшут.

— Саббат, мы начинаем план "Переход".

Генерала сдуло с места.

Дежурный вернулся, убрал бокалы и бутылку, протер стол. Я сказал ему:

— Экстренное совещание совета министров сегодня на пять вечера. Оповестить всех, — он отдал честь и вышел.

Явился министр обороны:

— Добрый день, Ваше Величество!

Адмирал Мирель Параведра. Мирель — имя и мужское, и женское одновременно. И моего министра это конфузит.

— Здравствуйте, адмирал.

— Что-то случилось?

— Пока нет, адмирал, если б случилось, вы б получили приказ о мобилизации, — это я так шучу.

Адмирал оценил, улыбнулся:

— Но ведь есть причина для столь неотложного вызова, Ваше Величество?

— Да, адмирал. Есть. Вам надлежит разослать флотам приказы...

— Я внимательно слушаю, — Параведра достал блокнот и приготовился записывать. А я подошел к большой карте мира, раздвинул шторки и принялся указкой передвигать кораблики по морям:

— Первому и третьему флотам — блокировать подходы к Империи в проливах. Проверьте и проведите суточные учения с фортами. Четвертому флоту подойти к территориальным водам Рамбата, но не пересекать черту. Ждать приказа. Пятому флоту объединиться с флотом герцога и занять оборону у Лиды. Держать воздух. Летающие шары есть не только у нас. Привлеките магов с военной кафедры академии. На трое суток перекрыть внутренние моря. Рыбакам сообщите, что будет выдана компенсация за причиненный ущерб. — Указка уперлась в небольшую островную группу на юге: — И еще, адмирал. Архипелаг Раавен — это особая зона. Подготовьте транспорты во всех портах. Беспрепятственно может туда или оттуда ходить только моя яхта. Все понятно?

— Так точно, Ваше Величество, — адмирал озадачился, но не показал виду, как его удивил мой приказ. — Вы можете объяснить?

— Дорогой мой адмирал, — я закрыл карту, подошел и обнял верного служаку за плечи, — в свое время. Сейчас не могу. Выполните приказ. Да, и флотам передайте: в бой без крайней нужды не вступать, только в случае нападения. На провокации не реагировать. — У адмирала волосы поднялись. — Наша задача — не допустить войны. Но если нападут, надрать задницу так, чтоб неповадно было впредь. Главное — оттянуть их флоты и армии на юг.

— Но кто вероятный противник?

— Я полагаю, что попытается вмешаться в наши внутренние дела Республика Рамбат. Выполняйте, адмирал. Через сутки вам все будет объяснено. А пока начните учения так, как если б началось вторжение...

— Они с ума сошли?

— Вполне возможно, адмирал, во всяком случае, через два дня они попытаются нас подчинить и вручат ультиматум.

— О, Боги! Безумцы... наверное, им неизвестны наши нововведения во флоте и армии?

— Им очень многое известно, дорогой Мирель, — улыбнулся я, — но еще больше — неизвестно. Выполняйте приказ.

* * *

Двадцать один год назад я занимался составлением карты Империи. Дело в том, что она насчитывает до двух тысяч островов, более-менее пригодных для жилья, и почти столько же непригодных. За две тысячи лет существования династии Эленсааров карта Империи расширялась, на нее наносили новые объекты. Каждый новый император считал своим долгом открывать и присоединять к владениям новые острова, а последние годы маги создают их, поднимая со дна моря, используя силу вулканов или управляя ростом кораллов. Но это сейчас. А раньше рыбаки получали премии за каждую открытую землю.

Я сумел переплюнуть всех. Жизнь не стоит на месте, наука тоже. Каждый раз на коронации уже тысячи лет в Империи проводится фестиваль. И каждый год в этот день в небо над островами взмывают легкие бумажные

шары со свечой внутри. Феерическое зрелище. Все запускают, клеют, запускают...

Коронация брата перед смертью отца прошла без меня. На похороны мне тоже приехать не удалось. Я был в то время на Асахайской войне. Потом — невыездной до суда. И вот, спустя годы, я возвратился на Саармэ по призыву брата. Эрик, исхудавший, бледный и облысевший, назначил меня преемником, еще до его смерти прошла коронация. Я — император... и ночью с городской площади Саармэ взмыли светящиеся шары. Я повернулся к сидящему в кресле Эрику, который провожал взглядом взлетающие огни, и спросил:

— А почему они поднимаются? — хотя ответ в то же мгновение сам родился в моем мозгу.

— Теплый воздух стремится вверх, — объяснил Эрик, — а внутри свеча... вот и взлетает.

Он произнес это, и мы поглядели друг на друга и поняли мысль, одновременно посетившую нас.

— Только не лезь туда сам, — сказал Эрик, потому что ненужных слов мы не говорили... — пошли солдата.

Это не в правилах Эленсааров. Эрик все опыты проводил на себе. Через месяц во дворе замка я испытал первый шар, поднявшийся на триста метров (сколько каната хватило), подогреваемый жаровней с углем. Шар поднял почти полтонны груза. Дальше все было как обычно. Через год воздушные шары выпускались на фабрике, использовались и в армии, и для снятия планов. А спустя три года появились сигарообразные шары с гребными, как у кораблей, винтами и паровыми двигателями. А спустя год я подписал указ о создании новых родов войск: воздушного и воздушно-десантного.

На одном пустынном островке картографы обнаружили развалины. В архив ушли тонны отчетов, рисунков, чертежей. Островок с развалинами оказался стратегически выгодной позицией для строительства военной базы и порта. Но не успел я издать указ о строительстве, как ко мне примчались археологи и завопили, что там уникальные памятники древнейшей культуры и остров надо объявить заповедником.

Я — человек, считающий себя культурным, хоть и король.

Я понимаю, что такое исторические ценности.

Я выбрал другой остров в пределах видимости этого. Но про развалины не забыл. Тем более что в семейных архивах нашел упоминание и об этом островке, и о строении на нем. Пока шло строительство порта и базы, я несколько раз наведывался с инспекцией. По моим данным, археологи, несмотря на громкие вопли о ценности строений, так до них и не добрались. И я решил стать первым, кто посетит заповедный островок.

Четверо матросов, лодка, спокойное море... плеск весел, легкие брызги, и вот уже днище скребет по песку. Мы вышли на берег, выволокли лодку и пошли по острову. От бухты берег круто взял вверх. Поднимаясь, я увидал, что остров с трех сторон окружен манграми, одна бухточка на северо-востоке и скалы. Я поднимался все выше, забыв о сопровождающих матросах. Бедняги устали, пока гребли, а уж лезть за мной на плато им было совсем невмоготу. Поднявшись, я увидал развалины. Когда-то это было величественное строение — ступенчатая пирамида, будто расколотая надвое точно посередине, высотой порядка ста метров. Когда я подошел вплотную, оказалось, что в пирамиду вмонтирован огромный черный монолит, шириной более двадцати метров и в высоту около пятидесяти. Он-то и создавал впечатление большой черной щели.

Подобную штуку я уже видел. Точная копия этого монолита находилась в каменной стене позади крепости Гризмер на Асахайском перевале. То-то мне она показалась тогда еще очень уж старой. Выходит этот монолит и тот — ровесники?

Мне захотелось посмотреть на остров сверху, и я принялся подниматься по метровым ступеням пирамиды к самой вершине. Почти добравшись до последних уровней, я оглянулся, увидал, как на плато к пирамиде выбираются мои матросы, и заметил, что на противоположном берегу имеется песчаный пляж, на котором валялась доска с парусом... кто бы мог быть? Потом взгляд мой сместился на сухую каменистую площадку у пирамиды, и я увидал, что из черной тени у основания монолита выбегают странные существа, что-то среднее между обезьянами и лягушками — морскаты (6)!

Откуда тут? Они же не могут подолгу быть без воды. Кожа сохнет и трескается.

Я не слышал звуков, ветер дул от меня, но я видел, как падали матросы, пораженные магией или еще чем-то. Я знал, что морскаты любят пользоваться духовыми трубками, стреляя небольшими шипами морских ежей, яд которых убивает мгновенно... Пришельцы увидали меня и полезли вверх. Восемь. Их тела в солнечных лучах отливали металлическим серо-зеленым блеском, в котором я узнал костюмы из дельфиньей кожи. Выпученные глаза сверкали, а в плоских безгубых ртах они держали кривые ножи. Пока передние лезли, зажав в зубах клинки, задние, поднявшись на пару ступеней, подняли длинные трубки, прижимая их ко рту, и выстрелили... порыв ветра уберег меня от ядовитых стрелок.

Я отламывал куски кладки и швырял в ползущих тварей. Мечи мои остались в лодке. И я, уже проклиная себя за беспечность, краем глаза заметил внизу что-то огненное. Швыряя очередную глыбу в лезущих тварей, я увидал, как к подножию пирамиды вышла фигура, явно женская, на голове которой полыхал огненный куст. Морскаты не одни? Это их предводительница? Рыжая? Невероятно! Эта мысль исчезла сразу, как только девушка вскинула руки. Над ее головой задрожал воздух, складываясь в причудливые фигуры, а с кончиков пальцев рыжей колдуньи слетели синие молнии, ударившие в верхних тварей. Те дико заорали, из их ушей и ртов повалил дым, и они прямо на моих глазах принялись разваливаться, а ветер уносил пепел. Молнии ветвились, и морские бандиты сгорали один за другим. Наконец, последняя тварь исчезла. А я принялся спускаться вниз, не сводя глаз с девушки.

Это было еще то чудо. В облегающем костюме из змеиной кожи, талия толщиной с мой бицепс, бюст, готовый порвать костюм по срединному шву. Она одета для морских путешествий на доске с парусом. Без такой шкурки под тропическим солнцем сгоришь за несколько минут. Так вот чья досточка валялась на отмели! Зеленющие глаза, вздернутый обильно усыпанный веснушками носик и огненная грива. Лет ей от восемнадцати до двадцати. Тощая, гибкая, она нахально рассматривала меня, а потом спросила:

— И какого Шшихры вы туда полезли? Что вы вообще тут делаете?

Я развел руками и объяснил:

— Так вот, это, уважаемая пири (7)... значит... мы тут строим неподалеку, вот... приплыли посмотреть, что здесь? А вы кто?

Она продолжала смотреть на тупицу-строителя, потом с небольшой долей презрения — самую чуточку, чтоб я понимал, кто есть кто тут вообще — сказала:

— Можешь называть меня эссой (8), пир... А я тут практикуюсь в магии. Учусь в академии.

Интерес ко мне погас мгновенно и окончательно. Я для нее инженер из третьей касты. Говорила она без высокомерия, но подчеркнула разницу. Всем своим видом она давала понять, что отвечать на мои вопросы не намерена. Но я настоял:

— А поподробнее?! Как зовут? Кто родители?

— А кто вы такой, чтобы задавать такие вопросы? — рыжая направилась к телам моих матросов.

— Скромный строитель, спасенный могущественной волшебницей от злобных тварей. Кстати, откуда они повылазили?

Она снова посмотрела на меня. Я обошел ее и принялся осматривать матросов. Убиты все, как и предполагал — ядом.

— Помоги мне, — я перешел на ты. — Нужно спустить и погрузить тела в лодку.

— Я устала, — заявило рыжее создание.

Тогда я сложил тела в тени мангров, укрыл широкими толстыми листьями, и повел ее за собой. Пока я греб к острову, где шло строительство, она смотрела на воду.

Я снова спросил:

— Так откуда взялись те твари? Чего они от меня хотели?

Она пожала шелушащимися от загара плечиками и ответила:

— Я не знаю, похоже, там портал в другой мир. Я второй раз на этом острове. Сама удивляюсь.

Ее звали Сиби — Сибилла Траален. Она была студенткой академии, училась на отделении тепловых процессов, в просторечии называемом "магией огня". У нее еще с младенчества обнаружились способности к пирокинезу. Ее родитель — управляющий всей группой Раавенского архипелага, губернатор. Девочка сильно удивилась в первый раз, когда на причале раскрылось, кто я. Она жутко засмущалась. Но извиняться за "пира" не стала. А мне хватило такта, чтоб не упрекать в такой мелочи. Второй раз она смутилась, когда я издал указ: "за особые заслуги перед Империей" присвоить Раавенскому архипелагу статус герцогства и передать эти земли в пожизненное владение Сибилле Траален. Так юная колдунья стала герцогиней Раавенской и статус эссы получила не по рождению, а за заслуги — это почетнее.

Развалины с монолитом оказались вратами. Из летописей я знал, что таких врат в мире всего пять. Выходит, эти — шестые. И именно из этих будто бы пришли мои предки, основавшие островную империю Эленсааров. Тысячи лет врата считались неактивными. И вот упражнения юной волшебницы снова оживили их. Это судьба. А я верю в судьбу. У врат был оборудован пост из военных и магов.

Врата закрыть не удалось, закрыли проход к ним. За двадцать лет остров Врат, как его теперь обозначили на картах, сильно изменился. Его окружили насыпные острова, на них расквартирован гарнизон морского десанта и карантинная служба. Я настрого запретил моим магам самим соваться туда.

* * *

Я устал. Разговоры и раздумья, нервное напряжение — все это изрядно утомило меня. Я распорядился закрыть прием для всех, кроме секретаря, до пяти вечера. Поел немного и лег спать прямо в кабинете на диванчике.

Отрава действовала, и я это чувствовал все сильнее. Слабость накатывала порциями. Хотелось спать, но сон не шел.

Около сорока лет я правлю Империей, что создавали мои предки, отец, брат... И все они доживали до срока. Брат первым нарушил этот порядок, умерев на сто сороковом году. Все Эленсаары — ученые. Не маги. Такова традиция. Брат посвятил себя Империи и изучению мгновенных перемещений. Это его и сгубило. Он ведь не случайно, заметив мою мысль о воздушном шаре, сказал: "Солдата пошли". Сам он никого не посылал, все испытывал на себе. Благодаря его изобретению между крупными островами и Лидой существует сеть "дверей" — официально, а секретно двери выведены во все посольства моей империи в Мире. Одна проблема: через эти двери можно пронести не больше 50 кг массы. Поэтому все курьеры — худосочные и низкорослые подростки, тщательно следящие за весом. И все благодаря Эрику! А я... я — запасной вариант. Императоры оставляют потомство, и, как правило, двух мальчиков: один — наследник престола, второй — запасной вариант. Младшие братья находили себя в науках и ремеслах, управляли землями или искали приключений. Так и я в шестнадцать лет уехал в Рипен, под именем Эленкорта поступил в военную академию... но война и ратная служба не принесли мне радости. Намного приятнее было строить плотины и турбоприводы для фабрик и заводов в герцогстве Лида. Каждый Эленсаар оставляет о себе память в мире. Мое правление за сорок лет привело к созданию мощнейшей морской армии и торгового флота. На треть увеличились и население, и площадь Империи. А главное, именно мои корабли первыми отказались от парусов и перешли на силу пара... а теперь шло строительство быстроходных судов с паровыми турбинами. Скорость решает, кто завоюет мир. Так исторически сложилось, что в Империи не было рабства, как на материках. Не было и демократии. Царил неписанный закон кастового разделения на социальные слои. Эленсаары правят. Высшее сословие — это ученые, маги, чиновники и военные, среднее — торговые люди, крестьяне, рыбаки и ремесленники, и низшее — всякие бездельники: артисты, писатели, журналисты, поэты, нищие.... то есть люди, живущие за счет других, развлекающие, или — ввиду отсутствия талантов — обычные попрошайки.

При Эрике были заложены и при мне уже начали работать три академии на островах, пять университетов, масса школ и специальные учебные заведения. Я успел провести учебную и социальную реформу, согласно которой любой человек может обратиться и сменить кастовую принадлежность, если будет объективно доказана его социальная значимость. Это происходит со студентами, курсантами. В семьях среднего сословия нередки случаи появления детей, достигших высшего уровня. Родители их счастливы и гордятся. Нет, все-таки я неплохой король. Я хочу, чтоб меня любили... Не боялись, не ненавидели, а любили. Во всяком случае, мои близкие, мои друзья и приближенные говорят, что любят. Я им верю. Они прощают мои слабости, иногда грубость, а главное — они прощают мне то, что в политических играх я никогда не информирую их полностью. Каждому в них отведена своя роль, они должны все делать в точности с моими указаниями. До сих пор еще никто не попытался помешать мне в замыслах. Работает репутация семьи Эленсааров. Мы — победители!

Третий раз Сиби удивилась, когда я появился в ее доме на острове Тесла, где расположена крупнейшая академия магов. Она еще не отошла от свалившейся на нее "радости" с титулом, поэтому приняла меня весьма холодно. Мы говорили тет-а-тет и заключили деловое соглашение,

подписанное нами обоими и не требующее заверения стряпчим, так как мы оба землевладельцы. И мы оба выполнили договоренность.

Лияра — моя дочь. Я это понял, когда Рэдрик сообщил о ее возрасте. Доклад мага и алхимика утвердил меня в этой догадке. Вспоминаю прошедшую ночь и уже ничего не чувствую. Правда, стыда или вины нет. Что случилось, то случилось. Похоже, Лияра тоже не знала, что я ее отец. Фанатичная асахайка внушала ей мысль о кровной мести, естественно, не раскрывая, что ее кровник — родной отец. Вот что томило меня... я чувствовал связь.

Заболела спина. Несильно заныла. Я поворочался на диванчике, устраиваясь удобнее. Нет худа без добра. Отравление короля привело к раскрытию шпиона Рамбата. Он пока не знает о том, что раскрыт. Это можно использовать. Вызвать генерала Саббата? Нет, пожалуй, сейчас мне нужна Сиби... я хочу ее увидеть.

Отворилась дверь, вошел дежурный:

— Прибыли ваш секретарь и герцогиня Раавенская, Ваше Величество.

Я поднялся, вдруг ощутив налившиеся свинцом мышцы. Суставы отозвались тягучей болью. Как это ужасно — стареть.

— Проводи их в зал для приемов, найди Рэдрика, Саббата, скажи, что я их жду.

Я принялся переодеваться в королевские одежды. Все согласно этикету. Лакеев не люблю. Не привык. Дежурный вышел, я через приоткрытую дверь слышал, как он отправил вестовых. Сам же вернулся и помог мне закончить наряжание. Я принял у него символ власти — золотую цепь с гербом Эленсааров, надел на шею. Очень символично. Почти двухкилограммовая обуза легла на мои плечи. Раньше я этого веса не замечал.

Я подошел к зеркалу. Уже около шестидесяти. "Разрушен фактор стабилизации старения". Кривая усмешка отразилась в зеркале. Только и остается, что усмехаться.

Я всегда хорошо играл в шахматы по памяти. Обойти меня в прогнозировании ходов? Это сложно. На что рассчитывали интриганы Рамбата, подсылая Лияру? Внезапная смерть императора вызовет хаос? Возможно. Да я ей памятник поставлю, мой дочке, Лияре... ее гордыня разрушила все планы противника. Зачем им хаос в Империи? У этих республиканцев есть особенность, они искренне верят, что тот образ жизни и общественного уклада — лучший и единственно правильный.

Их до поноса пугает факт, что Империя Эленсааров — владычица морей. Раз силен — значит, опасен. Им не удалось завербовать меня, пока я учился у них и служил. Теперь, когда Империя могущественна и независима, они напуганы. А со страху очень легко наделать глупостей. Что такое Рамбат? Это огромное государство, возникшее пятнадцать лет назад из трех государств: Рипена, Регалата и Ханута, объединив территории и экономическую систему — Рамбат стал крупнейшим государством на материке и в мире. По территории и населению. Однако мы их пугаем... ростом, прогрессом, социальной системой и, самое главное, уникальной военной машиной. Рипен долгие годы охранял "проклятые земли" Харанда. После объединения его армия заняла новые территории, и когда на международной конференции встал вопрос: кто будет охранять Харанд? — я предложил свои флоты. Со стороны моря, потому что со стороны суши Харанд охраняют высоченные горы, так что Рамбату останется только перекрыть два перевала: на западе, Даринский, названный так по имени Даринского монастыря Лита, и на северо-востоке, Асайхайский, где я

раздолбил "Горное гнездо". Рамбат и остальные страны-участники конференции согласились с моим предложением.

Вошел Рэдрик. Он не мог смотреть на меня. Я, видимо, резко повернулся — сразу прострелило в спине, на мгновение перехватило дыхание.

— Рэд, давай без соплей, — он кивнул, пальцами промокнул внезапно покрасневшие глаза. — Я тебя кое с кем познакомлю.

Рэдрик кивнул и осведомился:

— А что говорят лекари?

— Ничего не говорят, ищут.

— Может, кинуть клич по островам?

— Ага, и создать панику. Рэд, король перед смертью обязан объявить преемника. И я это сделаю.

В глазах его промелькнуло беспокойство:

— Но кто?

— Узнаешь, — я направился к залу для приемов. Рэд пошел впереди — отворить двери.

— Я полагал, что знаю о тебе все.

— Это иллюзия, дружище. Всего обо мне не знает никто. Иначе б я не был эленсаром, — кажется, я его немного обидел. Но плевать. Сейчас мне плевать.

Мажордом объявил о моем входе в зал. Золотой герб согнул мне шею. Я постарался развернуть плечи. Все-таки я вышел к женщине.

Она ничуть не изменилась, разве что огненные волосы ее уложены да одета согласно этикету. И он ее томит так же, как меня. Она совсем немного поправилась. Но ей идет.

Рэд двигается рядом со мной. Он знает герцогиню Раавенскую — Сибиллу, он знает ее и как ректора Раавенской академии, и как начальницу охранного гарнизона на острове Врат. Сейчас он узнает ее еще больше.

Сиби отпустила руку моего секретаря. Мальчик опять побледнел, он стоял, пока его мать выполняла предписанные этикетом правила и приветствовала императора. На нем парадная форма гвардейского офицера — белоснежная с золотом. Форма всем идет. Я улыбнулся этой мысли.

Я обнял ее. Сиби привычно дернула головкой. Она никогда не любила нежностей от мужчин. Но сдержалась и даже ответила на поцелуй. Я взял ее под руку и развернулся к Рэдрику:

— Позволь представить тебе, дорогой мой друг, мою жену Сибиллу и моего сына Эрика, наследного принца, герцога Раавенского.

Секретарь покраснел и встал рядом с матерью. Рэдрик от удивления онемел.

— Я же говорил, что всего обо мне не знает никто, — я протянул руку и привлек к себе Эрика. — Я вижу твое удивление, дружище... представь себе удивление совета министров через... — я поглядел на часы, — пятнадцать минут.

Мажордом понял мой намек, вышел, вернулся через пару минут — этого времени как раз хватило Рэдрику на то, чтоб поздравить Сиби и Эрика.

— Совет министров в полном составе и ждет императора! — объявил мажордом.

Повторилась реакция Рэдрика, умноженная на пятнадцать. Вышли Фигула и Легир, авторитетно доложили, что болезнь, поразившая императора, не поддается исцелению. И я объявил своим наследником Эрика Эленсаара, назначив коронацию назавтра, на утро.

Саббат в зале совета арестовал помощника начальника дворцовой охраны, обвинив его в шпионаже в пользу Рамбата. Вызвали посланника республики и вручили ему ноту протеста. Я во всем этом уже не принимал участия. Ужинал с семьей. Сиби, всегда очень сдержанная на эмоции, вдруг захлюпала носом. Эрик ее утешал, а я сидел за столом, ждал, пока они успокоятся.

Рэдрик готовил коронацию. Новость летела по островам. Неожиданное событие. Все знают, что на их века моего правления хватит, и вдруг — вот те на! Не судьба.

До утра Эрик писал под мою диктовку все, что я не успел завершить. Моя ясная голова еще соображала. Пока соображала. На рассвете я устал и отключился. Проснулся через два часа. Сна не было. Пришли маг с алхимиком. Они принесли какое-то пойло, весьма ароматное и не противное:

— Выпейте, ваше величество, это вас поддержит.

Я выпил. Да, взбодрило. Значит, они противоядия не нашли. Пришел Рэдрик. Помочь мне одеться. Я спросил:

— А где тело той девушки? Лияры?

— Мы собирались его отправить на родину. Она — подданная Рамбата.

— Гражданка, — поправил алхимика Рэдрик, — в Рамбате нет подданных.

— Ну да.

— Лияру захоронить здесь. С почестями, — я остановил Рэдрика, который хотел что-то возразить. — Ни о каком отравлении чтоб не заикались. Она оказала мне большую услугу, сообщив дату смерти. Представьте все так, что она пыталась предотвратить покушение и предупредить меня, но не успела. Вину за отравление свалите на шпиона, я доверял ему, он вполне мог это сделать. Это будет хорошей шпилькой Рамбату, — одевание закончилось, — и поводом к обвинению во вмешательства в наши внутренние дела. Мы оторвем у них кусок территории. Чтоб неповадно было впредь императоров травить, — пошутил я.

Объявили коронацию. Почетный караул. Два почетных караула, мой и Эрика. Гимн Эленсааров. Эрик подошел ко мне и опустился на колени, я снял с себя символ власти — герб Империи — и возложил его на сына. Эрик Шестой Эленсаар ощутил на своих плечах тяжесть золота, символизирующую тяжесть ответственности за страну.

— Храни страну и традиции Эленсааров, сынок, — сказал я негромко, лично ему. Он закусил губу, как всегда побледнел и кивнул, произнеся охрипшим от волнения баском:

— Клянусь, отец... — после чего произнес традиционную присягу Императора на верность стране и народу.

Как и положено, он объявил амнистию не приговоренным к пожизненному заключению или за убийство, день коронации — праздничным днем.

Эпоха Хуора Эленсаара уходит в архивы.

Я вернулся к себе. Слабость накатывала все сильнее, появилась трясучка в руках. Я вспомнил, что Лияра отправила яд и сестре, но предупредить ее вряд ли успею, да и не нужно. Однако попытаюсь это использовать. Я вызвал дежурного:

— Позовите ко мне Сиби... герцогиню Раавенскую.

Она пришла скоро. Я обрисовал ей ситуацию. Она ненадолго задумалась, вызвала дежурного и дала ему мою записку для Аниты.

— Сиби, Анита не глупая, она хорошо меня знает: последнее, что я бы ей послал, так это косметику. Но вас, женщин, предсказать невозможно. Надо ее предупредить... да времени мало. Пошли дирижабль, — я разволновался и на трясущихся ногах подошел к карте. — Прикажи капитану корабля, чтоб прошел над южным Ханутом, так не короче, но они обогнут Варгу и Факиф, а там сейчас идет мясорубка — их могут зацепить. Вот пускай обогнут по дуге и пролетят над Ханутом. Сейчас все внимание Рамбата будет приковано к проливу и морю. У них будет много шансов проскочить незамеченными.

— Не волнуйся, Хуор. В моем гарнизоне есть парочка толковых парней - магов, они доберутся до Лиды за сутки. Если герцогиня Амра еще не пользовалась помадой, они ее предупредят.

— Дай им "Повелителя".

— Как скажешь, — Сиби улыбнулась одними уголками изящного ротика. — Она все понимает. Как же я обожаю женщин, которым не нужно объяснять очевидного.

Я успокоился. Я хочу покоя. Я устал жить.

Я лежу в темноте. Нет, кругом светло, но глаза мои потухли. И слух доносит лишь равномерный гул невнятных голосов. Где-то на островах в сумерках идут приготовления к запуску бумажных шаров со свечой внутри. Я уже ничего не могу сказать. Мое сердце отсчитывает последние минуты жизни.

В ночное небо взмывают светящиеся шары, тысячи и тысячи поднимаются все выше и выше к звездам, славя нового императора.

Мое сердце остановилось.

Комментарии к первой части "Запасной вариант"

1. Фардвы, гендеры, эленсары — эти и другие расы в мире Арринда — человеческие, созданы магами Харанда (см. ниже) более двух тысяч лет назад. Эленсар — потомок рода Элленсааров, мужчины которого в результате магического эксперимента получили возможность жить 200 лет со дня зачатия, обладая при этом феноменальной памятью и математическим складом ума. Одна из ветвей рода, Эленсаары, основали южную островную Империю. Обобщенные названия для потомков рода Элленсааров — эленсары, элессары, лессы, илизары.

2. Богиня царства мертвых — Нэре (олицетворение Луны). По основной мифологии мира Арринда, жена Бога Лита (Солнца), создателя всего живого, обиделась на мужа, приревновав его к живым, и "горе ее безутешно". С того момента Нэре ушла на ночную сторону мира, покровительствует обиженным и мстящим, ворам, торговцам, всем, кто почитает выгоду выше благородства и милосердия. Принимает убийства только как жертву себе, поэтому все знают, что без ритуальной фразы можно получить на свою голову массу бед от гнева Безутешной.

3. Кастовая система Империи связана с уровнем социальной ответственности и значимости человека и его семьи для государства. На высшей ступени стоит император, ниже — военные и главы ведомств, под ними промышленники и торговцы, включая добытчиков ресурсов; на самой низшей ступени стоят артисты, нищие, проститутки и священники. От касты не зависит уровень доходов, но зависит уровень налогов. Чем ниже каста, тем он выше.

4. В мире всего шесть врат (пять на материках, шестые на острове).

5. Харанд — одно из древнейших государств, первая магократическая республика, погибшая более полутора тысяч лет назад по причине экспериментов над людьми по созданию идеальных воинов. Маги Харанда создали ориев. Живых вампиров. В результате войны — "эпохи крови" — Харанд погиб, покрытый "проклятием Нэре". Воздух над его территорией обжигающий и болезнетворный, земли населены мутантами и чудовищами. Солнечные лучи не могут пробить бурый облачный покров, из-за чего в Харанде всегда днем сумерки, а ночью глубокая темнота.

6. Искусственно созданная магами Харанда раса морских людей. Морскаты отказались от цивилизации, предпочтя заниматься пиратством и разбоем в тропических морях.

7. Обращение к женщине третьей касты.

8. Обращение к женщине второй касты.

(Окончание в следующем номере.)

Альма Наивны. Шесть сонетов

Альма Наивны — псевдоним профессионального музыканта из США, штат Вирджиния. Высшее образование получила в одной из лучших российских консерваторий. В России Альма Наивны училась и работала в Ростове-на-Дону, Морозовске, Ярославле, Новгороде.
В США профессиональная деятельность связана с миром оперы и духовной музыки.

Альма Наивны пишет стихи с 2015 и публиковалась в альманахе "45 параллель" (2015, 2016).
Также публиковалась под псевдонимом Ано Нимус.

Здесь переплелись фантазия и реальность, прошлое и настоящее. Сонеты, пронизанные болью любви.

Олеся Янгол

1

Вернулся нуклеарный ряд
Подпитанный у океана
Хоть волны на закат спешат
Но суша укоряет рано

Я снова в облаках обмана
Доверчивый невольно свят
Комфорта траурный обряд
Ненужная уже нирвана

Я возвращаюсь в этот твой
Мир в обертоновый распад
В твоем айфоне как я рад
В моем сознании домой

Мой дом где ты меня найдёшь
Там океан и летний дождь

2

Боль причиняя и печаль
Палач мой брат мой осмотрительней
Сквозь семь колен невинных зрителей
Возмездие прострелит даль

Но гильотины ль злая сталь
В руках небесно-строгих кителей
Иль у меня тебя похитили
Вбив слово никогда в хрусталь

В ретине вечный фокус молний

Зрак в паутинах золотых
Твой иней вечной мерзлоты
Проступит строже и безмолвней

Высь отпускет немоту
Снежинки тают на лету

3

В тиши мышиной шёпот глух
Но шорох слов проснется мир лишь
Я стансы толковать на инглиш
Прошу стеснительных старух

Мой пепел стал как белый пух
Ты слабых и убогих видишь
Живые мёртвым срежут финиш
Покуда прокричит петух

И ты сиянием войдёшь
И звоны счастья опрокинешь
Сквозь купола у града Китеж
Насквозь пролив их словно дождь

Я статуя в заветной нише
Здесь тихо сумрачно и мыши

4

Ты спрашиваешь how r you doin'
На языке непопаданий виртуальных клавиш
Я отвечаю через полсекунды травишь
Я нахожу что ты почти безумен

Я лишь архив мой образ умер
Ты ноосфера старый мой товарищ
Я негр и жид ты Swiss & Irish
Ты выше всяких бедных мумий

Я отгораживаюсь от сетей и рана
Не заживает мир устроен подло
Тусовка это та же кодла
Я жизнь вижу лишь с экрана

Я запираю вход блокируя в айфоне
Святую жизнь чудных полифоний

5

Все кончено конечно все насквозь
Я вижу через стекла и аллеи
Сквозь глаз потухшие дисплеи
Скорей запрись ну не срослось

Ведь я не в состояньи врозь
Я не могу ни чувств осколки
Ни слов фальцет дрожащий ломкий
Впустить и видеть изморозь

Там анатомия нежнейших рук
И солнце взглядов из-под век
И радиация у пережжённых рек
И атомный в излучьях звук

Пускай все к бесу словеса
Мне немота и слёз роса

6

Мне нужна твоя тихая пристань
Так нужна твоя милая заводь
Кверху брюхом кругами плавать
Книзу духом упасть со свистом

Ты хотел бы стать атеистом
Ты пытаешься вслух не плакать
Ты внутри абсолютная слякоть
Ты снаружи почти неистов

Между нами стена преграда
Телефон как греха эмблема
Ты запретный плод Эдема
И законный предлог для Ада

Я не буду тебе звонить
Золотая порвалась нить

Марина Некрасова. Чуррос с шоколадом. Рассказ

Родилась в Чите в 1971 году. Получила музыкальное и филологическое образование. Работала учителем в музыкальной школе, журналистом, преподавателем русского языка как иностранного. Кандидат филологических наук. В настоящее время преподаёт русский язык в Китае. Рассказы печатались в литературных журналах: «Встречи», «Дальний Восток», «Другой берег», «Зарубежные задворки», «Парус», «Сибирские огни», «Слово Забайкалья», «Сура». В 2016 г. в германском издательстве Za-Za Verlag (Düsseldorf) вышла книга «Шао! Линь… Сы?»

Марина Некрасова очаровала штрихами. Штрихами, которые создали картины жизней. Словно подсмотренные ненароком, случайно увиденные и зафиксированные подсознанием надолго. Тёплые, смешливые краски, то ли чуррос с шоколадом, то ли солнце, то ли переговоры героинь, недосказанность, а потом - рраз и холод. И что-то страшное, дикое, не признанное обществом бродит в закоулках сознания. Автор знает, о чём пишет, но ничуть не собирается сдавать свои знания читателю. Каждый из нас может найти свои кодированные видения и ассоциации и в чурросе, и в рассказах об отце, и в жизни хозяйки квартиры, колдовстве танца, гитары, футбольном, искусстве, писательском. Как-то много всего, но в намешанном зелье рассказа, чётко определённые ингредиенты, которые ожидают внимательного взгляда со стороны. И ещё возникла странная мысль, стоит ли ехать в чужую жизнь, даже если от снегов и ветров, даже, если там так не по-нашенски. Даже, если там шоко-ладно.

Ирина Жураковская

I

Они подняли длинные жалюзи и увидели город — большой, светлый, жаркий, с тёмными шапками чинар и плоскими крышами громоздящихся друг на друга домов.

Окно выходило на старую часть города. Дома здесь были тёплых жёлто-красных оттенков, от светло-песочного до цвета тёмного кирпича. Террасы и балконы домов густо заросли кустами и травами, а небо над ними сияло голубизной и, казалось, слегка звенело. Над всем городом мирно стелился этот звенящий солнечный свет, будто оберегая его от всего плохого, что могло случиться или случалось уже в прошлом.

Девушки смотрели на защищённый солнцем город через высокое и узкое, с пола до потолка, окошко.

— Почему они отправили нас в Мадрид? — наконец, спросила одна из них, не отрывая глаз от лежащего за окном города.

— Им просто хотелось куда-нибудь нас отправить, — ответила друга — К тому же Мадрид — любимый город отца, любимый город в самой любимой стране моего отца.

— Нашего отца.

— Конечно, нашего.

— Не знала, что Мадрид — его любимый город. Он часто бывал здесь?

— Отец? Ни разу не был в Мадриде.

— Наш отец.

— Наш отец. Он не был в Мадриде, но у него было отменное воображение.

— Лучше бы у него было отменное здоровье.

— И отменные заработки.

— И отменное поведение.

— Но у него было отменное воображение, и только.

И они замолчали, рассматривая старый город за стёклами. Если бы кто-то заглянул в окно с узкой террасы, опоясывавшей дом сплошной чертой на уровне пятого этажа, то увидел бы двух стройных босоногих девушек в ночных сорочках. Девушки были разными. Та, что выше — была кудрявой брюнеткой с очень короткой стрижкой, со смуглым миловидным лицом и густыми ресницами, до того длинными, что сейчас, у солнечного окна, под прищуренными глазами девушки трепетали тени. Другая была чуть ниже ростом и приземистее сложением — большеглазая шатенка с пышной шевелюрой до плеч, с маленьким ротиком и пухлыми розовыми губками. Девушки были разными, но тонкое сходство угадывалось в них, и если бы кто-то, стоя сейчас на террасе, хорошенько вгляделся в их лица, то заметил бы похожие чуть вздёрнутые носики, будто лепленные одним мастером круглые подбородки и те выразительные движения губ, которые непременно привлекали к себе внимание слушателей, если девушки говорили.

— Доброго дня, сеньориты!

Девушки обернулись, когда в комнату вошла хозяйка. Она была в ярком пунцовом халате, длинном, почти до пят, и когда она поставила на стол принесённый завтрак, широкие рукава халата попали под поднос. Хозяйка выставила на столешницу большое блюдо со стряпнёй, две широкие белые чашки с шоколадом, пару кофейных чашек, молочник, сахарницу и кофейник.

— Меня зовут Мария, — сказала она. — А это, знаете, что? — она поводила ладонью над блюдом с выпечкой. — Это чуррос, — она произнесла слово празднично и торжественно, как будто представляла девушкам своего приехавшего издалека родственника. — Ну, а это вы знаете — горячий шоколад, — она подтянула широкие чашки к краям стола, ставя их симметрично по разные стороны от блюда. — Чуррос и шоколад. Мы всегда едим это на завтрак. Только не ждите, пока всё это остынет.

Девушки неловко зашевелились, залепетав благодарности, стесняясь ночных сорочек, неумытых сонных лиц и неубранных постелей.

Но хозяйку окликнули.

— Мария! Мария? — из глубины квартиры послышался низкий и хриплый старческий голос.

— Иду я, иду, — крикнула женщина в дверь, суетливо махнула девушкам рукой, и поспешила из комнаты.

Мария была полной, тяжёлой женщиной с оплывшим лицом и отёкшими ногами. О таких женщинах говорят «постаревшая», а не «старая». Волосы её оставались ещё густыми и длинными, но уже сильно поседели и были стянуты на затылке в неряшливый хвост. Мария шумно дышала и шаркала обувью, когда ходила. И теперь девушки слышали её тяжёлые шаркающие шаги где-то в глубине квартиры.

— «Традиционный испанский завтрак», там было так написано, помнишь? — спросила та девушка, что была светлее другой и ниже ростом.

Они сели по разные стороны стола, и взяли по длинному хрустящему кренделькy с большого блюда.

— Кажется, это едят так, — сказала темноволосая девушка, макнула кончик кренделька в чашку с шоколадом и откусила.

Другая девушка сделала тоже:

— Вкусно, — промямлила она набитым ртом. — Интересно, эта Мария каждый день будет приносить нам чуррос?

— Посмотрим, — отозвалась другая девушка. — Какой яркий у неё халат!

— Да уж…

Из-за закрытой двери доносились возгласы двух женщин:

— Мария, Карлос уже уехал? — кричала старуха.

— Уехал, уехал! — отвечала старухе Мария.

— И Росарио?

— Да!

— А Чичо?

— И Чичо!

— А Лусия в лавке?

— И Лусия, и Мариса!

Где-то хлопнула дверь, и голоса стали звучать глуше.

— Господи, сколько же их там? — сказала девушка, что светлее и ниже ростом.

Смуглая девушка пожала плечами и потянулась за кофейником.

— Большая испанская семья, — ответила она, разливая кофе.

— Счастливая семья, — сказала другая девушка. Она подлила в кофе сливок и глотнула. — Всегда мечтала жить в большой семье: куча сестёр и братьев, есть с кем поболтать, поспорить. Но у меня всегда были только родители.

— А как же друзья?

— А что — друзья? Они живут в отдельных квартирах, и я вижу только краешек их жизни. А вот в семье мы все как на ладони, негде друг от друга спрятаться, хочешь не хочешь, а всем приходится доверять.

Смуглая девушка тоже отпила кофе.

— Не знаю, — она снова пожала плечами. — Мне всегда матери хватало. Мы вдвоём, и никто в целом мире нам не нужен.

— Это она так говорит, правда?

— Может быть. Но я и сама давно так считаю.

Светлая девушка щурилась, глядя за солнечное стекло.

— Может, и нам с мамой будет хватать друг друга, — сказала она.

Другая девушка встала из-за стола, порылась в дорожной сумке, что лежала на полу в углу комнаты, вынула оттуда тетрадку в пёстрой обложке и ручку. Она принесла тетрадку и ручку к столу, села на прежнее место, открыла тетрадку и аккуратно написала вверху страницы: «Чуррос с шоколадом».

Комнату всю заливало солнце. От его тепла и горячего шоколада девушек разморило. Завтрак Марии оказался сытным, они быстро наелись и теперь с трудом допивали кофе.

Светловолосая девушка, по-щенячьи чуть повернув голову набок и вытянув подбородок, прочитала запись в тетрадке и хмыкнула.

— Боишься забыть?

— Просто хочу запомнить.

— А я и так запомню. У меня хорошая память. И, кстати, у меня хорошее воображение. Как у отца.

— У нашего отца.

— У нашего…

Многоквартирный дом, куда на трое суток вселились девушки, стоял у маленькой площади в старом районе Мадрида. До центра отсюда было рукой подать — это они поняли, когда нашли и дом, и площадь на карте.

Девушки вышли на площадь перед их домом. Здесь город уже не выглядел защищённым странным солнечным звучанием. Это был обычный город, в котором жили и работали люди: ездили автобусы и машины, ходили пешеходы, работали магазины, конторы, парикмахерские и кафе. Но солнца, всё-таки, было много, и девушки,

не привычные к такому обилию зимнего солнечного света, достали из рюкзачков солнцезащитные очки.

— Обходим эти дома, а потом идём вправо, пока не упрёмся в главную площадь.

— А это библиотека, смотри-ка.

— Древняя развалина.

— Совсем древняя. А внутри, наверное, компьютеры стоят.

— Здорово они придумали: в такую рухлядь новые стёкла вставить.

Снаружи здание городской библиотеки напоминало груду больших камней. Только новые и ярко освещенные изнутри стёкла, впаянные в расщелины между глыбами, да табличка у неброского входа подсказывали настоящее предназначение здания.

Девушки попытались заглянуть в одно из окон, но ничего не увидели.

— А они активно посещают эту развалюху, — сказала та, что выше ростом, оставив попытки рассмотреть что-то внутри библиотеки. — Пока мы тут смотрим, пятый человек проходит внутрь.

— Читающий, как мы, народ, — отозвалась другая девушка.

Они присели на камень и сквозь тёмные очки смотрели на тёплое небо. Рядом, у парапета, что тянулся вдоль площади, зазвучала гитара. Молодой парень, сидя на походном складном стульчике, перебирал струны, будто решая для себя, каким будет мотив начавшегося дня.

— Тоже любишь читать? — спросила девушка, что выше ростом.

— Люблю, — сказала другая. — Особенно рассказы. Особенно такие рассказы, где тебя ведут простыми диалогами и сценами, и эти диалоги и сцены кажутся тебе пустыми и ненужными, но ты всё-таки читаешь их, а они ведут тебя и ведут мимо чего-то главного, чего ты совсем не замечаешь, а потом ты понимаешь вдруг это главное, и рассказ кончается, и тогда все глупые диалоги и сцены забываются, а главное остаётся с тобой.

— И где ты находишь такое, — сказала девушка, что выше ростом. — А я не люблю рассказов. Они слишком короткие, а мне нравится долго-долго быть там, куда посылает книжка.

Они помолчали, слушая гитариста. Рядом остановились две пожилые женщины, и одна из них была в очках с очень толстыми стёклами, за которыми глаза женщины смотрелись до смешного крошечными. Обе женщины кивнули девушкам, словно старым знакомым, а та, что была в очках, улыбнулась, будто бы понимая, какими смешными выглядят за стёклами очков её глаза и приглашая девушек вместе с ней посмеяться над ними.

Гитарист заиграл испанскую мелодию — грустную, медленную и плавную, и все повернули лица навстречу звукам.

— А он любил читать? — спросила темноволосая девушка, когда гитарист заиграл что-то другое.

— Наш отец? Да, — ответила та, что светлее.

Обе девушки смотрели на гитариста и разговаривали, не глядя друг на друга, как разговаривали ранним утром, стоя в ночных сорочках у высокого и узкого окна.

— В последнее время он всё больше читал, он совсем не играл на гитаре, — сказала светловолосая девушка, и добавила: — На моё счастье.

— Ты злая, — равнодушно бросила старшая.

— Просто говорю правду. Пойдём?

Они слезли с камня, и пошли переулком вправо от библиотеки. Все другие дома вокруг площади были жилыми. Все они были старыми, на уровне каждого этажа опоясанные сквозными узкими галереями с чёрными перилами, а потому напоминали общежития.

— Это корралас, — объяснила темноволосая девушка. — Традиционные мадридские дома. В корралас до сих пор живут небогатые коренные мадридцы. Говорят, у них тут даже язык свой.

Девушки миновали кварталы весёлых корралас, и свернули вправо. На повороте к проспекту и площади Солнца стоял косматый чернокожий парень в наушниках, короткой лёгкой дублёнке и грязных джинсах. Он что-то сказал девушкам, когда они проходили мимо, но его слов они не расслышали.

— Он предлагал наркотики? — предположила высокая девушка.

— Зачем представлять худшее? — возразила другая. — Может, он просто сказал нам, что мы красивые. Отец говорил, что все его дочери — писанные красавицы.

— Наш отец. Хочешь сказать, таких как мы — много?

— Не знаю. Мне известна только ты.

— А мне — ты.

— Было бы ужасно видеть здесь сейчас ещё троицу таких как ты.

— Или таких как ты.

И девушки рассмеялись.

На площади Солнца было оживлённо. Люди куда-то спешили, выныривали из выходов в метро и исчезали во входах, хлопали дверцами кафе и магазинов. Клоун в белом костюме смешил окруживших его прохожих, у фонтана цыганка раскладывала карты на пластиковом столике, девушки в ярких футболках, надетых поверх свитеров, раздавали рекламные открытки новой кондитерской, а у статуи медведя с земляничным деревом выстроилась очередь желающих сфотографироваться туристов.

Девушки пересекли площадь, пошли дальше по пешеходной улице, и скоро наткнулись на кафе, где вечерами давали спектакли фламенко: кусок стены у входа был выложен жёлтой керамической плиткой с силуэтом танцующей пары.

— Мы ведь хотим увидеть фламенко? — спросила одна девушка другую.

— Хотим. Только не стоит, думаю, смотреть фламенко в самом туристическом центре. Наверняка, туристам показывают дрянь.

— Поищем другие сцены, а эту запомним. На всякий случай. И билеты купим. А если не найдём ничего получше, придём сюда.

— В последний вечер?

— Ага.

Девушки постояли немного у входа в кафе, внимательно изучая то, что было написано на афише. Она была небольшая, с альбомный лист, и вокруг неё на стене остались следы от других афиш. Было ясно, что на сцене кафе выступают разные труппы. Но здесь всегда исполняли фламенко: это доказывала картинка на кафеле. Рисунок на жёлтой

кафельной плитке напоминал шоколадную или конфетную обёртку: слишком уж неестественны были позы танцоров и приторны цвета их нарядов.

— Её платье тем же цветом, что халат нашей хозяйки, — заметила темноволосая девушка.

Они купили билеты, а потом пошли по людной торговой улице, направляясь к широкой Гран-Виа. Народу здесь было очень много. Разговаривать в таком столпотворении было трудно, и девушки возобновили разговор, только пройдя несколько кварталов.

— А ты музыку любишь? — спросила темноволосая девушка.

— Терпеть не могу. Точнее, терпеть не могу ту музыку, о которой ты спрашиваешь.

— Звуки гитары?

— Ага. Все эти раздирающие уши пассажи, струнный треск — внезапный, дикий, будто случилось что-то, а потом тоскливый мотив…

Темноволосая девушка рассмеялась:

— Бедная, что ты слышишь!

— Говорю же тебе, у меня хорошее воображение. По-моему, лучше уж быть глухой.

— Сплюнь, — темноволосая хлопнула спутницу по руке. — Хочешь сказать, что он не учил тебя играть на гитаре?

— Пытался. Только я упёрлась: ни за что. А ты играешь?

— Немного. Классику. Испанская музыка не по мне. Но я хочу послушать настоящее фламенко в Мадриде. Ты ведь не против?

— Мы же решили: пойдём в последний вечер. Вообще-то тебе необязательно стоить из себя строгую старшую сестру.

— Я не строю. Хотя, вообще-то, я и есть старшая сестра.

— Ты старше меня всего-то на год, и это не даёт тебе никаких особенных прав.

— Чего ты заводишься? Я требовала особенных прав?

— Тогда скажи, что мы не будем ходить по всем этим достопримечательностям, которые ты выписала в свою тетрадь.

— Это твой отец научил тебя читать чужие тетради?

— Наш отец.

— Наш отец.

— Извини, — младшая девушка коснулась локтя старшей. — Ты оставила её на столе раскрытой.

Они молча дошли до конца очередного квартала.

— Вообще-то меня совсем не интересует твоя тетрадь, — заговорила младшая девушка, когда они остановились у светофора. — Просто я ненавижу осматривать достопримечательности.

— Никто тебя не заставляет.

— Я уже извинилась, хватит дуться.

— Мы должны провести здесь всего три дня. И эти три дня я не хотела бы ссориться, — сказала старшая.

— А мы и не будем ссориться, — согласилась младшая. — Только ходить по достопримечательностям мы тоже не будем, ладно?

И она так просительно заглянула в лицо своей спутницы, что обе они рассмеялись.

Вечер спустился в Мадрид мягко и незаметно. Сначала унялось не по-зимнему горячее солнце, витрины магазинов и стёкла домов перестали отбрасывать в лица прохожих солнечные блики, а чёткие тени от стволов каштанов и фонарных столбов стёрлись с тротуаров. Уличные кафе и рестораны наполнились посетителями, на столиках появились белые скатерти, вокруг столиков засновали официанты в белых колпаках и фартуках. Не больше часа шло превращение дневного города в вечерний, а к его окончанию Мадрид стал совсем другим — с жёлтыми фонарями и свечками в ресторанах, с тёмным беспокойным небом над крышами, с толпами молодёжи у входов в тесные бары.

И площадь перед многоквартирным домом поздним вечером смотрелась иначе. На площади было шумно, полно говорливого люда.

Когда они вернулись домой, то обнаружили опущенные на окно жалюзи.

— Наверное, Мария окно закрыла, — сказала темноволосая девушка.

— Может, его нельзя оставлять открытым? — предположила другая. — С этой террасы сюда можно влезть из любой другой квартиры. Странные дома.

— Корралас — типичные жилые дома старого Мадрида. Я в интернете читала. Испанцы делали общие узкие балконы, что удобнее было болтать по вечерам с соседями.

— На эти балконы и окна, и двери выходят. И что-то на них никого не видно.

— Зима. Холодно.

— Да, прохладно. Не верится, что днём было так много солнца.

— Мне совсем ни во что не верится. Не верится, что мы здесь. Не верится, что его нет. Не верится, что ты есть.

— Давай спать.

— Давай.

— Спокойной ночи.

II

Утром Мария снова принесла в комнату кофе, шоколад и блюдо со свежим горячим чурросом. Девушки завтракали, слушая похожий на перебранку разговор Марии со старухой. В этот раз голос старухи звучал менее отчётливо — наверное, та выкрикивала свои вопросы из-за закрытой двери. Зато ответы Марии слышны были девушкам замечательно.

— Чичо у фермера! Сегодня он привезёт в лавку свежую клубнику.

— И Лусия!

— Лусия и Мария первыми уехали, я тебе говорила…

Солнце назойливо лезло в высокое окно, будто огромного города ему было мало.

— Эта старуха, видимо, её мать, — сказала старшая девушка, допив кофе и подтягивая к себе тетрадь, так и оставленную со вчерашнего дня на столе раскрытой.

— Наверное, — согласилась её сестра, присматриваясь к тому, что та пишет. — Слушай, ну зачем ты снова это повторяешь?

— «Чуррос с шоколадом»?

— Ну да.

— Тебе неприятно?

— Просто не понимаю.

— У тебя же хорошее воображение?

— Тебе трудно ответить?

— Нет смысла. Поэтому — лень отвечать. Какое тебе дело? Через два дня мы уедем отсюда, и ты снова забудешь о том, что где-то существую я.

— Ты тоже. И мы решили не ругаться.

— Мы не ругаемся.

— Не ругаемся. Знаешь, если ты хочешь, я даже согласна осмотреть какую-нибудь скучную достопримечательность. Просто для того, чтобы ты не писала на каждой странице одно и то же.

— Какие жертвы!

— Мы решили не ругаться.

— Мы и не ругаемся. И если ты сегодня такая добрая, давай хотя бы картины в Прадо посмотрим? А то приедем из Мадрида, а сказать о нём будет нечего.

— Мадрида мы в любом случае не узнаем. С их стороны это была глупая идея — отправить нас сюда на три дня. Ни Испании мы не узнаем, ни испанцев.

— Это точно, — согласилась темноволосая девушка. — К тому же, мы ни с кем не разговариваем, кроме этой бедной, замученной семейством Марии.

— Мы ещё друг с другом разговариваем.

— Ну да. А ещё с нами разговаривает тот чернокожий на перекрёстке…

На маленькой площади у дома мальчишки пинали футбольный мяч. Булыжник был влажным, недавно обмытым водой из поливальной машины, и площадь слегка парила под солнцем, а кое-где темнели пятна луж. Толстый светловолосый мальчуган пнул мяч курчавому черноголовому приятелю, тот ловко его принял и помчался с ним поперёк площади, увиливая от двоих атакующих мальчишек чуть выше его ростом и, судя по всему, постарше возрастом. Старшие мальчишки почти нагнали маленького курчавого, но тот движением ступни подбросив мяч вверх, запрыгнул на парапет, что отделял площадь от проезжей части улицы, там поймал мяч, пробежал, не отпуская мяча, по всему длинному парапету, и, всё так же вместе с мячом, спрыгнул на другом углу маленькой площади.

Девушки застыли, провожая мальчишку взглядом.

— Мяч к его ноге как магнит к железке липнет, — зачарованно проговорила младшая девушка. — Вырастет, и станет знаменитым футболистом.

— А может, станет пьяницей и наркоманом, будет приставать к прохожим, как тот косматый тип, — возразила старшая.

— Ты во всём видишь плохое. Он станет футболистом, как Торрес или Вилья.

— Ты знаешь имена футболистов?

— Мы часто смотрим футбол. С отцом. Смотрели.

— С нашим отцом. Он болел за испанцев?

— Ещё бы! Мадридский «Реал» — любимец на все времена.

— А мы с мамой фигурное катание любим.

— Моя мама тоже фигурное катание смотрит, но я больше футбол люблю — в нём столько азарта! Смотри, ты в лужу наступила! Пойдём уже к твоим картинам.

— Здесь недалеко, не волнуйся, — сказала старшая девушка, когда они пошли краем площади на переулок, что вёл к аллее Прадо.

— Расстояния меня как раз не пугают, — отозвалась младшая, когда они свернули в переулок. — Хочу ходить под этим мадридским

солнцем до потери сознания, потому что когда мы вернёмся в Москву, там будет серо, холодно и сыро.

— Кто-то говорил, что я во всём вижу плохое! Может, в Москве будет райская погода?

— В феврале? Не смейся! Там будет низкое тяжёлое небо, и мне будет казаться, что оно вот-вот свалится прямо на меня, а ветер будет с мелким колючим снегом, а дороги покроет мокрая грязь, и в ней будут застревать мои новые сапоги.

— У тебя, и правда, хорошее воображение.

— Завидуешь?

— Да нет. Может, без него лучше.

— К старости узнаем.

— Когда будем такими, как старуха Марии?

— Ага.

— Тогда нам не до воображения станет.

— Наверное.

Старшая девушка остановилась:

— Фуух.

Они шли переулком, который круто взбирался в гору. По обе стороны от них, плотно прилегая друг к другу, высились старые каменные дома. Подъём был таким крутым, что ещё пару раз девушки останавливались, чтобы отдышаться. А как только подъём закончился, они оказались на широкой аллее, усаженной дубами и каштанами.

Старшая девушка резко повернулась:

— Прадо, — объявила она, показывая на сереющее сквозь деревья здание…

Они думали, что проведут в музее часок, но картины задержали их до позднего вечера.

— Все эти Марии… Они одинаковые, тебе не кажется? — шёпотом спрашивала одна девушка другую.

— Я как раз хотела сказать, что все они разные, — шёпотом отвечала вторая. — Эти художники будто соревновались, придумывая разных Марий…

— То есть, да, я хотела сказать, они разные, но у них у всех один общий секрет.

— Какой?

— Откуда я знаю?

Они ходили по музейным залам, не замечая, что говорят уже в полный голос. Но посетителей в тот день было немного, и только смотрительница в галерее живописи 17 века обратила на девушек внимание: очень уж трогательно выглядели задранные головки девчонок, глазеющих на лица женщин из прошлого, в то время как лица в картинных рамах спокойно созерцали их.

«Что-то все они скрывают», — думала девушка, что ниже ростом, всматриваясь в лица на холстах. «Где они берут этот красный?» — думала та, что выше.

— Ой, она так смотрит, как будто тоже заметила нас, — сказала младшая девушка, показывая на девочку Веласкеса, когда они вошли в очередной зал.

— Траурный чёрный… Но этот красный! — продолжала старшая, думая о своём. — Кровавый цвет. Как будто макали кисть в банку с кровью…

Возвращались они широким бульваром, названия которого в темноте было не разглядеть. По обе стороны высились жилые дома с высокими узкими окнами, а газоны вдоль дороги усажены были каштанами и дубами. Упавший жёлудь попался девушкам под ноги, и младшая пнула его носком сапога, а старшая подхватила игру, и до самого отворота к переулкам у площади под их домом они гнали перед собой сухо цокающий по асфальту жёлудь.

Чернокожий парень стоял у парапета площади, на этот раз в руках у него была жестянка с пивом. Он снова что-то сказал, когда девушки проходили мимо, но они опять не расслышали.

— Вряд ли он говорит, что мы красивые, — сказала старшая девушка, когда они прошли мимо парня.

— Какая разница, что он говорит, — возразила младшая. — Главное, что ты слышишь.

— Это неправильно. Если я буду так думать, то увижу кривой, «неправдашний» мир, — сказала старшая, вынимая из сумочки ключ от двери в подъезд.

— Ладно, тогда пойдём, вернёмся и спросим, что ему надо, — предложила младшая.

— Нет, ну его, — старшая девушка на миг задержала руку на замке, но потом решительно открыла дверь и втолкнула свою спутницу в подъезд. — Темно, и нет почти никого. И вообще, спать пора, поздно.

— Вот видишь, значит, другого выхода у нас нет, — победоносно заявила младшая девушка, и они пошли вверх по ступенькам, стараясь не топать и с каждым шагом всё сильнее чувствуя, как за день устали ноги.

Вечером они долго лежали на кроватях и не могли уснуть. В соседней комнате или в другой квартире назойливо бубнил телевизор, а на террасе за их окном хлопал тканью разыгравшийся ветер.

— Ты тоже видишь картины, когда закрываешь глаза? — спросила старшая девушка.

— Ага, — зевнув, отозвалась младшая. — Нельзя так долго гулять в музеях.

— Точно.

Они помолчали, пытаясь уснуть и слушая ветер.

— Слушай, а что если она его придумала? — спросила младшая девушка.

— Кто?

— Мария на картинах художников. Что если она всего лишь выдумала его, а? И в этом её секрет.

— Ты что?

— А что?

— Нельзя говорить такое.

— Почему?

— Не знаю, но говорить такое — нельзя.

— Какая ты, — в голосе младшей девушки послышалось раздражение, — …правильная. Ничего страшного я не сказала. Кто-то ведь подарил людям веру. Это она. Поэтому она — главная. Это и на картинах видно. Разве я не права?

— Может быть, только давай не будем говорить об этом, мне кажется, не надо об этом говорить. И мне тебя страшно слушать.

— Хорошо, трусиха, — сказала младшая девушка, и, помолчав, зевнула и добавила:

— Спокойной ночи.

Телевизор всё бубнил где-то, а ветер не наигрался ещё тентами на балконах. Девушки лежали, слушая звуки чужого им города, и никак не могли уснуть.

— Когда он бросил гитару? — спросила старшая девушка.

— Когда сыграл «Аранхуэс» в нашем ДК.

— «Аранхуэс»?

— Знаешь эту музыку?

— Она классная. Хорошо сыграл?

— Я не ходила, никогда не ходила слушать его. Но все говорили, что он сыграл здорово. И сам он доволен был.

— А потом?

— А потом ему принесли запись. Видео. И он послушал. А потом он послушал, как этот концерт Пако де Лусия играл.

— Король испанской гитары?

— Знаешь его?

— Моя любовь.

— Когда он послушал ту запись, он сказал, что «Аранхуэс» играют миллионы гитаристов, но только один сыграл его по-настоящему. А ещё он сказал, что фламенко играют все, но настоящее фламенко могут играть только испанцы. И больше он гитару в руки не брал.

— На твоё счастье, да?

Они помолчали, слушая диалог телевизора с ветром, потом старшая девушка спросила:

— Ты думаешь, если бы он не бросил гитару…

— Не знаю, — перебила её младшая, — он никогда себя не берёг, да и других тоже.

Они снова помолчали, а потом старшая девушка сказала:

— Это глупо. Каждый имеет право играть музыку по-своему.

— Я тоже так думаю, только…

— Только он в этом смыслил побольше нашего?

— Да.

Они помолчали, слушая ветер, а потом младшая девушка сказала:

— Если честно, когда-то я хотела научиться играть, как он. Но это rasgiado, glissando…

— Больно пальцы, — закончила старшая девушка.

— Да, — согласилась младшая и приподнялась на локте, словно вспомнила что-то важное. — А ещё я стеснялась играть rasgiado, потому что когда месишь эти круги над струнами, так смешно голова трясётся.

Старшая девушка коротко прыснула.

— А, может, я хотела, чтобы он гордился мной, — сказала младшая и снова легла на подушку.

— Наверное, я тоже этого хотела, — ответила старшая девушка. — Наверное, я хотела, чтобы он гордился мной больше, чем тобой.

— Но я не могла играть фламенко: не получалось драть струны, как драл он, и при этом не чувствовать в пальцах боли.

— Может, надо её чувствовать?

— Но он всегда улыбался, когда играл, помнишь?

— Может, он улыбался и чувствовал боль?

— Чушь. Они играют и совсем ничего не чувствуют. Они не помнят ни о струнах, ни о пальцах. Все эти гитаристы.

— Ты видела деку Пако де Лусии?

— Вся исцарапана?

— Ага.

— У отца она тоже была такой.

— У нашего.

— Ну да. Мне кажется, испанская музыка — это не просто звуки.

— Ты сегодня меня пугаешь, — сказала старшая девушка. — Давай закончим этот странный разговор.

— Давай, а завтра узнаем, наконец, что такое фламенко.

— И забудем о нём, правда?

— Да.

— Когда они выключат, наконец, свой телевизор?

— Не говори. А хорошо, что отец не был матадором, а то нам пришлось бы идти смотреть, как убивают бедных быков.

— Наш отец. И ты, всё-таки, злая.

— Мне просто быков жалко.

— Спокойной ночи, — и старшая девушка укрылась с головой одеялом.

— Спокойной ночи.

III

Утром они ели чуррос с шоколадом, и когда темноволосая девушка записала в тетрадке эти два слова, другая девушка ничего не сказала ей, а только ухмыльнулась неслышно.

— Какой яркий у неё халат, — сказала она, когда за хозяйкой закрылась дверь.

— Кровавый испанский красный, — отозвалась другая девушка, пододвигая ближе к себе чашку шоколада.

— Как вино и картины Гойи.

— Как мулета в корриде.

— Как костры инквизиции.

— Мы всё драматизируем.

— Но это, и правда, так.

Где-то хлопнули дверью, и из глубины квартиры понеслось:

— Мариса в лавке?

— Давно!

— А Чичо?

— Самый первый уехал! И Лусию увёз, она ногу вчера подвернула!

Девушки слушали перекличку Марии со старухой, макали чуррос в шоколад, ели и пили кофе.

— Как ты думаешь, — сказала младшая девушка, — эта Мария счастлива?

— Откуда мне знать, — ответила старшая. — Выглядит усталой, но довольной жизнью. А когда ты говоришь «Мария», мне представляются те картины и ещё то, что ты вчера ночью сказала, и становится не по себе. Почему её так зовут?

— Ну и трусиха же ты. Многих зовут Мариями. Такое имя.

— Самое распространённое в Испании.

— И не только здесь. Мою подругу так зовут, и её маму, и бабушку, у них все женщины в семье — Марии, представляешь?

— Это жутко неудобно.

— Ничего, они справляются.

— А Мария тоже была простой бедной крестьянкой. Та Мария, – сказала светловолосая девушка.

Они посидели, молча доедая остывший и сразу подсохший чуррос.

— Мы ни разу не слышали, чтобы наша Мария смеялась, — снова сказала девушка со светлыми волосами.

— Мы здесь только по утрам, когда она вокруг старухи хлопочет, да по вечерам, когда во всём доме спят, — ответила девушка, что темнее.

— А, знаешь, мне легко представить её танцующей или поющей, — сказала младшая девушка, глядя в окно.

Вторая девушка тоже посмотрела в окно, как будто там, за узкими высокими стёклами, видна была танцующая или поющая Мария.

— Да, ты права, — сказала она. — Хотя и толстовата эта женщина для танцев.

— Просто испанцы — они такие.

— Легко меняются?

— Легко меняют себя.

— А, может, нам только так кажется.

— Может…

На старой площади перед домом было солнечно и тихо. Какой-то мужчина сидел на парапете и читал газету, другой, постарше, гулял с чёрным пуделем на длинном поводке, а в центре площади женщина держала за капюшон куртки малыша, толкавшего свою коляску.

— Сегодня он нас не заметит, — сказала смуглая девушка, кивая в сторону чернокожего парня на перекрёстке.

— Пойдём туда, куда ещё не ходили? — спросила та, что меньше ростом.

— Тогда налево, — ответила другая. — А значит, пойдём к Аточе. Один из самых красивых вокзалов мира. Хотелось бы посмотреть.

— А потом к набережной, ты обещала, что мы речку увидим, — напомнила светловолосая.

— А по пути посмотрим парочку площадей…

Они миновали несколько незнакомых переулков, где дома тоже стояли близко друг к другу, сплошной стеной, а тротуары были такими узкими, что идти по ним мог лишь один прохожий, и если кто-то шёл девушкам навстречу, они уступали дорогу, спрыгивая с тротуара на проезжую часть.

— Здесь все окна, как двери, заметила? — спросила старшая девушка.

— Это и есть двери, — ответила младшая, и они остановились под большим домом, сплошь усеянным высокими узкими окнами, похожими на дверные входы.

— Двери куда-то ведут, а эти — только на откос выходят.

— Ладно, пусть будут окна. А установщики окон и дверей здесь хорошо зарабатывают.

— Ага.

— А всё-таки с их стороны это было глупо: отправить нас сюда на три дня. За три дни мы ничего не поняли — ни о стране, ни об этом народе.

— Может, это как окна и двери? Не можешь войти — так глянь хоть одним глазком?

Они пошли дальше, в сторону Аточи, и по пути остановились у памятника Гансало. Вокруг постамента по траве разгуливали неизвестные девушкам сизо-голубые птицы, и какой-то парень в спортивном костюме, лёжа на животе, пытался сфотографировать их.

— Смотри, он бросает горящий факел, а этот к нему крадётся, — сказала младшая девушка шёпотом.

— Гансало — герой какой-то войны. Пойдём, — и старшая потянула её за руку.

Навстречу девушкам прошли семеро музыкантов с гитарами. У двоих гитары были совсем маленькими, размером со скрипки, и они несли их под мышками, как носят портфели или книги. У других были гитары обычных размеров, уложенные в чехлы. А один из музыкантов, самый низкий ростом, катил огромную гитару на тележке с колёсиками — в таких тележках хозяйки возят овощи с рынка.

— А что бы ты хотела понять? — спросила темноволосая девушка, когда группа гитаристов скрылась за углом здания.

— Не знаю. Ну, хотя бы это их фламенко, — другая девушка махнула рукой в сторону исчезнувших из вида музыкантов. — Зачем это им? Зачем они струнами раздирают души? И зачем они смотрят в глаза бегущих на них быков? Зачем весь этот накал, эта жуть? Почему бы не жить спокойно?

— Может, их прошлое не даёт им покоя?

— Костры и ведьмы?

— Ну да.

— В истории людей полно крови.

— Поэтому люди рвут струны и строят храмы.

— Наверное.

Они прошли по залитой солнцем площади, потом по другой, поменьше, где торговали цветами в горшках и букетами и где от этих цветов сильно пахло, потом мимо больших магазинов на людной улице, по другой улице — узкой, с закрытыми ещё вечерними кафе, где в тот час столики были убраны составлены в углы один на другой, и посетителям отпускали только кофе и шоколад, которые люди пили на ходу или задерживаясь у стоек, и очутились на большом рынке, где было много овощей и фруктов в глубоких корзинах и жёлтых фанерных ящиках, а на прилавках лежали охапки зелени.

— Сколько красок! — воскликнула девушка, что светлее.

И они пошли между прилавками, рассматривая фрукты и овощи.

— Слушай, может, все они здесь? — спросила брюнетка.

— Кто?

— Ну… Лусия, Мариса…

— И Чичо? Может быть. А мы их увидим: завтра. У нас ведь в семь утра самолёт.

— Да, закажем такси на пять часов.

— Встанем, и всех увидим. Наверное, они на Марию похожи.

— Она красивая.

— Да ну?

— Красивая. Ты присмотрись завтра! Только она состарилась рано.

— Её жизнь состарила.

— Да уж, прокорми-ка такую ораву! Весь дом на ней, да ещё больная старуха.

— Давай, подарим ей что-нибудь на память?

— Не фрукты же! Может, купим на той площади букет цветов?

— У меня все площади в голове смешались. Их так много.

— Я помню цветочную. Недалеко от того кафе, где фламенко.

— Давай, купим.

— Вечером, после спектакля.

Они побывали на красивом вокзале, где зал ожидания похож на уютную оранжерею, полежали на лавках в главном городском парке, глядя, как маленькая девчонка с длинными косами училась ездить на велосипеде, пообедали в увешанной футбольными плакатами трапезной вкусной картофельной запеканкой и салатом с сыром и свежими помидорами, которые решили запить свежим фруктовым соком, но его оказалось так много, что девушки его не допили, а бутылки спрятали в рюкзаки.

Они долго шли по набережной реки Мансанарес, где совершали свои пробежки любители спорта, где на газонах была пожухшая зимняя трава и стояли детские турники и качели, а у мелководья сидели рыболовы. От набережной они пошли к знакомым улицам через шахматный мост и сфотографировались в обнимку с фигурами: старшая девушка — с конём, а младшая — с королевой.

Когда девушки вернулись к туристическому центру, кругом было такое столпотворение, что им пришлось идти молча, стараясь не терять друг друга из виду. Только на площади Испании им удалось немного отдохнуть, примостившись на краю газона. Они сели на пожелтевшую траву, вытянули ноги и стали допивать фруктовый сок из бутылок.

— Ещё один знаток воображения, — сказала темноволосая девушка, кивнув на памятник.

Солнце ослабло, девушка сняла очки и убрала их в рюкзак.

— Ты про Дон Кихота? — спросила другая девушка, тоже снимая очки.

— Про Сервантеса и его Дона Кихота, — ответила старшая девушка. — Какой сок вкусный.

— Вкусный, — согласилась младшая, опустошая бутылку.

— Придумал же: с ветряными мельницами сражаться, — продолжала старшая.

— Люди только это и делают.

— Маленькая ты так говорить.

— А ты большая?

— Не заводись, — старшая девушка посмотрела на часы, и вскочила:

— Опаздываем! Через полчаса начнётся!

И девушки, схватив рюкзаки, помчались к улице с кафе-театром.

Через толпу было трудно продвигаться быстро. К тому же толпа была праздной: девушки то и дело натыкались на шумные компании, которые нужно было обходить, стараясь не потерять направления, а на одном из уличных переходов девушкам пришлось переждать процессию барабанщиков.

Когда они пришли в кафе, почти все места в нём были заняты, и они порадовались тому, что заранее купили билеты. Они сели за ближайший к сцене столик и тогда только перевели дух.

Перед столиками, скрытыми в полутьме ночного освещения, находилась небольшая — метров десять длиной — невысокая сцена, вдоль неё у стены стояло пять простых деревянных стульев, а больше ничего не было. Маленькая сцена была ярко освещена обычными лампами.

Старшая девушка оглянулась и заметила, что публика в полутёмном и тесном зале собралась самая разная. Было много иностранцев, некоторые девушки были очень красивыми, дорого и нарядно одетыми. Официанты разносили по столикам вино в высоких бокалах, но девушки отказались и попросили сок, и когда официант удивлённо поднял брови, а потом кивнул, старшая девушка почувствовала себя неуютно среди этих незнакомых людей и пожалела, что не надела новую блузку и не накрасила губы помадой.

Артистов было пятеро. Они вышли, поклонились, сели на стулья, и представление началось. Ближе всех к девушкам сидел молодой гитарист, у него было красивое лицо с очень печальными глазами, следующим был певец — немолодой, некрасивый и очень толстый, а остальные — две женщины и мужчина — были танцоры, одетые в обычные для фламенко костюмы ярких расцветок.

Заиграла гитара, и ладони сидящих на стульях танцоров взяли очень чёткий, напряжённо-натянутый ритм. Танцоры отбивали ритм, вытянув руки и ни на минуту не опуская их, будто эти люди удерживали руками единую ткань, которая из прозрачной становилась всё более настоящей, весомой и видимой, а потом звуки гитары стали рисовать по этой ткани узоры, они нанизывались на этот живой, особенный ритм, исходивший из трёх пар горячих ладоней.

Певец затянул первый запев канте, его толстые губы странно скривились, будто ему было больно издавать звуки, старшая девушка украдкой взглянула на младшую, и увидела, что та не смотрит на певца, а только неотрывно смотрит на гитариста. В песне всё сильнее чувствовалось страдание, звуки превращались в рыдание, вскрики и плач, а потом снова становились мелодией. И старшая девушка уже не думала о публике и о другой девушке, сидевшей рядом, а только смотрела на улыбавшегося нежной мелодии гитариста, на его красивые, сведённые к переносице брови, и на рот толстого певца, а потом вышла танцовщица, и тогда уже все могли смотреть только на неё одну, и слушать глухие удары её каблуков, и видеть раскачивающие музыку гибкие её руки, и старшая девушка тоже смотрела на танцовщицу, на её горящие тайным светом смелые глаза, и девушка не заметила, как официант принёс сок и поставил на их столик, и не заметила, как прошло всё представление, которое длилось полтора часа, в течение которых танцоры по-очереди выходили вперёд, а ладони тех, кто оставался сидеть на стульях, не отпускали ритма…

Улица была совсем тёмной, и людей на ней уже не было. Девушки отошли от кафе, и присели на бортик выключенного на ночь фонтана. Отсюда им хорошо была видна мозаика из жёлтого кафеля у кафе, где давали фламенко. Ночной воздух был приятным — влажным и тёплым, и после душного кафе девушкам хорошо было просто вдыхать этот свежий воздух, сидя на пустынной улице.

— У меня этот ритм ушах, — сказала девушка, что светлее и ниже ростом.

— А у меня топот, — отозвалась другая. — По телевизору совсем другое показывают.

— Совсем.

— Там были поляны, и огни, и лошади… И страшные быки были… И те картины, помнишь.

— А я ничего не видела, кроме этих её глаз. Бешеные глаза! Но в какой-то момент я сама была этим чёртовым матадором. Хотя быка не было, но я чувствовала это — то, что чувствует он, когда смотрит в глаза быку.

— А потом — сразу — нежный мотивчик, помнишь? Виноград и вино в тени мандариновой рощи.

— Сумасшедшие испанцы.

— А эта старая танцовщица, самая первая… Ты видела? Она делала не то, что хотела, а то, что заставляла её делать музыка.

— Она была похожа на колдунью. Заколдованная колдующая колдунья.

— Точно, она заколдовала нас — всех, кто сидел в зале.

— Ведьма. Когда-то таких сжигали.

— А она теперь мстит за них своим взглядом из страшного прошлого.

— Мстит? Кому?

— Не знаю. Дьяволу, который иногда прибирает к рукам людей.

— Я никогда её не забуду.

— И я.

— У нас будет общее прошлое.

— Это хорошо или плохо?

— Не знаю, просто будет.

— Один удар каблуком, помнишь?

— Да, будто горы упали.

— Мне тоже казалось — землетрясение.

— Но взгляд её…

— Таким и убить можно. Хорошо, что она не смотрела на нас.

— Она ни на кого не смотрела.

— Смотрела на то, что никто не видит.

— Может, и с быками так?

— В корриде?

— Да, взглянуть в глаза своей смерти, побыть на равных с ней.

— Но остаться в живых.

— Победить.

— Всё это страшно. И потрясающе.

— Потрясающе. И я никогда больше не буду смотреть фламенко.

— Я тоже. Такое надо смотреть один раз.

— Перестань реветь!

— Он этого так и не увидел.

— У него было отменное воображение, ты забыла? Он видел больше, чем увидели мы.

— А тот гитарист, помнишь… У него была такая, точно такая улыбка…

— Не реви.

— Ты сама ревёшь.

— Это из-за тебя.

Из кафе вышел пожилой мужчина. Не заметив девушек, он запер снаружи дверь, что рядом с жёлтой керамической плиткой, и пошёл куда-то, повернувшись к девушкам спиной. Они посмотрели, как теряется силуэт мужчины на тёмной пустынной улице, а потом одна из девушек сказала:

— Пойдём цветы хозяйке покупать.

Девушки пошли по безлюдной улице в сторону, противоположную той, где жили. Машин на дорогах почти не было, а на дверях лавок и магазинов были опущены жалюзи. Девушки пришли на площадь, но та оказалась пустой, ни цветов, ни людей не было, только в глубине газона на скамейке расстилал картонки какой-то оборванец — устраивался на ночлег. Они развернулись и пошли обратно, в сторону многоквартирного дома.

Чернокожий парень на перекрёстке был не один, а в компании троих приятелей. Все они живо обсуждали что-то, громко смеясь и жестикулируя необычными танцевальными движениями плеч, голов, кистей рук, зажатых в кулаки.

— Почему мы с ним ни разу не поздоровались? — спросила младшая девушка, когда они миновали шумную компанию.

— Я думала поздороваться с ним сегодня, — ответила старшая. — Но сегодня ему не до нас. Мы всюду опаздываем. Вот и цветов не купили.

И обе они вздохнули, почувствовав, наконец, что смертельно устали и еле могут подняться на верхний этаж в свою комнату с узким высоким окном.

IV

Поднялись они затемно, когда корралас ещё спал. Пока младшая мылась в душе, старшая девушка собрала вещи, подошла к окну, подняла скрипучие жалюзи, а потом распахнула стёкла. Прохладный утренний воздух сразу ворвался в комнату, и девушка выглянула в окно навстречу ему.

В тёмном небе виднелись тусклые мелкие звёзды, а в домах почти нигде не было света. Над Мадридом было очень тихо, только внизу, справа от окна, мерно шаркала по булыжнику метла дворника. «Метёт в переулке у маленькой площади», — подумала девушка.

В дверь коротко постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошла Мария. Подноса в её руках не было. В одной руке она держала кофейник, а второй умудрялась удерживать за ушки и чашки, и сахарницу, да ещё сжимать мизинцем чайные ложки. Девушка бросилась помочь женщине поставить всё это на стол, но та справилась сама, и грузно села на ближний к ней стул.

— Твоя сестра ещё не готова? — спросила Мария.

— Сейчас выйдет, — ответила девушка. — А откуда вы знаете, что она — моя сестра?

— Вы похожи, — Мария снова удивлённо подняла брови и развела над столом руками. — И говорите вы одинаково.

— Одинаково плохо говорим по-испански?

— Ваши губы делают одинаковые движения, когда вы говорите.

Девушке вдруг захотелось рассказать Марии, как вчера они собирались купить для неё букет, и как вечером рынок оказался закрытым, но она подумала, как глупо всё это прозвучит, и ничего не сказала. Из душа вышла младшая, выпуская за собой похожий на утренний туман пар и смешно морща нос, отдувая с лица пряди волос.

— Сегодня только кофе, — вздохнула Мария. — Старухе ночью худо сделалось, пришлось бегать за врачом. Ничего, она молодец, оправилась. А я вот не выспалась совсем.

— Трудно держать большой дом и лавку? — спросила старшая девушка.

— Лавку? — Мария удивлённо подняла брови, но тут же на лице её обозначилось понимание.

Мария рассмеялась легко, открыто и громко.

— Нашей лавки лет десять как нет. Кто б в ней работал? Продали, когда уехал мой муж.

— Уехал? — переспросила старшая девушка.

— Уехал. Я и не знаю, куда, — Мария опять рассмеялась. — Зато знаю, за кем. Влюбился в одну танцорку. Он в театре работал. Глупая горячая голова. Но, между прочим, красивая.

— Ваши дети на него похожи? — спросила младшая девушка, потирая волосы полотенцем.

— Да, — ответила Мария, — очень. Особенно мальчики.

— Они ещё спят? — спросила младшая девушка, снимая с головы полотенце, отчего над головой её на мгновение тоже повисло смешное облако тумана.

— Кто?

— Лусия? Мариса?

— Карлос, Росарио?

— Чичо? — наперебой перечисляли девушки.

Мария снова легко и громко рассмеялась, а потом вздохнула.

— Семь лет назад Росарио погиб в автокатастрофе, — она ловким движением вынула из-под пунцового халата маленький медальон, щёлкнула застёжкой, открыв его, и показала девушкам крохотный снимок молодого черноволосого парня. Потом она улыбнулась ему, захлопнула медальон, поцеловала его и спрятала на груди.

— Мариса учится в университете, в Болонье, на будущий год закончит, — она говорила теперь очень быстро, и девушки едва успевали её понимать. — А Карлосу ещё три года учиться. Они на каникулы приезжают, на Рождество. Лусия давно живёт под Севильей, мы с ней разругались и не общаемся, а всё из-за её мужа — картёжника и пьянчужки. Но дети у них хорошие, чудные близняшки, я скучаю по ним, хорошо, что старуха о них не знает. А Чичо в Бразилии, у него там большая фирма, он у нас молодец, золотая головушка, и деньжатами мне помогает, жалко, что приезжает редко.

Младшая девушка сказала то, чего не стала говорить старшая:

— Мария, а мы вам цветов хотели купить, но рынок закрылся.

— Мне? — и она опять легко рассмеялась, и лицо её на мгновение стало совсем другим. — Только не мне! В моей жизни было слишком много цветов. Мой муж приносил мне букеты, которые дарили ему, почти каждый вечер. Наш дом был похож на клумбу. Некоторые цветы так пахли! От этих запахов я чихала. Самые пахучие букеты я выбрасывала на помойку тайком от мужа.

И все они засмеялись.

Мария оперлась большими ладонями о стол, будто бы ставя в разговоре точку, и тяжело поднялась со стула.

— Пойду, прилягу, пока не проснулась старуха. А вы к нам ещё приезжайте, ладно? Счастливо добраться!

— Спасибо вам! — разом ответили девушки.

Когда за Марией закрылась дверь, старшая девушка разлила по чашкам кофе. Потом они молча его пили, глядя в раскрытое окно.

— Ты вызвала такси? — спросила младшая, поёжившись на сквозняке.

Старшая посмотрела на часы, и ответила:

— Приедет через десять минут.

Они сделали ещё по несколько глотков, не проронив ни слова. Допив кофе, старшая девушка составила чашки одна в другую, а ложки опустила в верхнюю.

— Выходим? — спросила она, потянувшись за своей закрытой тетрадкой.

— Подожди, — младшая девушка выхватила у сестры тетрадку.

Она раскрыла её на чистой странице, разложила перед собой, взяла ручку и аккуратно написала на верхней строке листа: «Чуррос с шоколадом». Потом она захлопнула тетрадку, сверху положила ручку и придвинула всё это по столешнице к старшей сестре.

— Вот, — сказала она. — Теперь — пошли.

Они улыбнулись друг другу и энергично поднялись, разом громко скрипнув по полу стульями. Окошка они не закрыли. В раскрытые стёкла в комнату заглядывало нетерпеливое утро.

Такси подъехало к развалине библиотеке, став краем колеса на булыжник маленькой площади. На площади не было ни души, и чернокожего парня у дальнего перекрёстка не было. Когда девушки, бренча колёсами чемоданов, пересекали булыжную площадь, из окон многоквартирного дома полетели знакомые голоса.

— Мария, а Лусия в лавке?

— И Лусия, и Мариса!

— А Карлос?

И старшая девушка подумала, что, может быть, знакомые голоса ей только послышались, и ничего не сказала младшей.

Девушки впихнули чемоданы в багажник, захлопнули его дверцу, сели в салон, такси развернулось, подпрыгивая на булыжнике старой маленькой площади, и медленно покатило переулком мимо корралас с узкими высокими окнами.

Сергей Телюк о Юрии Влодове и Юрий Влодов о Мандельштаме

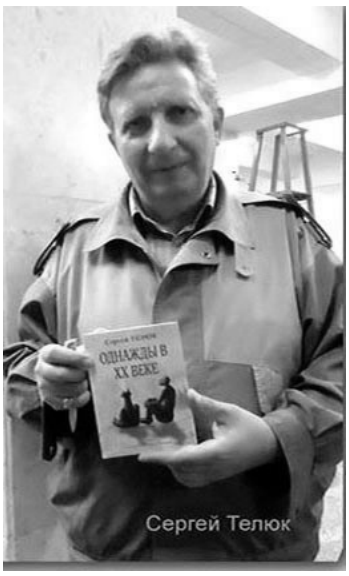
Юрий Александрович Влодов (1932 — 2009) родился в в г. Новосибирске в театральной семье. В детские и юношеские годы пережил войну, оккупацию, эвакуацию. Писать стихи начал лет с 7-8, вдохновленный творчеством Пушкина и Лермонтова. В конце 50-х И. Сельвинский, Б. Пастернак и К. Чуковский прочили ему большое литературное будущее. С предисловием Сельвинского в 1967 году вышла его подборка в журнале «Смена», за которую он стал лауреатом журнала.

Но литературная карьера у Юрия Влодова не сложилась, ряд антисоветских стихотворений, а также стихи с явной сионисткой направленностью привлекли внимание соответствующих органов. Стали знаменитыми такие его строчки, как «Прошла зима. Настало лето. Спасибо Партии за это!» и «Под нашим красным знаменем гореть нам синим пламенем!». В результате поэт попал в «черные списки», потерял возможность полноценно печататься, издаваться.

По договору короткое время работал в «Смене» и в «МК», а в постперестроечное время — в журнале «Юность». Печатался в «Смене», «МК» и «Юности», а также в журналах «Сельская молодежь», «День и Ночь», «Дети Ра», «Клуб», «Лесная новь», газетах «Труд», «Гудок», «Трибуна», «Советская Россия», в «Литературной газете», в альманахах и сборниках «Илья», «Истоки», «Приют неизвестных поэтов», «Тени странника», «Звоны над Вохной», «Эолова арфа».

Первая книга Влодова «Крест» вышла в 1996 году в издательстве журнала «Юность». Основная книга (точнее, многокнижие) «Люди и боги», над которой поэт работал всю жизнь, это — многостраничная эпопея о взаимоотношениях Бога и человека, о борьбе добра и зла в душах и сердцах людей. Также у Влодова есть большая книга стихов о войне, книга «Портреты» на историческую тематику, а кроме того, много лирических, иронических и философских стихов и поэм. О Ю. Влодове созданы два фильма, написано и опубликовано много статей и интервью пермским поэтом и журналистом Юрием Беликовым, а живший в Лондоне поэт и публицист Равиль Бухараев в 2007 году написал о творчестве Ю. Влодова большую статью под названием «Я — жизнь твоя!»

Сергей Телюк. Из бесед на кухне у Юрия Влодова



… спасибо Сергею Телюку! Он записал устные рассказы Влодова, но не на диктофон, а по памяти — то есть, невольно осмысляя, организуя и редактируя.

… Я бы рискнул сказать так: ***Телюк в данном случае выступил как автор, а Влодов — как легендарный персонаж, вроде Ходжи Насреддина, Заратустры или Ивана Петровича Белкина.*** *А так как по роду деятельности и по характеру Влодову приходилось встречаться с целым рядом современных классиков, его байки имеют и бесспорную литературоведческую ценность.*

Леонид Жуховицкий.

НЕ ЛЮБЛЮ ПЬЯНИЦ

Однажды ночью мы с Колей Рубцовым слонялись по коридорам спящего общежития Литературного института в поисках выпивки. Был уже второй час ночи.

— Все от нас попрятались, — сказал я Коле, и продолжил: — Слушай, ведь, как правило, Игорек Ляпин возвращается поздно, — пойдем к нему…

(Все знали, что студент и парторг своего курса Игорь Ляпин — жених дочери второго секретаря Правления СП СССР, курирующего Литературный институт, Сергея Сартакова, и поэтому он имел негласные привилегии.)

— Дело-то хорошее, но он прижимист… — ответил Рубцов.

Все-таки мы решили рискнуть. И не прогадали.

Не успели мы дойти до комнаты Игорька, как в коридоре этажа появился и сам хозяин. Он, поравнявшись с нами, небрежно произнес:

— Здоро́во, поэты, — вдохновения набираетесь?

И тут же неожиданно добавил:

— Пойдемте ко мне. Я «выдал поэмку на-гора». Мне ваше мнение небезынтересно…

Его комната была не в пример другим: вся в коврах, надушенная, и, кроме того, в ней были холодильник и радиола.

— Разуваться не надо, — сказал Игорь, набросав на пол газеты от порога до ближайших кресел.

Переоделся, надев на себя халат поверх рубашки и брюк. И только после этого спросил:

— Что предпочитаете, водку или коньяк?

— Водку! — нетерпеливо выпалил Рубцов.

Хозяин выставил на стол: для гостей — водку, для себя — коньяк. Достал закуску: шпроты и абрикосовый компот.

— Да вы не стесняйтесь, поэты! — подбодрил он.

После чего сел напротив нас и начал читать поэму о Донбассе, при этом, надо сказать, что Игорь Ляпин был из династии шахтеров.

Вскоре, после распитой бутылки, захмелевший Коля начал толкать меня под столом ногой и одновременно говорить:

— Ну-ну, ну-ну…

— Ты кончай, Рубцов, эту мимику. Если что не нравится — скажи. Я, как поэт, выдержу, — отреагировал Ляпин.

И, прекратив чтение, добавил:

— Мне надо поработать… Ну, вы не частите, — но раз в неделю я вас приму.

Довольные, мы вернулись в свою комнату, где было все обшарпано и на полу сопел во сне Толик Третьяков, спившийся зять Наровчатова.

Указывая пальцем на Третьякова, Рубцов произнес:

— Не люблю пьяниц.

ЭТО МОЙ КРЕСТНЫЙ

Однажды зимой, часа в три ночи, я добирался домой от Наташи Хлебниковой. Мороз стоял страшный, такой, что дышать было почти невозможно. И мое «добирался» сводилось к безоглядному бегу через дворы от ее дома до своего, а они находились — на противоположных сторонах Ломоносовского проспекта, в районе кинотеатра «Прогресс».

Пробежав мимо телефонной будки, я остановился, и вернулся к ней. В будке, на полу сидел незнакомец ногами наружу, — телефонная трубка висела над его головой, издавая тревожные короткие гудки. Приглядевшись, я узнал в нем Владимира Соколова, жившего в ближайшем доме. Он замерзал, лицо у него было в инее.

Нанеся несколько пощечин и поняв, что человек без сознания, а силенок возиться с ним не хватит, я устремился за угол к подъезду, в котором он жил.

Дверь открыла вахтерша, здоровая баба.

— Соколов? Да пусть подыхает, — выдала она после моих объяснений.

— Ну, пойдем, так же нельзя… — стал упрашивать я.

И она сдалась.

Мы с трудом, волоком дотащили его до подъезда. А уже там начали растирать снегом, влив в него остатки Бог знает откуда взявшейся у вахтерши водки. Когда Владимир Соколов зашевелился, я, оставив их, продолжил свое возвращение домой.

— Это мой крестный, — говорил позже Соколов про меня.

Он прожил, после этого случая, двадцать два года.

ВООБЩЕ-ТО Я НЕ ПОЭТ

Однажды, когда я еще работал в «Московском комсомольце», ко мне пришел незнакомый автор. Он поздоровался и, продолжая что-то безостановочно говорить, проворно достал из «дипломата» коньяк. Наступила пауза.

— На работе не пью, — заявил я.

— Ну, потом как-нибудь… в честь нашего знакомства, — ответил гость, и продолжил: — Вообще-то я не поэт, но поэзию люблю. Вот принес вам свою подборку…

Коньяк остался у меня, а из подборки мне понравились два стихотворения, которые и были вскоре опубликованы в рубрике «Турнир поэтов». Правда, на оставленных мне оригиналах не было полного имени автора, поэтому так и прошло в публикации: В.Жириновский.

Известным же Владимир Вольфович Жириновский стал позже, в период перестройки, создав и возглавив ЛДПР (Либерально-демократическую партию России).

НЕЛЬЗЯ ЛИ НАЗВАТЬ…

Однажды меня вызвали на заседание секции поэзии Московской писательской организации.

— Говорят, вы имеете «клиентов», так вы их, кажется, называете, которым за определенную плату пишите стихи. И среди них есть члены нашего Союза. Нельзя ли назвать открыто имена этих писателей? — неуверенно произнес председательствующий.

На что я ответил:

— Не имею никаких клиентов. Но если бы я начал называть имена тех, кому помогал и помогаю, то даже в этой комнате их оказалось бы трое.

В наступившей тишине я услышал, как заскрипели стулья, и увидел, как сидящие стали подозрительно коситься друг на друга.

Вопрос был исчерпан, и я ушел.

Хотя теперь скажу, что никого из четырнадцати клиентов, ставших членами Союза писателей и пользовавшихся моими услугами, среди них не было.

У-У, ЛЯГУХА-МУХА!

Однажды, пообещав Ане Гедымин помочь с устройством на работу в «Огонек», я оказался в неловком положении, так как в тот период мои контакты с этим журналом были прерваны. Но («давши слово — держись!») я нашелся: придумал «легенду».

По этой «легенде» я как бы получил письмо от своей бывшей жены, известной поэтессы, сотрудницы «Огонька», уехавшей в Асканию-Нова, Мары Гриезане. В письме как бы находился отдельно запечатанный конверт, адресованный Анатолию Владимировичу Софронову. В запечатанном конверте была записка, написанная под мою диктовку случайной знакомой от имени Мары (подчерк-то требовался женский!). А вот в конце этой записки — post scriptum, в котором якобы Мара просила взять свою ученицу Анну Гедымин литконсультантом, и что, вернувшись, Гриезане сама собиралась заняться ее дальнейшей судьбой…

Верно рассчитав, когда Софронов появится в редакции, я пришел к нему.

Он прочитал записку. Мы с ним потолковали о Маре. После чего, попрощавшись, я стал уходить из кабинета и уже на пороге, словно невзначай, напомнил:

— Да, там какая-то приписка о девочке…

— А где девочка? — спросил Анатолий Владимирович.

— Я ее к вам пришлю… — ответил я.

— Ну, не ко мне — я дам указания ответственному секретарю Иванову, — поставил точку в разговоре главный редактор.

Из дома я позвонил Иванову — узнать, дано ли указание…

— А вы кто? — спросил ответственный секретарь «Огонька».

Я назвался отцом.

После чего Иванов стал мне обстоятельно объяснять, что он бы рад помочь, да свободных мест нет и т.д., и т.п.

— Ладно, не беспокойтесь, — сказал я, — Николай Матвеевич найдет, куда ее пристроить.

— Какой Николай Матвеевич? — насторожился Иванов.

— Ну, Грибачев…

(Н.М.Грибачев был Председателем Верховного Совета РСФСР, главным редактором журнала «Советский Союз»…)

После явного замешательства, я услышал:

— Обождите, папа! Зачем же Николая Матвеевича беспокоить?! Я посмотрю…

И после паузы:

— Все. Место есть. Пусть завтра приходит с фотографиями…

В дальнейшем, изредка встречая Гедымин в коридоре, Софронов удивлялся:

— Чей ребенок тут?! Я же сказал, чтобы детей в редакции не было!

— Я ничей не ребенок. Я Аня — ваш литконсультант, — бойко отвечала Анна.

— У-у, лягуха-муха! — изумленно произносил свою любимую присказку Анатолий Владимирович. После чего, огромный как «дядя Сэм», величественно удалялся в клубах сигарного дыма.

МЫ — ТУРКИ

Однажды, когда мамы уже не было, я навестил отца с его новой женой, актрисой Зоей Заикиной, в Элисте. Они давно переехали туда из Москвы и работали в местном театре.

— Отец, — сказал я ему во время застолья, — я известный поэт, один из лучших в Советском Союзе, и могу помочь тебе вернуться в Москву, хотя бы обратно в «Театр им. Гоголя», где ты был худруком… Хочешь?

— Какие-то вы все, москвичи, пижоны… — задумчиво проговорил отец.

— Ну, давай по-другому, — не унимался я: — Ты — еврей, и я — еврей…

Тут он, покосившись на жену, резко и жестко прервал меня:

— Не знаю кто ты, а я — турок!

— Хорошо, хорошо… Извини, я не хотел пугать Зою. Мы — турки, — быстро согласился я, ведь мой дед по отцовской линии был и в самом деле турком.

И больше мы к разговорам на эти темы не возвращались.

ПОГОВОРИЛИ

Однажды в телефонном разговоре с Сергеем Телюком я ему предложил:

— Знаешь, у меня тут есть материалец… Ты бы зашел как-нибудь. Поговорим.

Что он, в долгий ящик не откладывая, и сделал. А теперь рассказывают обо мне Бог знает что.

ЮРИЙ ВЛОДОВ. СТИХИ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

НЭПМАНСКАЯ БАЛЛАДА

Ну кто не знает Мандельштама?
Фигура-дура, скажем прямо:
Шатун, крамольный стихоплет,
В какой ты цвет его не выкрась.
Одни подачки: ест да пьет.
По виду — грач, по слухам — выкрест.
Но, черт возьми, какой пассаж,
Когда морали строгий страж
Его читает зло в гостиной…

С овчинку кажется уют!
И по лощеным барским спинам
Мурашки вящие снуют!..
Столица. Вкусный пар харчевни
Швейцары сумрачны и древни,
В хрустальной вазе мягкий хлеб.
Патруль – небритый и холодный -
Заглянет – грозный и свободный,
Слюну проглотит: «Ишь ты, нэп!»
Мой Бог! Какая сервировка!
Тарелку взять — нужна сноровка,
Не двинь-ка локтем невзначай…
В окне – тельняшка, клеш, винтовка…
Пиит два супа спросит робко
И для жены — горячий чай.
Цивилизованный приказчик
С хозяйским прозвищем «Проказник»
На полового в нос ворчит.
Весь распомаженный и узкий
Гитарой ласково журчит,
Картавя на манер французский:
«Вся-то наша жизнюшка,
Как пустой стакан…
У меня на сег'дце бг'одит
Чег'ный таг'акан…»
Морозно хлещут струи водки.
Рагу шипит на сковородке.
Приказчик! Душка! Пей до дна!
Берет высоко и фальшиво
Гитары дряблая струна…
Ах, пшенный суп! Ну что за диво!

БАЛЛАДА О НОЧЛЕГЕ

Гой, робята! Рви на тройке!
Фордыбачь, российский сын!
Завались в суконной тройке
Хошь — в харчевню, хошь — в Торгсин!..
Время, время — прямо в темя
Бац! — навроде кирпича…
Хлоп ушами — ты уж с теми, –
Дунет шашечка сплеча!..
Хрен, капуста да печенка,
Все сегодня не зазря…
Водка, кровушка, чечетка –
Тридцать три богатыря!
«Вам бы надо б — чьи мы? Чьи мы?
Ну, так можем пачпорт дать…
На печи бы…на печи бы…
Нам бы надо б…нам бы спать…»
Печь высока да калена –
Подюжей жилец сперва!

Ой, потеха! До колена
От жилетки рукава!..
«Слухай, Кузька! — не конфузь-ка!
Не помни на них пальто!»
Широка натура русська! –
Степ — и то — чуток не то!..
«Так негоже при народе! –
Слышь, лежачего не бей!..»
Любит пшенку в огороде
Наш залетный воробей!..
Спит под печкой сучка Моська,
Снится ей мосол свиной.
Спит на печке странник Оська
(Ну, конечно, и с женой!)…
Мает маятник судьбину…
Русь! Кладбище да труба…
Через пущу-луговину
Продирается изба…
Под щекой у сучки Моськи
Сохнет Оськин башмачок…
Ая-яй! Не стыдно, Оська?!
Ведь не спишь ты, дурачок!..
«Здрассте! Здрассте! Нет, не сплю я…
Потому что вот — не сплю…
Вашу родину люблю я!
Нашу родину люблю!…
Почему-то лилипуты
Повставали в уголки
На кривых ножонках путы,
А в глазенках — угольки!..
Как же? — круглые недели
Чтоб ни крыши, ни угла?!
В самом деле, вы хотели,
Чтобы мы как чучела?!
Извините…Мерзость…Мысли…
Просто карлики в углах…
Нам бы надо б в зябкой выси,
Чтоб на легоньких крылах!
Над ветрами колокольни,
Где зарница, как нарыв!
Черной птицей в небо, что ли?
Три ха-ха! — какой наив!
Вы поймите, вы поймите,
Как я счастлив за житьё!..
Ну, пожалуйста, возьмите
Сердце алое мое!!..»
В раннем поле, где Морозко
Машет гривушкой льняной,
От села уходит Оська
/Ну, конечно, и с женой!/…

ЛАГЕРНАЯ БАЛЛАДА

Не оставляйте спички детям
(*плакат противопожарной охраны)*

Вступление

Как совы сонны и недобры воры.
Бесята смерти прыгают в кострах.
И плавают над зоной разговоры
Липучие и едкие, как страх.

В болотине увяз таежный лагерь,
Закручено сплетенье душ и тел.
Земной любви неуловимый ангел
По Северу в тот день не пролетел.

Авторитетный вор *(дурачась)***.**
Коль нечего в паскудной зоне пить
Пора слезами глотку окропить,
В утробу непутевую пролить их...
Эй, шмуль, канай сюда,
Ты кто? - политик?..
Поэт.
Я — Мандельштам! Я — лодочник!
Безумец, настигнутый зигзагом громовым!
Спалил всю лодку огненный трезубец
И я завис над морем гробовым,
Не перейти пучину смерти вброд!..
Авторитетный вор.
Он чокнутый! кило печенья в рот!
Поэт.
Я помню, в Петергофской колоннаде
Свистел ветров мучительный кларнет!
На Пасху я послал два слова Наде, –
Ответа нет, увы! — ответа нет!…
Гнусавый.
Кого жалеть? Что есть в натуре баба? –
Всего лишь дырка, скользкая, как жаба!
Поэт.
Не смейте! Это гнусно!
Авторитетный вор.
Не дури. На, лучше, самосаду подкури…
Вор-заика.
Б-бабье — они как п-плохонькие лодки,
В любовной жизни н-надобно в-весло…
Гнусавый.
Залить бы, что ли, валерьяном глотки,
Да так, чтобы поносом пронесло!…

Поэт.
Мне страшно здесь! Лежишь во тьме барака
Как Гоголь, пробудившийся в гробу!
Гнусавый.
О чем и речь? Зачем горбатым драка?
Тащи потом несчастье на горбу.
Авторитетный вор.
Ты, говорят, был в должности поэта,
Что ж, растолкуй нам в рифмочку про это.
Гнусавый.
Пусть пожует жиганской колбасы,
Чтоб укрепить поэтские басы.
Вор-заика.
Жри, не давись. Трясется, доходяга.
Что делать? Жизнь — преподлая бодяга
Авторитетный вор.
Поел? Теперь натурой заплати:
Изобрази поэта во плоти!
Поэт.
Извольте! Но едва ли вы поймете!
Поэзия не кража, не грабеж!..
Авторитетный вор.
Воры, считай, жемчужины в помете,
Копни навоз, авось да разгребешь!
Поэт.
Поэзии Божественные чары
Подобны внеземному кораблю!..
Авторитетный вор.
Оставь свои загадки для сучары,
А я так созвучия люблю!…
Поэт.
Забыл!.. Ах, да! ..
На треснувшей иконе
С ухмылкой сатанинской полубог!..
Авторитетный вор.
Поэт, навроде, тоже вор в законе! —
Живет себе как вольный голубок!
Поэт *(читает).*
Кладбище Вселенной. Полуночь души.
Могу ли во мраке расцвесть я?
Незрячую землю в тишайшей глуши
*На ощупь находят созвездья***.**
Авторитетный вор.
Не стыдно, жид! С невинными глазами
Толкаешь нам Серегу из Рязани.
Я смолоду завзятый книгочей,
Профессор ярославских уркачей!
Поэт.
Есенин! Чушь! Певец святых коров!
Поэт — как луч столетий и миров!
Авторитетный вор.
Цыц! Не вертись, как устрица на блюде!
Тебя, придурка, пригласили люди,

Тебя, барбоса, слушает ворье,
Так расскажи, пожалуйста, свое.

Поэт *(читает).*
И глух человеческий разум, и слеп.
Мерцают просветы скупые.
Ключицы любимой и горестный хлеб
На ощупь находят слепые.
Авторитетный вор.
Над кем смеешься, лагерная рвань?
Кого дурачишь — деревенских вань?
Гнусавый.
Поносник! Спер Серегины стишата!
Обдай его баландой из ушата!
Вор-заика.
Мы для н-него п-преступники, х-хамье…
Поэт.
Клянусь Надеждой, это все — мое!
— Мандельштам! — клейменный, именной!
Весь Петроград качался, как хмельной!
Сам Блок сказал: «Строка сечет как розга!..»
Гнусавый.
Огладь его орясиной вдоль мозга!
Вор-заика.
Он полудурок, б-брось его, н-не трожь!
Б-боюсь к-кровянки, аж в к-коленках дрожь!
Авторитетный вор.
Пусть не наглеет!Фраер! Тварь! Дебил!
На получи! (*бьет)*
Вор-заика.
Да ты его п-прибил!…
Авторитетный вор.
Не будоражьте душу, Бога ради!…
Поэт.
Кровь…Умираю… Передайте Наде…
Авторитетный вор.
Эй, работяги! Тут один шакал
Упал и в рай небесный ускакал!
(Ворам вполголоса)
Атас! Расход! Что приуныли, братцы?
Давай, урло, запишем жида в святцы!

Эпилог.
Где тени мертвых бродят не дыша,
Где вьюга воет лагерной сиреной,
Гори-гори одна во всей вселенной
Незрячая молочная душа.

Где говорят земля смешалась с небом,
Где ни ходьба ни гоже, ни езда
Над ледяным закостенелым снегом
Гори-гори младенчества звезда.

***

Хиленькому Осипу
До ума б дожить, –
Сколько можно сослепу
Хныкать и ханжить?

Влезет вместе с пейсами
На чужой диван,
Слушая, как с песнями
Ждет в ночи Иван.

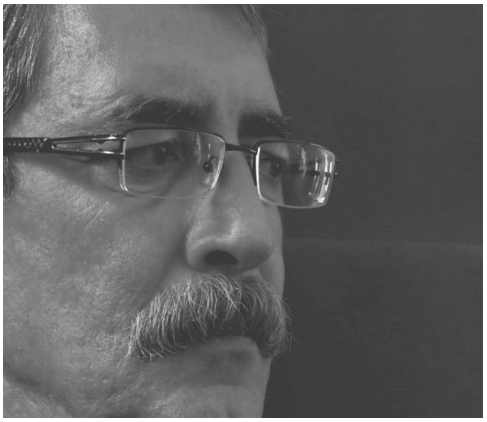
***

Тайги сухая осыпь.
Ухмылка пахана:
«Не бзди, товарищ Осип!
Всему хана!»

Мертвее смерти в сто раз
Слепой слезы слюда…
Луна — твой вечный сторож –
Туда – сюда…

Снежинки сеет осень.
Аминь. Каюк.
Что хнычешь, бедный Осип,
Слабо — на юг?!..

Евгений Лебедь. NUMQUAM и НАРЦИСС. Два рассказа



Евгений Лебедь. Украина, Сумы. Родился в 60-м за три дня до мартовских ид. В лесу, на реке и на море — пространство-время чудного детского неразумья. Учился. Позже — учительствовал и мечтал. Писал. Немного работал в газете. Изучая птиц, скитался в лесу, на реке и на море. Писал, не думая о печати. Жил бесцельно и праздно. Защитил две диссертации. Статьи, монографии, заметки, рецензии проч. — всего набралось полсотни. Тяжба между живописью и светописью разрешилась в пользу последней, но изредка тянет к маслу, а угол картинной рамы заставляет вспомнить о зажившей ране. Мир интересен. Жить здорово. Постоянно узнавать себя в мире — забавно. Писать? — Не бросил.

Многослойная, богатая аллюзиями, проза Евгения Лебедя наследует всю богатую символику мировой литературы, и, в частности, русской литературы XX века, от А.Платонова до Э.Лимонова...

Рассказы Лебедя потрясают и завораживают непредсказуемостью и волшебством! При том, что это чтиво не из лёгких. За каждым словом или предложением целая энциклопедия мировой культуры...Что уже говорить о рассказах, если даже эпиграф-посвящение — сам по себе рассказ!

По насыщенности могу сравнить текст первого рассказа только с Д.Джойсом, а второго, абсурдистского — с Беккетом, Кафкой или Ионеско.

Не думайте, что это преувеличения, читайте и убеждайтесь сами!

Инна Иохвидович

NUMQUAM[1]

Наш двор, а это три кирпичных дома в два, три и четыре этажа, ничем, в общем-то, не примечателен. Люди как люди. Дети как дети. Коты да собаки. Несколько кустов сирени, яблоневые и абрикосовые деревья. Ивы, посаженные лет сорок назад уже спилены. Под сенью этих ив прошло мое детство. Жили, как все, умирали, как везде: спьяну, от передозировки, от болезни. Кончали с собой редко. Одна костистая тетка, у нее было лошадиное лицо, а губы напоминали вскрытую турбеллярию, неудачно повесилась, что стало событием для двора и темой для обсуждения на целую неделю. Веревка, которую она приспособила в ванной, оборвалась, нога сорвавшейся тетки застряла в опрокинутом табурете, тетка упала, ударившись виском об унитаз. Так и обнаружили ее: полулежит на полу с табуретом на сломанной ноге, лошадиную голову в нечищеном годами обильно орошает поток из сломанного сливного бачка. Воистину, невозможно войти в одну и ту же воду.

Один мужик в соседнем доме угорел, уснув пьяным с сигаретой. Мы, потрясенные происшествием пацаны, сбившись в кучку, испуганно смотрели, как во двор выносят обугленную деревянную кровать, еще дымящийся

[1] Numquam – никогда (*лат.*).

матрац, какое-то недогоревшее тряпье, коричневого плюшевого медведя ростом с ребенка и огромной подпалиной на животе. Этот беспечный мужик был отцом моего приятеля, которого звали Коколя. Так он, тщедушный и кроткий, с паучье-тонкими конечностями и большими оттопыренными ушами какого-то мадагаскарского лемура (его фото мы видели в журнале «Юный натуралист»), однажды назвался: «Ко… Коля», испугавшись брутального и откровенно презрительного вопроса «а это еще бля кто?»… Уже не помнили, кто из старших и наглых парней смутил мальчишку, но имя прилипло, впечаталось в тело, в образ, в судьбу бедного Коколи.

Уже будучи взрослым, обремененным бессловесной золотушной женой и двумя отпрысками обоего пола (а la Коколя в детстве), он однажды, испуганно озираясь, признался мне, что боится тяжелых, свободно ниспадающих оконных штор: в каком-то фильме он видел, как героя, спрятавшегося за шторой, протыкают шпагой и представил на его месте себя. Еще он боится темных подворотен, канализационных колодцев без люков, украденных охотниками за металлом, милиции и телефонных звонков ближе к полуночи. До недавнего времени он боялся и тещи, но месяц назад она утонула в реке во время какого-то праздничного возлияния, то ли в день советской молодежи, то ли в день рыбака. Я успокоил Коколю абсолютной безопасностью этих фобий и пошутил, что избавляться от них нужно постепенно: сначала теща, потом шторы… Смотри, мол, под ноги, — советовал… — И не кури в постели.

Одно время мы с Коколей, начитавшись Сетон-Томпсона и Шульца, были индейцами. Сбегали с уроков, становились на тропу войны и начинали охотиться на презренных бледнолицых. Два бесстрашных воина, Одинокий Волк и Седая Выдра, наводили страх и ужас на трапперов, торговцев, служащих Американской пушной компании, старателей и федеральные войска в бассейне Гудзона и на холмах Сайпресс-Хилл. Мы их выслеживали, преследовали и, не зная пощады, хладнокровно убивали. После каждой удачной военной экспедиции (а они все были удачными) мы разжигали костер, бросали в него щепотку табака, били в барабаны, обтянутые оленьей кожей, и пели «Песню удачной охоты» — хвалу Великому Духу. Десятками скальпов был увешан наш, дрожащий на бодром ветру, вигвам. Неистовые мстители, мы брезговали трофеями, в плен врагов не брали тем более. Целью нашей жизни были свободные от белых территории между Фрейзером и Олбани, Саскачеваном и Колорадо. Любому бледнолицему дураку было понятно, что все эти героические события происходили не в старом городском парке, где не протекала, а глухо стояла вода в зловонной безжизненной канаве, а в диких лесах по берегам великой и суровой реки Шатемук, которую глупые белые называют Гудзоном. В этих лесах жили не бродячие собаки и жалкие блохастые коты, избегающие даже крыс, а могучие лоси, хитрые рыси, грациозные выдры, гордые волки, мудрые вороны, проворные пеканы-рыболовы, осторожные росомахи — наши братья по крови.

Перед неизбежным и справедливым концом белые сначала угрожали, пугая нас войсками полковника Бэкера, прославившегося кровавой бойней на реке Марайас, когда его солдаты убили 173 индейца и взяли в плен 100 наших женщин и детей. Видя несокрушимую волю и хладнокровие двух воинов из клана Черного Хорька, мужчины в обмен на собственную жалкую жизнь начинали предлагать бумажные деньги, золотой песок, годовую добычу шкурок бобра и норки. Женщины торговались, предлагая единственное, что могли предложить — себя. Они готовы были исполнить

любое извращенное желание презренных дикарей. Эти женщины, мнившие себя благородными и образованными, высокомерно считали, что любое наше желание извращенно. Видя нашу несокрушимую волю, чувствуя стальное дыхание неминуемой смерти, некоторые мужчины, что нас особенно забавляло, обильно мочились в штаны — слабый белый человек! Один храбрый траппер, в наглую ставивший капканы вдоль нашего Оленьего ручья, жидко и шумно обосрался. Некоторые жрали землю, сдобренную собственными слезами, соплями и проклятиями. Женщины бились в истерике, рвали на себе волосы и одежду, именем собственных детей умоляли пощадить их, невинных. Но все было тщетно. Их всех ждала заслуженно позорная смерть: в дерьме, моче, блевотине, жалком цеплянии за свою никчемную жизнь. Благородные мстители, мы не вырывали им яйца, не всаживали колья во влагалища, не отрезали груди и не вспаривали животы, чтобы развесить их вонючие кишки на деревьях нашего священного леса. Мы снимали с них скальпы, а потом убивали, оставляя тела на съедение братьям-воронам.

Мы с аппетитом неутомимых следопытов пожирали жирных рябчиков и глупых дикуш, решительно игнорируя тот факт, что это были непоседливые птенцы грачей, выпавшие из гнезд. В лае собак нам слышалось тявканье черных лисиц, когда они облаивают кэка — древесного дикобраза. И это было для нас самой прекрасной песней на свете. Мы наслаждались — гурманы! — не пошлой килькой в томатном соусе (35 коп. банка), а нежным мясом лосося, только что выловленного в устье Оленьего ручья.

Где-то в шестом-седьмом классе мы с Коколей, беспощадные истребители бледнолицых, обратили внимание на девчонку, приехавшую из столицы к кому-то из нашего двора. Ладненькая такая была, белокурая, с ровными белыми зубками и точеными ушками. У Коколи оказался никелированный китайский фонарик, с красным, зеленым и желтым светофильтрами, которые, щелкая переключателем, можно было менять. Этот фонарик (явно где-то сворованный) стал для нас пропуском в незнакомый, таинственный мир половой дифференциации и не испытанных доселе ощущений. Однажды, в конце бесконечного летнего дня, дождавшись темноты, мы, словно два начинающих маньяка, заманили ее за сарай — там была полоса густого кустарника — и, вручив ей обещанную цвето-световую, довольно редкую по тем временам игрушку, принялись пристально, с изощренным вниманием первопроходцев изучать ее нетронутую вагину, осторожно раздвигая нежные лепестки, направляя луч фонарика в самые сокровенные места, вглядывались в странное, складчатое, манящее, живое существо, похожее на какого-то розового моллюска, смутно догадываясь о его предназначении. Что-то неведомо сладкое разливалось по телу, в паху шевелился похотливый червь.

Однажды Коколя, возвращаясь ночью с дружеской попойки по поводу удачной покупки подержанного автомобиля, упал, засмотревшись на звезды, в канализационный колодец где-то на задворках гаражного кооператива. Ни один из ангелов не подхватил Коколю, падающего в бездну — Коколя не был праведником. Недопитая бутылка водки, разбившись, вскрыла бедренную артерию левой ноги. Его нашли через неделю. Ягодицы съели крысы, в сплошной — до костей — ране копошились белые блестящие опарыши.

Еще Коколя, считавший, что уезжать некуда, был жив, а я, уже тогда предчувствовавший, что возвращаться некуда, уехал в Лондон. Работал там на какой-то стройке, жил в ночлежках. Потом меня выдворили. Скитался по материку. Продавал газеты в Париже. Где-то в темном районе между мостом Дез-ар и Консьержери меня остервенело избили и ограбили два клошара.

Может то были алжирцы или еще какие-нибудь агенты цветного глобализма. В Тулоне, питаясь мерзкой жрачкой из фаст-фудов, я разносил по пляжу лежаки и зонтики, убирал мусор после жизнерадостных чистоплюев-европейцев. Уже не помню как, оказался в Стамбуле, где до сих пор и живу в однокомнатной конуре, что в Аксарае.

Исповедуя нетленную истину, что бесплатная еда бывает только в утробе, я предпочитаю работать в заведениях, как когда-то говорили на моей родине, общественного питания: человек будет жрать всегда, поэтому для меня всегда будет работа. Хотя бы убирать объедки с чужих столов. Другая причина, почему я там работаю — моя патологическая лень. Весь мой неуемный активизм остался где-то в детстве. Остался висеть ссохшимся скальпом обосравшегося траппера на одной из священных тсуг Оленьего ручья. Сейчас меня приводит в ужас сама мысль о том, что нужно куда-то идти, искать работу, рассылать резюме, унижаться беседой с тупыми клерками.

Когда-то я был храбрым индейским воином из племени ленапе. Потом, после курса философского факультета, недолго побывал в шкуре университетского преподавателя, но вялого неакадемического любомудрия не чураюсь до сих пор. Сейчас я предпочитаю скромно называть себя писателем, хотя опубликовал лишь один рассказ в «Istanbul Saturday Review», и то пять лет назад. В рассказе было много света, искрящейся воды, любви и не было ни одной смерти… Потом произошло что-то страшное и необратимое: я забыл магическое слово, с которого начинается процесс подлинного писания. Более того, я утратил веру в свою способность когда-нибудь вспомнить его. Я поглупел. Мир зол. Я проклинаю жизнь. Все, что пишу сейчас, разбавляя чернила желчью и слезами, я складываю на столе в стопку рядом с банкой засохшего инжирного варенья и пепельницей, полной окурков гнусных сигарет «Бафра»: пишу даже не в стол, а на стол. Квартирной хозяйке после моей смерти не нужно будет рыться в ящиках письменного стола и книжного шкафа в поисках бумажного мусора, накопленного годами тихим, нетребовательным постояльцем — сгребай все в пластиковый мешок, выбрасывай в бак или отдавай рябому жуликоватому старьевщику-армянину, который появляется на нашей улице с регулярностью менструаций собственной жены.

Уже здесь, на берегах Босфора, я силюсь представить, кем стала та белокурая столичная штучка, которую мы с Коколей так неумело совращали в детстве. Но каждый раз далее участи проститутки — не важно, валютной и капризной, или дешевой и неразборчивой Венеры Анадиомены[2] с площади Трех Вокзалов — воображение не двигается. Что-то мешает представить ее успешной бизнес-леди, любимой женой олигарха-мецената или известного, всеми уважаемого политика, преданной своему нелегкому призванию скромной учительницей английского языка, экскурсоводом из Кремля, пресс-атташе посольства в какой-нибудь богатой стране. Так и живет в моей памяти эта девочка, со временем сделавшая успешную карьеру шлюхи. И пусть ей тайно завидует бестолковая учительница английского языка, незамужняя шизофреничка, бледной нематодой тихо и зло скользящая по жизни.

Когда мне становится особенно тошно, я иду на вокзал Сиркеджи и смотрю, как поезда отправляются в Европу. Я жадно вдыхаю вагонные запахи, воровато

---

[2] Имеется ввиду стихотворение *Venus Anadyomene* Артюра Рембо, посвященное убогой и дешевой проститутке.

заглядываю в тамбуры, тупо брожу по перрону — безнадежно ищу знакомые лица. Потом покупаю бутылку ракы — противной виноградной водки с анисом (когда-то с Коколей мы сдабривали анисовыми каплями тесто и ловили серебристых карасей на Белом озере в нашем родном городе), прихожу в конуру, начинаю медленно пить, и как законченный мономан, тщетно пытаюсь вспомнить запах только что вынутого из воды карася. Иногда хочется купить последний билет и уехать домой, но у меня нет денег даже до Софии, сомневаюсь, хватит ли до Пехливанкёя. Да и куда мне ехать? Где мой дом? Там не осталось никого, к кому можно вернуться, могилы заросли травой, фамилии мертвецов выгорели и осыпались. Как что-то в сердце — выгорело и осыпалось черной золой. Бесцельно брожу, отражаясь и множась в витринах и глазах встречных женщин, по шумным неоновым артериям то ли Стамбула, то ли Лондона, то ли Парижа, отравленный печалью житель клоак-мегаполисов. Душа превращается в серую холстину, кто-то невидимый сворачивает ее в рулон и прячет в черный герметический тубус.

Иногда откуда-то из преисподней подсознания скользкими подвижными гифами прорастают некро-сексуальные галлюцинации, свойственные скорее набожным старым девам с монастырским воспитанием, нежели одинокому скитальцу по чужим городам и собственным снам. Общий их тон серо-зелено-желтый, словно смотришь сквозь зрачок глаза, пораженного тяжелой формой конъюнктивита. Медузы с шелестом совокупляются в тазу, наполненном вспененной смесью спермы прокаженного и менструальной крови карлицы… безглазые мертвецы спариваются в пляске святого Витта в полумраке морга… коитус крыс в брюхе девушки, долго провалявшейся в камышах. Признаюсь, последняя галлюцинация явно навеяна одним из германских ясновидцев.

Все чаще снятся сны, иногда кошмары. Но я не боюсь их, как когда-то мой бедный приятель Коколя, с которым мы совершили сотни великих подвигов и столько же великих открытий, боялся канализационных колодцев и тяжелых штор. Мои излюбленные, похожие на грезы, кошмары иного, метафизически-целительного, свойства. Они — моя гарантия от наступающей со всех сторон зловещей пустоты и вялотекущего отчаяния. Кастор и Поллукс, оседлав «Феррари», на бешеной скорости мчатся по Млечному Пути, вытекающему из правой груди какой-то древней забытой богини… Исайя и маркиз де Сад под маслиновым деревом до изнеможения спорят об отличии скатологии от эсхатологии… малютка Кант, гамофоб и аскет, прогуливается до крепости Фридрихсбург и обратно… туда и обратно… туда и обратно… а потом вдруг не возвращается домой и отставной солдат Лампе, преданный, словно старый пес, скуля, мечется в отчаянии… под ликование упившейся толпы Гомер сжигает «Илиаду» в медном быке… почему-то снится Дидро, подхватывающий сифилис от служанки с постоялого двора где-то в Риге… выбритый неприлично чисто, либидозный Зиги внимательно рассматривает собственный член перед зеркалом: заняться онанизмом или пойти в постель к жене?.. Улисс, только что возвратившийся из Гадеса, приглашает нас с Коколей на веселые поминки по Финнегану… в поисках логики последнего смысла вылетает из окна Делёз, манит меня за собой, и ветер толкает нас в спину… лежащий в раскрытой могиле Коколя машет мне рукой… из окровавленного унитаза высовывает голову Гераклит и хрипло каркает о реке Шатемук, в которую не войти больше никогда.

9-12 декабря 2009

НАРЦИСС

Никите Селиверстову, убежденному в том, что земляную грушу есть не стоит ни при каких обстоятельствах,потому что это — запретный плод

Автобус, в котором я сидел на засаленном множеством задов и спин крайне неудобном кресле, на автостанцию города А из пункта В прибыл вовремя. Пассажиры не торопясь выходят под моросящий дождь, грудятся возле автобуса и, стоя, ждут дальнейших распоряжений. Одна из урн, несмотря на дождь, дымится. Из другой торчит голая нога женского манекена. На ноге сидит намокшая галка и настороженно глядит вокруг.

Вдоль посадочной площадки ходит билетная контролерша с портативным кассовым аппаратом в руках. Лицо у нее тщательно напудрено. Оно лучится, и каждый видящий это лицо испытывает неодолимое магнетическое воздействие. Лицо, исчерченное дождевыми струйками, стекающими с намокших кустистых бровей, светится неизъяснимой добротой. Контролерша поднимает руку и произносит фразу, заставившую нас сесть на корточки кучками по шесть-семь человек в центре асфальтовой площадки, ограниченной глухим бетонным забором. Асфальт был положен неровно и в понижениях образовались лужи, радуя пассажиров бензиновой радугой. Ловлю себя на мысли, что лужи похожи на распущенные павлиньи хвосты.

— Я сейчас выращиваю топинамбуры, — гордо говорит мужчина в штормовке защитного цвета. Открытое лицо свидетельствует: готов ответить на любой вопрос, поделиться опытом.

— Зачем вы их выращиваете? — слизывает с верхней губы дождевую влагу сидящая рядом женщина средних лет в небрежно сдвинутой к левому уху резиновой купальной шапочке и зеленой сумкой на коленях. Из сумки торчат пластмассовые плечики для одежды, лопатка для обувания и телефонная трубка с куском грубо оборванного провода. Похоже, она долго носила золотые зубные коронки, но потом они или стерлись, или потерялись. Дышала она не то, чтобы смрадно, но находиться рядом с ней, когда она открывала рот, было весьма неприятно.

— О, — продолжает мужчина, обрадовавшись случайной собеседнице, — вы только проникнитесь: топинамбур, подсолнечник клубненосный, земляная груша. Произносит, смакуя: — Звучит как песня из какого-то мультфильма. Клубни цилиндрической, грушевидной или округлой формы. Бывают белыми, желтыми, фиолетовыми, розовыми. Мякоть сочная, нежная, с приятным сладковатым вкусом. Клубни содержат до трех процентов белка и минеральные соли. Кроме того — высокое содержание углеводов, в основном инулина, витамины це, бе-один, каротин.

— А как вы используете эту удивительную грушу в пищу? — интерес собеседницы заметно возрастает. Она искренне желает попробовать топинамбуры.

— Я варю клубни, запекаю их в духовке, из сырых делаю салаты. Очень вкусно и полезно.

— А какие требования к выращиванию топи… топи-нам… буров? — с трудом выговаривает название женщина в резиновой шапочке.

— Очень нетребовательны к условиям произрастания, — заговорщицким шепотом, придвигаясь ближе и сдувая мутную каплю с кончика носа, отвечает мужчина. — Морозостойки, — одними губами.

— Скажите, а как вы храните собранный урожай?

— Клубни хорошо сохраняются при температуре, близкой к нулю, а промороженные приобретают сладкий вкус, потому что при гидролитическом распаде инулина образуется фруктоза. Родина, кстати, Северная Америка.

— А вы, оказывается, специалист, — кокетливо вытянув губы, произносит женщина, уже соглашаясь вступить в партию земляных грушеведов и грушеедов.

— Меня зовут Никифором Фокичем, — протягивая короткопалую красную клешню с рыжими волосами, предлагает знакомство человек в штормовке. При этом он шумно отдувается.

— А меня — Иродиадой Харитоновной, — идет на более тесный контакт собеседница.

В соседней кучке говорят о здоровье.

— Главное — здоровье, — с непререкаемой уверенностью в голосе произносит кургузый мужичок с крестьянской внешностью и березовым веником под рукой. — Вот я собрался в баню. Не могу жить без бани. Раз в неделю хожу. Чаёк пью с мятой, душицей, зверобоем. Парюсь. Здоровья набираюсь. Никогда не употребляю, это очень вредно для сердца. Почти никогда не болею. Помню, ангиной болел лет тридцать назад.

— А я за грибками люблю, — причмокнув, вступает еще один из кучки. Судя по всему, интеллигент, может быть школьный учитель труда или бухгалтер из какой-нибудь строительно-монтажной организации. Дужка его пластмассовых очков аккуратно замотана синей лентой. Такую ленту обычно используют электрики. Из-под кепочки выбился клок осыпанных перхотью волос, тусклых, словно пакля. — Вот где здоровье! Идешь утречком, солнышко сквозь сосновые ветки, улыбаешься солнышку. На душе так ласково. Увидел грибок, наклонился, улыбнулся, срезал аккуратненько и в корзинку. Люблю, знаете, с корзинкой за грибками ходить. Снова пошел. И так один к одному: польские, белые, маслята. Сядешь под сосной, бутербродец с колбаской скушаешь, запьешь смородинным компотиком и дальше… Придешь домой уставший, но довольный, здоровый, ласковый к жене и детишкам. Хорошо!.. А грузди соленые в дубовой бочке! Слоями так выложишь… Слой грибов, слой листьев дубовых, слой грибов, слой листьев… Сольки, естественно. Зимой спустишься в погреб, наберешь груздей и — с картошечкой горячей. Некоторые говорят, что хорошо под водочку, но я — ни-ни. Завязал. Злоупотреблял когда-то сильно.

— А я люблю справедливость. Она важнее ваших грибочков. Мало справедливости в жизни, надо постоянно за нее бороться, — сквозь зубы, решительно, цедит женщина лет шестидесяти с мокрой гулькой на седых волосах. К гульке прилип сухой рябиновый листик. По листику ползает маленький белый червячок, похожий на того, что живет в яблоке.

— Зачем за нее бороться? Она есть или ее нет совсем, — вступает субъект с нагловатым выражением лица в куртке из коричневого кожзаменителя. В зубах у него сигарета.

— Справедливость нужно отстаивать. Много есть людей, которые покушаются на справедливость. Они ее ненавидят. Уничтожают ее, — цедит свое женщина с белым червячком на гульке.

— А ну ее, вашу справедливость, — уходит от дискуссии оппонент. Видно, он немного расстроен — сигарета его размокла и потухла.

— А вот скажите, зачем приходил на землю Христос? — неожиданно меняет тему беседы, по виду адвентистка и пенсионерка. Водянистые глаза ее закисли, а плащ — бесцветен и поношен. Дырка на шапке с ушками аккуратно зашита ниткой, заметно отличающейся от основного тона. В ее пластиковой сумке лежит головка капусты, две красные свекловины, три луковицы, четверть кормовой тыквы и пустая пластиковая бутылка из-под пива. Она хочет купить на рынке молока, чтобы сварить тыквенной каши.

— Ну, вы загнули, — развязно произносит нагловатый с размокшей сигаретой.

— А вот вы скажите, может, вы не знаете, а потому и нет в мире справедливости... В грехе погрязли. Все в баню ходите. Грузди едите. Не хотите признать, что человеком владеет сатана. Посмотрите в зеркало и увидите сатану. Тело ваше — и есть сатана, захвативший вашу душу. Надо Библию изучать. Не просто читать, а изучать, там все написано. Я вот изучаю, и много чего поняла. Христос приходил, чтобы очистить человечество от греха! …А крестик носить нельзя. Я вот когда была в православии, носила, а когда поняла, что крест — это орудие казни, перестала. Нельзя очиститься от греха, нося на груди орудие казни Христа. И из православия ушла.

Все почему-то замолкают и удрученно слушают адвентистку с закисшими глазами. Через несколько минут разговор входит в прежнее русло — о грибочках и бане.

Вдруг добрая контролерша делает какой-то невыразительный знак рукой и произносит:

— Все могут расходиться. Извините за временные неудобства. А вы, молодой человек, куда? — обращается добрая женщина к мужчине лет сорока в сером костюме и темными от дождя плечами. — Куда вы? Останьтесь.

Появляются три милиционера в черной форме и с автоматами. Один из них — совсем мальчик, весь в густых рыжих веснушках — ест мороженое и широко улыбается. Милиционеры уводят мужчину в сером костюме к забору. Звучит тройная автоматная очередь. Галка испуганно срывается с торчащей из урны ноги манекена. Лицо контролерши по-прежнему лучится добротой. Дождь продолжает весело моросить. Пудра клочьями сползает со щек и осыпает грудь белым пеплом.

— …А еще полезно пить кофе. Но не тот, что в магазине. Тот вреден. Хороший кофе получается из корней лопуха или одуванчика. Надо корни промыть, измельчить ножом, высушить, поджарить в духовке до побурения и размолоть на мельнице. Можно также делать кофе из корней пырея.

— Да что вы говорите? Из пырея? Не может быть!

— Да, представьте себе…

— А не дадите мне топинамбуров для пробы? И корней?

— Конечно, дам, Иродиада Харитоновна. Могу прямо сейчас.

Пассажиры медленно, как бы нехотя, расходятся.

Мне хорошо видно тело, лежащее у стены на мокром асфальте. Рядом что-то шевелится. Возможно, там проползает обезглавленная жаба, а может, это лишь кажется. В лацкане пиджака мертвеца пламенеет золотой нарцисс.

19 ноября 2009

Ковсан. Вороньи времена, эпохи вороные. Сонеты

Автор комментированного перевода ТАНАХа на русский язык, ряда книг по иудаизму и литературоведческих статей. Прозаик, поэт. Автор многочисленных публикаций в интернете, двух книг прозы и двух поэтических сборников. Живет в Иерусалиме.

" Поэту же пространства ни к чему,

неистовый, он покоряет время..."

Поэт — творец миров иных, ловец печальных мгновений красоты.

Он уводит за собой. Он знает формулу целительного бальзама, лечащего сердца.

Олеся Янгол

КОРОЛЬ БЫЛ ГОЛ, БЕЗУМЕН И СМЕШОН

Король был гол, безумен и смешон,
вокруг него глухие увивались,
слепые и немые прибивались,
не видел ничего, не слышал он.

Народ был сыт и пьян, и слеп, и нем,
чем гаже, чем пьянее, тем надменней,
знать не желал ни аксиом, ни лемм,
не ведал ни измены, ни подмены.

Бездумный, он безумию внимал,
богам слепым, глухим он покорялся
и хлопал музыке, хоть выл в ночи шакал,
когда король на площади являлся.

Чему теперь несчастные подвластны,
власти безумия или безумью власти?

ИМПЕРСКИХ ГОРОДОВ ПОСПЕШНАЯ СУДЬБА

Имперских городов поспешная судьба,
Велеречивая, кровавая, святая,
Что наша жизнь, игра или борьба?
Чем ни была, как снег, она растает.

Ну, а пока, айда на острова,
Раз тучи вдалеке, голубизну латая,
Извечные имперские права
На всё и вся, от края и до края.

Кто их оспорит, кто же возразит
Имперским городам, стоят на страже
Величия львы каменные, даже
На пьедестале медный сибарит.

Воздета ввысь бессмертная рука,
Под ней течет имперская река.

ВСЁ ВЗДОР, КОГДА ДЫШАЛ ВЕЗУВИЙ

Всё вздор, когда дышал Везувий,
одышливо, словно стихом поэт,
вдыхая беды, выдыхал побед —
все пирровы — горячее безумье.

Неистовый, Везувий был разумен,
отчаявшись испепелить весь свет,
горячей лавы оставляя след,
покорным быть пространство обязуя.

Поэту же пространство ни к чему,
неистовый, он покоряет время,
так голос дан творенью певчему:
жить, чтобы петь, — награда или бремя?

Поэты и певцы слагали, песни пели,
и философствовали славные Помпеи.

ЗАКАТ НАСТОЙЧИВО, ВОСТОРЖЕННО ГОРЕЛ

Закат настойчиво, восторженно горел,
оранжевый, рдел упоенно летний,
сумел, летя стремглав, поспел, успел пострел:
кому в последний раз, воистину последний?

На горизонте лес стремительно редел,
зеленый, но уже немного медный,
всё выпито за всех, и напрочь песни спеты,
обозначая осени удел.

Закат поблекнет, и тогда держись,
когда польет, замучит и зарядит,
дождь бесконечен, всё короче жизнь,
противиться, оспорить, чего ради?

Всё это ничегошеньки не значит,
предел предельно четко обозначен.

ВОРОНЬИ ВРЕМЕНА, ЭПОХИ ВОРОНЫЕ

Вороньи времена, эпохи вороные,
обетованиям не верные века,
вжимаясь в берега, кружа, дрожит река
от не нашедшей выхода гордыни.

Но годы предали, желания остыли,
устав, во льду на дно река легла,
безгласная, она светла, легка,
словно игла отеческой святыни.

Неясный бесконечности предел
светлеет ослепительно и ново:
святыню, словно нить в иглу, продел
в ее увековечившее слово.

Слепые отроки в нем прозревают даль,
незримую и чистую печаль.

ВЧЕРАШНИЙ ДОЖДЬ, МАЛИНОВЫЙ ВОСТОРГ

Краснеет вдоль забора, золотясь
удачей сладкою, восторженно малина,
руки исколоты, был дождь, налипла глина,
ног не поднять, таинственная вязь —

паучья сеть трепещет, и, смеясь,
зовут издалека. Кого? В саду один я,
над головой, сквозь ветки виден синий,
резной клочок, и, ощущая связь

с пространством надо мною и вокруг,
внимая времени и звук издать не смея,
от колкой истины не отнимая рук,
запоминаю, в памяти лелея

прельщеньем золотящийся забор,
вчерашний дождь, малиновый восторг.

КАК ЮНОСТЬ БЕЗЗАСТЕНЧИВО ГРУБА

Как юность беззастенчиво груба,
прожорлива, отважна, похотлива,
так море, налетая в час прилива,
сметает всё, всё грабя, всё громя.

Как старость мелочно и немощно глупа,
труслива и скудна, и прихотлива,
так море, отступая в час отлива,
сор оставляет, уходя, слепя

пространством обнаженной нищеты,
бессмысленностью времени теченья,
прилив — отлив: и стрелы и щиты,
мечи, кольчуги, шлемы, оперенья

унес отлив, всё морю возвратив,
что юности щедро дарил прилив.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК — ВЕК СКРЕЖЕТА И ЛЖИ

Железный век — век скрежета и лжи,
век блеска золота и век закалки стали,
железной дисциплины, чтоб не встали,
не поднялись над пропастью во ржи.

Сплетая кружева железные, кружил
железным ястребом над теми, кто устали,
кто, встав на полпути, молиться перестали
богу из меди выкованных жил.

Кто жил в тот век, со временем дружил,
того, счастливого, железом не хлестали,
покорствуя, он божеству служил,
тысячелетия благих таких не знали.

Скукожился тот век, и труп его остыл,
а, может быть, еще не наступил?

ВОСТОРГ ПОЗНАНИЯ, ВОСТОРЖЕННОСТЬ ЛЮБВИ

Восторг познания, восторженность любви,
Тайна не жизни, истовость желанья,
Нетленность чувства, истины зиянье,
Храм кровной памяти на страхе, на крови.

Всё — плеоназм, ты двери отвори
Тавтологичной дерзости терзанья.
Невинность поцелуя и лобзанья,
Дрозды и зяблики, чижи и соловьи.

Всё неизбывно: радости, напасти,
Неодолимо: старости и страсти,
И неизбежность: хоть с собой борьбы.

Старость и страсть равно неутолимы,
Божьи кусты всегда неопалимы,
Как дрожь беды и прямота судьбы.

НО КОЛЬ ПО ЧЕСТИ, ГОСПОДИ, БОГ ВЕСТЬ

Гармонии ячеистая сеть
наряжена к восторженной ловитве,
как кони к скачке, как солдаты к битве,
к отмщению напористая месть,

как усластить — намеренная лесть,
как наказать — назначенная бита,
густая пышность, праздность сибарита,
афинянам — права и как спартанцам — честь.

Круги гармонии медлительны и строги,
вне сети все скудны, небрежны и убоги,
ведь сеть не уловляет глупость, спесь,

огромной рыбе проскочить не просто,
гораздо легче, кто не вышел ростом,
но коль по чести, Господи, Бог весть!

БЕСКОНЕЧНОСТЬ СКУЧАЮЩЕЙ ТЬМЫ

Бесконечность скучающей тьмы,
бессловесность немеющей ночи,
червоточина многоточия,
бесполезность лукавой мольбы.

Гром сизифовой молотьбы,
выморочный, неурочный,
во весь голос, прилюдно, воочию
шепоток похотливой татьбы.

Белый хлеб прихотливых судеб
плесневеет, бессмыслен, нелеп.
Колосится колючий и жадный,

пыльный, полный, упругий, густой,
а вокруг него лес-сухостой,
хлеб готовый, созревший, несжатый.

СМЕРТИ С ЖИЗНЬЮ БОРЬБА И БРАТАНЬЕ

Вот, и некуда больше спешить,
вот, и не зачем больше ломиться,
ни к чему платье новое шить,
и бессмысленно снова влюбиться.

Сроки стянуты крепким узлом,
даты вывязаны точной вязью,
календарь — восклицательным злом,
время — ужасом и боязнью.

Рифмы полной глухая печать,
легкой рифмы сверканье, блистанье,
смерти с жизнью борьба и братанье,
хорошо б не молчать, но начать!

Что начать? Почему и зачем?
Скажет тот, кто отчаянно нем.

ЖИТЬ ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОКЛИКАЯ

Шли, возносясь над яром свор и свар,
и мал и стар — над вечностью парною,
судьбой лоскутной, участью портною,
неся блистающий довольством самовар,

как зеркало, свидетельствовавший: пар
с земли угрюмо сонною порою
вставал, густея, и роились роем
не пчелы — пули, от печей — угар.

Шли, уносили, возносился дым,
дома безлюдели, в огне дымились свитки,
всё делалось глухим, немым, слепым:
не закричать, не вдеть в иголку нитку.

Шли, уходили, не проклиная,
жить продолжающих окликая.

Я ПРИДУМАЮ СВОЙ КАЛЕНДАРЬ

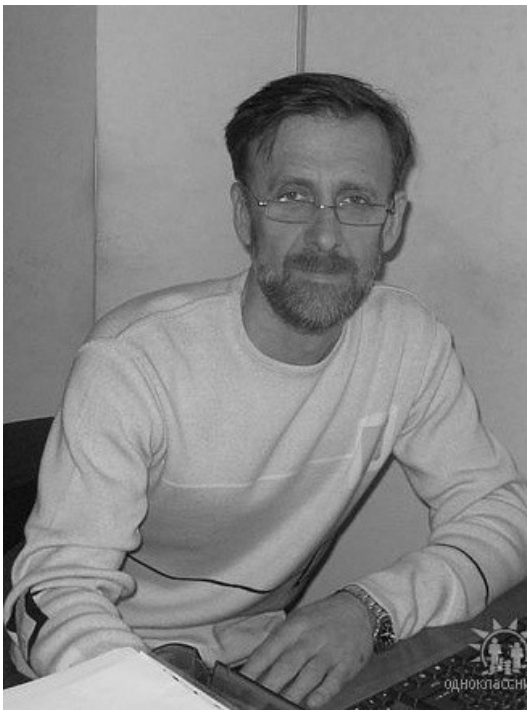
Я придумаю свой календарь,
свои собственные календы,
превращение былей в легенды
буду праздновать, словно встарь

отмечали рождение дня,
и луны возращенье и солнца,
приращение старости сонной,
укрощение сил и огня.

Мне чужой календарь ни к чему,
ни к чему угасанья смиренье,
я себе юность вдоволь отмерю,
духом старую плоть излечу.

Немощь старческая канет в Лету,
я над ней торжествую победу.

Сергей Куприянов. Черно-белый портрет. Рассказ



Куприянов Сергей Николаевич родился я в далеком 1959 году, таком же далеком Южно-Сахалинске, отец военный, поэтому помотало от Дальнего Востока до Венгрии. Успокоились в Харькове — городе моего детства и юности. После окончания школы и института (ХПИ), немного поработал по специальности, а затем в 1984 году попросился в армию на два года, куда с удовольствием взяли, в краснознаменную танковую дивизию. Оказалась она в таком же краснознаменном Кривом Роге. Так тут и пустил корни в рудные залежи стальной столицы Украины. Работал, строил, потом покупал, продавал, был даже контрабандистом, надо было как-то выживать. Занимался многим, но только не литературой, о чем жалею. И вот только в 2012 году что-то стрельнуло, сдвинулось, не знаю — начал писать. Поэтому молодым автором себя не считаю, скорее начинающим.

История нескольких дней из жизни совсем юной художницы-студентки налагается в рассказе Сергея Куприянова "Черно-белый портрет " на мрачные каждодневные тона города Питера — Санкт Петербурга. Город изображён мрачным, темным, враждебным и свинцово-серым, а временами просто чёрным. От неба и до тротуаров.

И не столько в смысле цвета, сколько в силу многочисленных описаний разложений, насилия, даже смерти и бессмысленной порой жестокости встречающихся нам персонажей — это ли цена на пути к настоящему творчеству? Белым на этом мрачном фоне остаётся лишь откровенный, но чистый и наивный дневник девушки. Как и то немногое, но чистое, оставшееся в ее душе. Эта белизна и станет в конце концов светом в конце туннеля, куда так безнадёжно попала, казалось бы главная героиня рассказа.

Константин Емельянов

Из Дневника Алисы

«28 сентября

Белые ночи сменились черными. Город становится двухцветным. Белые чайки — черная форма моряков. Черная Нева — белое небо, затянутое облаками. Если смешать черное и белое, получится серый. Это основной цвет города, самый устойчивый, все остальные, как изотопы, неустойчивы и кратковременны. Тяжелая свинцовая серость давит на сознание. Из неё бы лить пули и убивать ими «соседушек» по общаге, мозги которых забиты женихами с машинами и питерской пропиской. Или местных пафосных сучек, которые так кичатся своим произрастанием в Питере».

Короткие, торчащие в разные стороны, волосы, с синими концами, черные джинсы, черная куртка. огромные грубые ботинки на детских, не оформивших-ся ногах. Алиса, поступившая на первый курс Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна, шла по большому, чужому ей городу. Старые улочки и переулки выглядели декорациями к какому-то фильму по Достоевскому. Казалось, сейчас прокатит по мостовой

пролетка, цокая копытами, рассыпаясь эхом в узких коридорах домов, крикнет сиплый голос мегафона: «Стоп, снято». Она знакомилась с этим городом. Её не интересовали экскурсионные достопримечательности, отремонтированные и выкрашенные в неестественно свежие цвета. Она искала дома, на которых были видны следы прошедших эпох, полуразрушенные и заброшенные. Алиса фотографировала эти «заброшки», а затем переносила это на холст, используя только две краски: свинцовые белила и персиковую черную. Она покрывала холст черной краской, а рисунок наносила белой. Получался негатив изображения, с искаженными линиями и белыми тенями. Она ревностно оберегала их от посторонних глаз и на просьбы своих сокурсниц показать, грубо, даже, агрессивно отвечала отказом.

Бродя по городу в поисках очередной натуры, на Пушкинской наткнулась на группку художников. Те, стояли, переговариваясь между собой, предлагали свои работы. Алиса подошла и стала рассматривать картины. Выполнены они были довольно мастерски, в академических канонах, изображая, в основном, помпезные архитектурные памятники, яркие красивые букеты или, подражая фламандцам, морские пейзажи. Подходили седовласые, в беретах, ценители, причмокивая, кивали знакомым живописцам, переговаривались с ними на им понятном языке.

«Лубочные открытки «На память о Питере»,— заключила для себя Алиса. И решила принести свою последнюю работу,— « Пусть их покорчит».

Алиса пришла на Пушкинскую довольно поздно. Все стояли с уже развешанными картинами. Она сняла бумагу, шурша ею, ругаясь, что та не влезает в карман, запихнула её в куртку. Немного волнуясь, как первый раз к мужчине – гинекологу, она неловко, держала холст перед собой.

— Ха. Тебе так долго придется так стоять, попробуй перевернуть картину вверх головой,— сказал бородатый длинноволосый мужик, лет пятидесяти, сидевший на раскладном стульчике в окружении своих «фламандских пейзажей. Между коричневых, от дыма пальцев, торчал окурок без фильтра.

— Сама знаю, — Алиса развернула картину в нормальное положение.

Бородатый, кряхтя, встал со стульчика и подошел к Алисе.

— Это ж штож тут изображено? — Бородатый, согнувшись, всматривался в картину.

— Не Ваше дело, — грубо ответила она.

— Штож ты, детка, такая грубая, так разговаривать с заслуженным художником. Рука чувствуется, но форма… У тебя других красок не нашлось?

— Я другие не использую,— Алиса нетерпеливо жевала жвачку.

— Ну тогда это не живопись, это перформанс,— с ударением на последний слог произнес бородатый.

— А мне по перформансу…— съязвила Алиса.

— «Белая ворона?»,— перевел с латыни подпись на картине бородатый, — да … все хотят быть уникальными. А как на самом деле зовут?

— Алиса…

— Необычно, как Бруновну. Ван-Гога, — представился бородатый.

— Чо ты мне по ушам ездишь, — щетинилась Алиса, — какая Бруновна, какая Гога?

— Эх, молодежь…. Алиса Бруновна Фрейндлих — великая актриса, наша землячка. А Гога – это я. Назвали «Ван Гогой», в честь великого импрессиониста. Игра слов. Один, единственный, в своем роде, Гога, понятно? Или еще про импрессионизм рассказать?

— Не надо, я знаю…, — Алиса смутилась.

— Можешь сесть, как устанешь.

— Спасибо, — нехотя ответила она.

Подходили «седеющие знатоки» в беретах, наводили резкость в своих очках, причмокивали, мотали головами и уходили в сторонку обсудить увиденное. Были простые зеваки. Пара накурившихся пацанов, гоготали, держась за животы, тыча пальцем в картину. Алиса даже сама хихикнула, от заразительности, но потом сделала суровое лицо и старалась не обращать внимания на этих придурков.

На набережной прогремел выстрел. Полдень. У Алисы затекли ноги и хотелось в туалет.

— Я отойду на пять минут?— попросила бородатого она.

— Давай, давай. А сколько ты за эту картину просишь, если вдруг?

Она пожала плечами.

Когда она вернулась, возле бородатого стояли два мужика, Алиса подошла и потянулась за картиной.

— Исфинитэ, сколько стоит фаша картина? – мужик в очках коверкал слова, как будто придуривался.

— Дойчлянд? — Алиса угадала акцент

— Я, я, дойчлянд, — закивали оба.

— Дойчлянд туристо? – уточнила Алиса.

— Я, я. Вир зинд туристен ауф Дойчлянд. – дядьки-немцы хорошо пахли и щедро улыбались.

Алиса смерила их.

— Фюнф хундерт, — решила козырнуть скромным немецким она.

— Дядьки-немцы переглянулись, один вытащил пятисотку рублей и протянул Алисе.

— Найн, еуро.

Дядьки опять переглянулись, но с большим удивлением.

— Зи зай ферюкт, — сказал очкарик, своему другу, и развел руками.

— Это ошень мноко. — второй тоже развел руками

— Так походите по базару…

Дядьки перекинулись парой фраз и отошли.

— Вот ты дура… брала бы пятисотку, её и за стольник не продашь, — вставил Гога

— Ну и пусть, будет как память,— надула губы Алиса.

— Драй хундерт,— раздался сзади голос немецкого дядьки.

Алиса повернулась, щурясь на солнце.

— Фюнф хундерт… и точка.

— Ой, дура…. — причитал Гога.

Дядьки некоторое время стояли, нерешительно переминаясь и еще раз оценивая картину. Очкарик полез во внутренний карман своей Неккерманновской куртки и вытащил пятьсот евро. Гога, что-то беззвучно прошамкал, не мигая, глядя на купюру. И снова обрел подвижность, когда она скрылась у Алисы в кармане. Алиса вытащила из-за пазухи бумагу и предложила её дядькам.

— Найн, найн,— брезгливо отмахнулся очкарик.

— Да я бесплатно, упакую…— Алиса немного постояла со скомканной бумагой, а потом взяла и буцнула её своим огромным башмаком. Комок подлетел на несколько метров, взвился, как победный салют её творчества, и упал невдалеке.

— Ну что? Кто дура? — спросила Алиса

Художники хранили гробовое молчание.

— Я угощаю, Гога!

У того загорелись глаза, он засуетился.

— Так я сейчас мигом, сложусь.

— Пойдем в кафе… — Алиса шагала впереди, а сзади волочился Гога, таща в огромной сумке картины.

— Какое кафе, ты чо? Пошли ко мне, я тут в двух кварталах.

Алиса остановилась посмотрела на Гогу. Нечесаный, в линялой «арафатке», в стоптанных сандалиях на босу ногу, мужик наивно улыбался редкозубой улыбкой.

— Ну, веди, — Алиса кивнула, пропуская его вперед.

Они шли по бесконечным аркам проходных дворов, разрисованных жуткими граффити и мокрыми в углах. Гога рассказывал о своем детстве, показывая достопримечательности, где развивались какие-нибудь события. Вскоре они пришли. Пробираясь по коридору с развешанными по стенам велосипедами, тазиками, прочим барахлом. Алиса столкнулась с соседкой, не дружелюбно зыркнувшей на неё.

— Вот сюда, — Гога открыл в комнату дверь и впустил Алису, сам протискиваясь с сумкой через узкий проем.

Он скинул с плеча сумку, поставил её у стены, вздохнул.

— Ну, где там? Доставай, — нетерпеливо распорядился Гога, суетно бегая глазами.

Алиса достала бутылку водки. Гога схватил её, разыскал глазами стакан. Плеснул в него немного и протянул Алисе.

— За твой успех,— не дождавшись ответа, опрокинул бутылку и большими глотками, как измученный жаждой человек, почти полностью её выпил.

Алиса выпила свое, скривилась, прикрываясь рукавом.

Утром, натягивая джинсы, Алиса проскакала на одной ноге, в поиске второго башмака.

— Тебе хоть восемнадцать есть?— трескучим голосом спросил Гога, лежа, подперев рукой голову и разглядывая детскую, безгрудую, фигурку Алисы.

— Почти. Не ссы педофил, не сдам.

Алиса вышла, нарочно хлопнув сильно дверью.

Из Дневника Алисы

«4 октября.

На хераси тебе был нужен секс с этим убогим? Дура! При… (зачеркнуто). Вонючий, грязный бабуин, старый и беззубый. Только и базарить о высоком искусстве, а просто помыться, нет сил, урод. Нет. Это я уродина. Но есть в этом одно положительное. Какое? Идиотка… Я знаю, как выглядит пятьсот евро, и это, может, благодаря ему. Не будь такой сволочью, за все надо платить».

Черная речка. Вороньем, слетевшимся на добычу, маленькими группами стояли молодые люди в черном, переговариваясь между собой. Этот паноптикум напоминал собрание перед каким-то мистическим карнавалом. Алиса замедлила шаг, с интересом рассматривая собравшихся. Она впитывала, глазами, необычную одежду, ушами, доносившиеся названия групп, некоторые она уже знала: «Визим Темптейшен» или «Парадиз Лост»…

— Чо, интересно? — высокая девушка с черными губами и тенями, во всем черном смотрела на Алису.

— Да, так…, — встрепенулась она, как будто застали врасплох.

— Иди к нам, — девушка поманила рукой, — Кристина, а тебя как зовут?

— Алиса…

— Как «В стране чудес»?

— Типа того.

Алиса достала пачку «Парламента», закурила.

— Фигасе… на широкую ногу, — обратила внимание на сигареты Кристина.

Алиса постояла, послушала всякий треп, как, кого ловили менты, как предки заставляли смывать краску. Она стала вертеть головой, думая в какую сторону ей свалить.

— Пойдем с нами, — Кристина обняла её за плечи.

Приехали на какую-то квартиру. Сильно накурено. Кроме табачного чада, чувствовался какой-то травяной запах. Сидело человек пять, четверо парней и девушка. Поздоровались, познакомились. Алиса закурила. Один парень, назвавшийся Антоном, протянул ей сигарету, скрученную им самим.

— Попробуй… Амстердам, — он произнес с таким важным и уважительным видом, что Алиса отложила в сторону свою сигарету и затянулась предложеной.

Появилась бутылка с каким-то поилом. Алиса сделала несколько глотков. Докурила сигарету. Два парня сидели о чем-то спорили. Звуки стали расползаться, в теле появилась какая-то легкость и смешливость. Её смешил вид этих парней. Алиса засмеялась, потом еще. Время провалилось. О чем-то спрашивали. Она что-то отвечала. Кристина села рядом и гладила её по голове, смотрела в глаза. Потом поцеловала. Алиса дернулась, от неожиданности, оттолкнула Кристину. Вышла на кухню. Там сидел парень с закаченным рукавом рубашки, прижав руку к груди, сидел в застывшей, неестественной позе. Её догнала Кристина, прижала к стене. Стала опять целовать. Алиса вяло отворачивалась.

— Ты чо? Пусти, да пусти ты, притырошная,— она вырвалась из её объятий.

Подошла к Антону.

— А где еще взять дури?

— Кайф, да? Понравилось? Тут, возле метро, стоянка такси. Спроси Жору «Шашечку».

— Ха-ха-ха… «Шашечку»?

— Его любимый анекдот: « Вам ехать или «шашечки?»… всем по десять раз рассказывает.

Алиса пошла к выходу. Кристина преградила дорогу.

— Ты уходишь? Поедем ко мне? Ты клеевая девчонка.

— Кристина! Я не по этим делам, — как можно решительней ответила Алиса,— отстань!

Возле метро стояли три машины. Первой стояла «шестерка». Алиса подошла к сидевшему водителю.

— А кто Жора?

— Я Жора,— с кавказским акцентом ответил удивленный таксист, — а тебе зачем?

— Трава есть?

— Не ори дура, не на базаре, — приглушенно прикрикнул Жора, посмотрел по сторонам,— тебя кто послал?

— Антон.

— Антон…, — Жора растянул имя, рассматривая Алису с ног до головы,— я дам, а ты дашь?

— Что? — как — будто не расслышала она.

— Что-что… Поработай, — и постучал себе в районе ширинки.

— Козел!

— Слышь, ты, соска, ты сейчас у всех отстрочишь, — он повернулся к другим «бомбилам.

Невдалеке стояла небольшая металлическая урна. Алиса схватила и швырнула её в лобовое стекло машины. Раздался звук лопнувшего стекла.

— Ах ты, сука, убью!— Жора попытался вылезть из машины.

Алиса побежала, слыша за спиной топот и матерные проклятия. За ней погнались Жора и еще один «бомбила». Алиса не на шутку испугалась, но ноги несли её, не смотря на огромные башмаки. Она заскочила в подворотню. Первый подъезд. На втором этаже горит свет. Она взмахнула на второй этаж. И стала отчаянно лупить в дверь.

— Откройте! Откройте! Насилуют!

Не сразу дверь открылась. Алиса вбежала и захлопнула за собой дверь. Послушала, перевела дух.

— Что произошло, девочка? — На неё, поверх очков, смотрела благообразная пожилая женщина.

— Вы извините, сейчас эти ублюдки уйдут и… я…, — окончательно приводя в норму дыхание, ответила Алиса.

— Проходи тогда, чего в прихожей-то стоять.

— Да я недолго, а потом уйду.

Женщина посмотрела на Алису.

— Куда же ты пойдешь, детка? Ночь на дворе. Проходи, чаю попьем. Я сама не сплю, бессонница, сижу, читаю. Ну, проходи, — голос был такой ласковый и спокойный, что Алиса, вспомнила бабушку Тоню, у которой провела почти все свое детство, пока мать челночничала и устраивала свою личную жизнь. Алиса сильно переживала, когда бабушка умерла, и хранила тот кусочек теплого воспоминания о ней, никому не показывая, и всячески оберегая.

Алиса прошла в комнату. Мягкий теплый свет от настольной лампы наполнял комнату какой-то сказочностью. Темные шкафы до потолка, заполненные книгами, торцы которых поблескивали мутным золотом, напомнили Алисе библиотеку из «Гарри Потера». Она моментально забыла о своих недавних опасных приключениях. И почувствовала маленькой девочкой, будто перенеслась в свое детство к бабушке Тоне.

Алиса держала чашку обеими руками, грея озябшие пальцы, отхлебывала понемногу горячий душистый чай.

— Что же ты, такая маленькая, так поздно гуляешь?

— Почему маленькая? Я уже студентка, — встрепенулась Алиса.

— А где ты учишься?

— В универе… «Технологии и Дизайна»,— не без гордости заметила Алиса.

— Из Ленинграда? — произнесла женщина, будто не было двадцати лет переименованного города.

— Нет. Из Онеги.

— Красивые места. Бери печенье, конфеты…

— Спасибо. А как Вас зовут? Меня Алиса.

— А меня, Виктория Николаевна. Я всю жизнь в этом городе. Только во время блокады нас вывезли. Мама, слава богу, осталась жива. А отец в первый же месяц погиб на фронте.

— А вы сами живете? А Ваши дети?

— Теперь сама. Муж умер, а детей бог не дал,— Виктория Николаевна запнулась, пригубила чай, будто запивая, ком подошедший к горлу, — всю жизнь занималась наукой… марксо-ленинской философией.

— Так Вы преподавали? А сейчас, что?

— Преподавала … в ЛГУ, сейчас на пенсии…

— А чо так, Вы же не старая?— Алиса немного освоилась.

— Ой девочка, не старая… старше меня, разве, что город…. Нет, работала и на пенсии, но не вписалась я в новый ритм, а потом муж умер… я не смогла…

— А Вы мне мою бабушку напомнили, она так же говорила… как-то спокойно, уютно. Сядет и рассказывает про свою жизнь. А я слушаю, слушаю и усну…— Алиса смахнула рукой выступившую слезу.

— Тяжело тебе? Чужой город. Люди озлобленны, а ты такая маленькая… Я вот когда приехала после блокады, город не узнала, пустой, чужой, — Виктория Николаевна рассказывала о своем детстве, городе, не торопливым, спокойным голосом, когда взглянула на Алису. Та спала, положив голову на руку, по-детски с полуоткрытым ртом…

Из Дневника Алисы

«17 октября.

… Я побывала в детстве. Такое чувство, как будто я никуда не уезжала и бабушка жива. Так тепло и спокойно. Как я не хочу быть взрослой…».

Зазвонил телефон.

— Привет мам… Да, на занятиях… Все нормально… Не голодная… Нет… Нет… Одеваюсь, да в куртке, теплой… да в шапке… Нет…Ну что? Нет не надо… Все нормально… Занята… Тёмке привет… Дяде Володе тоже… Ну, хорошо, папе… Ну, пусть не платит, Ладно, мам не начинай… Все, пока…

Алиса шла по Сенной площади. Мимо большой толпы людей, собравшихся на какой-то митинг. В мегафон, сорванным голосом, пылко кто-то призывал «объединится», «противостоять насилию», «власть», «режим». Размахивали немногочисленными флагами. Алиса подошла к нескладному высокому парню, стоявшему с краю. Он заглядывал поверх голов, вытягиваясь на носочках. От этого он казался еще выше.

— Э! Что за тусня?

Парень опустился на всю ступню.

— Марш миллионов…, — несколько гундосым голосом проговорил парень.

— Ни хераси, а где ж миллионы? Ха-ха, — Алиса развела руками. Тот посмотрел на неё каким-то извиняющимся взглядом.

— Пока немного, но скоро, будут миллионы…

— А … подтянутся? — Алиса одновременно жевала жвачку, курила и попивала пиво из бутылки.

— А ты зачем здесь?— спросил парень.

— Прикольно. Тебя как зовут? — Алиса, прищурив один глаз, рассматривала парня.

— Игорь, — несколько недоверчиво ответил он.

— Хочешь? – Алиса протянула бутылку.

— Я не пью…

— Ммм… Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет… Алиса, — она протянула руку.

— Очень приятно, — парень засмущался, Алиса рассмеялась.

— Учишься?

— В Судостроительном.

— Ммм… Сам сюда пришел или …

— Конечно сам, — удивленно посмотрел Игорь, — тут все сами пришли.

— Молодые люди! Возьмите ленточки ,— какой-то парень раздавал среди толпы белые ленточки.

— На хрена они?

— Что бы быть свободной, — пафосно заявил парень.

— Я и так свободна… ну, ладно давай, — они завязали ленточки.

Голос в мегафоне призывал не подаваться на провокации и, что они будут бороться за своих товарищей, пострадавших от милицейского беспредела. Алиса выкрикивала вместе с митингующими.

— Граждане! Просьба разойтись и не создавать неудобства для прохода через площадь! — голос из другого мегафона, помощней, чем у митингующих, был требовательным и настойчивым. В толпе зашевелились, зашумели, стали оглядываться. Алиса тоже оглянулась. Толпу окружили ОМОНовцы.

— Менты козлы! — крикнула Алиса и швырнула бутылку. Та, не долетев, разбилась об землю.

ОМОНовцы побежали на толпу, началась паника.

— Бежим! — крикнула Алиса, схватив Игоря за руку.

Они, только натыкались на снующих людей и были схвачены. Алису, как пушинку тащил здоровенный ОМОНовец. Она кричала, материлась, пыталась ударить ногой. Увидела, как Игоря пару раз протянули дубинкой. Он не сопротивлялся, только закрывал руками голову. Автобус набили довольно быстро. Алиса попыталась пробраться к Игорю.

— Зачем ты бросила бутылку? Все испортила. Это провокация, — бухтел Игорь.

— Да не парься ты…

В отделении протокол заполнял румяный рыжий лейтенант.

— Фамилия, имя, отчество…

— Рара Авис…

— Эстонка, что ли? – поднял глаза с белыми ресницами лейтенант.

— Сам ты, эстонец….

— Учишься, работаешь?

— Учусь… в сельхоз академии крупнорогатого пчеловодства.

— Так… посидишь в клетке, потом поговорим, — обиделся лейтенант

— Не имеете права, я не совершеннолетняя! — она упала на пол, сучила ногами, когда к ней подошел сержант,— сволочи, отпустите! Я сейчас разобью голову и скажу, что это вы, хотели изнасиловать!

На крик пришел какой-то майор. Выслушал лейтенанта.

— Выгоните её вон.

— И моего парня!— Алиса показала на Игоря.

Майор кивнул.

Они бродили по городу. Игорь оказался из далекого Новороссийска.

Из Дневника Алисы.

«3 декабря.

…Город закрасило белым. От этого все, что не белое, кажется черным. Игорь прикольный, хотя и зануда-заучка. Он показал мне интересные места. Много рассказывал о кораблях. Думаю, что он девственник, но быть его первой женщиной не хочу… Часто захожу к Виктории Николаевне. Она, как родная…».

Поздно вечером они ехали на трамвае. Молчали под монотонный стук колес. Трамвай остановился и в вагон ввалилась толпа каких-то пьяных гопников. Кричали, матерились. Вагоновожатая попыталась их утихомирить, но те стали её оскорблять и она скрылась в своей кабине.

— Давай выйдем,— сказал Игорь, нервно оглядываясь.

— Не бзди, прорвемся,— самонадеянно заявила Алиса.

Пацаны, громко разговаривали, вставляя отдельные слова в сплошной поток матерный выражений. Алиса пристально и тревожно наблюдала за ними.

— Чо смотришь, овца? Иди сюда!— сказал один из толпы, заметив взгляд Алисы.

— Прицеливаюсь…

Тот встал и подошел сам.

— Что ты делаешь?

— Прицеливаюсь,— громко и внятно повторила Алиса

— Ха-ха! Ты чо? Снайпер, ссыкунда?

— Отстаньте от нас,— вмешался Игорь, попытался встать.

— Сиди, стручок,— сильно толкнул Игоря.

Трамвай остановился на очередной остановке. Пока парень отвлекся на Игоря, Алиса изо всех сил приложилась своим башмаком в пах. Тот согнулся от боли и простонал.

— Валим!— дернула за рукав Игоря.

— Они выскочили из трамвая и побежали во двор обычного Питерского «колодца». «Гопники» кинулись за ними. Догнали в самом «колодце».

— Что, сука? Сейчас ответишь…

Алиса попыталась еще раз ударить подошедшего, но промахнулась. Откуда-то вылетевший удар, попал в область виска. Алиса отлетела, потеряв сознание.

Она очнулась от криков из окон. Кричали жильцы. Она услышала топот убегающей толпы, в гулких сводах арки. Игорь лежал неподвижно, лицом вниз. Рука, как-то неестественно вывернута. Алиса потормошила его, но он остался неподвижен. Она попыталась перевернуть его на спину. Открылось большое темное пятно на утоптанном снегу.

— Игорь! Иго-о-орь! – закричала Алиса.

— Я сейчас милицию вызову! — кричала из окна какая-то бабка.

— Сволочи! — дыхание перехватывала дикая обида, боль и душившие слезы.

Из Дневника Алисы.

«18 апреля

… Уже совсем тепло. На прошлой неделе выписали из ПНД. Чувство обиды не утихает. Обиды и злости на себя. Из-за меня погиб ни в чем не повинный человек. Очень жалко и обидно…

… На Дворцовой видела китайцев в ярко-красной одежде. Они так выделялись на сером…

«6 июня.

… Виктории Николаевны больше нет. Даже не знаю, где её похоронили. В сердце сплошная рана. Меня здесь ничто не держит. Хочу в Тибет…

Эпилог

— Российское телевиденье, здравствуйте! Поздравляем Вас с открытием первой персональной выставки за пределами нашей страны. Это большой успех. Скажите, Алиса, Вы назвали свой цикл «Белая книга Тибета». Здесь ваши работы, только тибетского периода? А более ранние? Какова их судьба?

— Спасибо. Да, действительно, здесь в Дюссельдорфе представлены работы только тибетского периода. Все работы более раннего, уничтожены мною, хотя одна, может и сохранилась, здесь в Германии, но её судьба мне неизвестна.

— В ваших работах преобладают очень яркие, сочные цвета. Невольно, говоря о Тибете, вспоминаются картины Николая Рериха. Его творчество,

может быть, теософия Рериха, оказывали на Вас какое-нибудь влияние? И если да, то как?

— В живописи я больше полагаюсь на свое видение и собственные ощущения, а вот мировоззренческая позиция, мне очень близка. И именно на Тибете я многое поняла.

— Алиса, скажите какие Ваши дальнейшие творческие планы?

— После выставок в Германии, я буду выставляться в Австрии и во Франции, а потом, видимо, вернусь на Тибет. Там легко.

— Спасибо, успехов Вам… Специально для российского телевидения, с выставки известной российской молодой художницы Алисы Чижовой. Сергей Бродецкий и Андрей Феропонтов, Дюссельдорф, Германия….

Декабрь, 2012г.

КИНО-МАРКИЗА

роман ***о жизни кинозвезды***,
Борис Горзев написал
на основе реальных событий.

Героиня переживает раннее сиротство,
ужасы детдома, насилие,
однополый секс, ревность, ***славу,***
страсть, инцест,
и, наконец, ***любовь!***

ЛИТЕРАТУРНОЕ za·za ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Виталий Ковалев, Олеся Янгол. Побережье наших грез. Повесть в новеллах.

Продолжение. Начало в №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Ковалёв Виталий Васильевич, 1957 г., художник, г. Юрмала, Латвия. С 1981 по 1991 работал главным художественным редактором в издательстве «Zinatne» Академии Наук Латвийской ССР. Как художник-иллю-стратор сотрудничал с рижским книжным издательством Polaris. Как художник работает в области графики, пастели и дизайна световой рекламы. Имеет публикации рассказов и повестей в латвийском журнале Eva&Adam, «Волга XXI век» (Саратов), «West/East», Лос-Анджелес, Калифорния, «Приокские зори» (Тула), «Сибирские огни» (Новосибирск). Был членом редакционной коллегии литературного журнала «Волга XXI век».

Олеся Янгол (Чмыр Олеся Владимировна), 1973, художник, г. Юрмала, Латвия. Работает в области станковой живописи и оформления книг. Публиковалась в журналах: «Приокские зори» (Тула, Россия), «Волга XXI век» (Саратов), литературная газета «Изюм» (Тула), «Чешская звезда» (Чехия), «Север» (Карелия). Член редколлегии журнала «Приокские зори» (Тула). Является одним из авторов двухтомного сборника «Мантрици» (изд-во «Карпатська вежа», Украина). Также, в сборник включены иллюстрации и обложка к книге.

Два автора. Он и она. Однажды решили — а не написать ли нам рассказ, а может быть, повесть, а может, целый роман? Сначала сделалось смешно, потом страшно, но… Строки рождались одна за другой. Переплетались мысли, идеи. На пути встречались тупики и глухие стены. И все же…

Через два года они воскликнули — кажется, мы написали повесть! И мы сделали это вместе…

Авторы

41
Все вместе

Утром я проснулся от стука резко распахнувшейся двери. В тусклом свете раннего утра я не мог рассмотреть лицо Инты, но почувствовал её улыбку, дыхание и лёгкое прикосновение её руки к моим волосам.

— Ну вот, твоя Дианка нас и застукала, — прошептала она мне на ухо со смешком.

— Ага!.. Так нечестно! — воскликнула Дианка, быстро взбираясь к нам на кровать.

В своей жёлтой пижаме она напоминала мне разлохмаченного цыплёнка. Уселась на одеяло между нами и сердито сложила руки на груди.

— Дианка, это врываться в комнату нечестно, — сказал я, тормоша её волосы. — Договариваемся, что в следующий раз ты придёшь только, когда мы позовём.

— Ладно, — вздохнула Дианка, ложась между нами на одеяло. — Инта, погладь мне спинку, а потом разомни ушко.

— Ничего себе! Не слишком ли это будет большая лафа!

— Ага! Надо, папа, жить так, чтобы лафа была. Правда, Интик?

— Что ты будешь делать сегодня? — спросила Дианку Инта, поглаживая её спинку.

— Сначала позавтракаю, потом Мишке позвоню. А потом пойду наблюдать.

— Наблюдать? — удивилась Инта. — А что ты наблюдаешь?

— Да всё, что угодно. Везде что-то интересное. Папа меня научил, что вообще, ничего неинтересного в мире нет. Обо всём, что я замечаю, я рассказываю папе. Ему это может пригодиться в книге. Я ему так помогаю.

— Очень интересно, Дианка, — Инта придвинулась к ней поближе. — Расскажи нам какое-нибудь наблюдение.

— А ты ушко теперь разомни. Можешь посильнее. Поскладывай его конвертиком… Наблюдение?.. Ну, слушайте. Я тебе, папа, об этом ещё не рассказывала. Это было в те дни, когда оттепель была. Шла я по дороге вдоль канавы, смотрела на растаявшую воду и думала о лягушках. Они же на зиму в лёд вмерзают, и так зимуют. А тут, вдруг, всё кругом растаяло. Лягушки ведь могут проснуться. А если снова мороз? Плохо им тогда будет. Шла я и думала об этом. А мимо меня по дороге проносились машины. Люди ехали по своим делам и во всём белом свете, наверное, только мне одной и было дело до лягушек. Но тут я подумала — а случись что-нибудь плохое со всеми людьми на земле, ведь лягушкам тоже не будет до этого никакого дела. Будут себе радостно квакать на кувшинках, нырять и плавать наперегонки.

Шла я так, шла и вдруг увидела траву у края канавы. Она склонилась над водой и только самыми кончиками касалась её. Всё было неподвижно, словно приготовилось к чему-то очень-очень важному. И тут… Тут подул ветер. И все травинки стали своими кончиками рисовать по воде. Ветер дул, а они рисовали себе и рисовали, но тут же на воде не оставалось никакого следа. Вода текла гладкая-гладкая, и в ней отражались облака.

— Замечательное наблюдение, Дианка, — сказала Инта и поцеловала её в щёку. — Ты и сама, наверное, не понимаешь, какую важную вещь ты заметили. Ведь, художники и писатели начинают работать только, если «подует ветер», что-то взволнует их, всколыхнёт. И, если посмотреть на это откуда-то со стороны из вечности, то видно, что все мы пишем и рисуем на воде. И не останется от этого никакого следа.

— Что это тут за грустные мысли, — обнял я Дианку и Инту.

— А я вовсе и не думаю, что это грустно, — сказала Инта. — Всё правильно. Это и есть жизнь. И вообще, самое главное, что мы сейчас все вместе.

42

Снежик

Дианка застегнула молнию белой куртки и, надевая красную вязаную шапочку, посмотрела наружу сквозь узкий, стеклянный проём в двери. Свет солнца, отражённый от снега, озарил её лицо.

Дианка открыла дверь и вышла наружу. Ну и слепит! Она чуть зажмурилась и подумала, не вернуться ли за тёмными очками, но тут же рассудила, что в лесу будет не так солнечно.

В лесу, и вправду, царил голубоватый сумрак, и было оглушительно тихо. Идя между деревьями, среди пятен солнечного света, она чувствовала, как тишина давит на уши, и даже хлопнула в ладоши, чтобы убедиться, что звуки в этом мире действительно есть. И тут же рассмеялась, когда на неё упала шапка пушистого снега, запорошив всё лицо. Она отёрла мокрые ресницы и, сощурившись, посмотрела вверх на солнце, пробивавшееся сквозь заснеженные ветви сосен. Она сжимала и разжимала ресницы, и перед ней, во всё небо, вспыхивали яркие узоры.

Дианка сделала ещё несколько шагов по глубокому снегу и вдруг, остановилась. Под деревом стоял снеговик с озорной улыбкой, выложенной на его лице тонкими, гибкими прутиками. Но больше всего её поразил ярко-оранжевый нос-морковка. Он был замороженный и янтарно — полупрозрачный. Она подошла к снеговику и легко коснулась кончика его носа и прутиков, изображавших руки.

И тут только поняла, как одиноко ей было брести одной по лесу, пока она не встретила этого снеговика и не увидела его приветливую улыбку. А ведь, как здорово, когда тебе улыбаются, подумала она. И тут же, почему-то вспомнила о Янке и решила ей обязательно сегодня написать. Она часто раздумывала, как начать письмо и теперь поняла, что напишет про снеговика, про его полупрозрачный нос и прутики ручки.

Дианка надела снеговику на руки свои варежки, и от этого он стал ещё забавнее. Достала телефон, сфотографировала его и присела на пень, укрытый снеговой подушкой.

— Эй, приятель, давай знакомится! Меня Дианка зовут. А тебя?

Дианка вытерла под носом, шмыгнула, и засмеялась. Потом зажала кончиками пальцев ноздри, и высоким голоском пропищал — меня зовут Снежик, и я только вчера появился на свет.

— Вот интересно, — подумала она вслух, — кто тебя слепил? Я, в этой части леса еще не встречала детей. Наверно это с Вороньей улицы ребята. Те, которые однажды мне корзинку грибов подарили. Тропинка, как раз туда ведет. А у меня здесь, вообще мало друзей. Мишка только, и еще Интик, и еще папа. А еще есть одна девочка, ее Янка зовут, но она так далеко живет,

что я даже не знаю где. И вообще, мы с ней даже не друзья. Но я хочу с ней подружиться, потому что обидела ее. Знаешь, Снежик, оказалось, что, иногда, я могу быть очень вредной.

Дианка встала с пенька, подошла к снеговику, и погладила его по снежной голове.

— Я хочу с ней подружиться, — сказала она, — вот только не знаю, как она к этому отнесется.

— А ты не думай, — снова пропищал Снежик, — напиши ей письмо, а если она не ответит, ты напиши ещё одно, и еще, и еще. Можно даже тыщу пятсот писем написать. А потом она, если, конечно не злюка, точно ответит.

Дианка снова присела на пенек.

— Слушай, Снежик, напишу-ка я ей так…

Она достала из кармашка куртки блокнот и начала писать, тщательно выводя каждую буковку.

«Привет, Янка!

с Новым Годом тебя!

Это я, Дианка. Сейчас я сижу в зимнем лесу со своим новым другом снеговиком. Его зовут Снежик, и он очень забавный. Он передает тебе огромный, снежный привет, и говорит, что Дианка, то есть я — бяка, потому что обидела тебя, и теперь не знает, как попросить прощения… Янка… в общем, я решила тебе писать письма, и может быть, ты однажды мне ответишь и даже простишь.

ВОТ».

Дианка перечитала написанное, и подняла глаза на Снежика.

— Как тебе? — спросила она. — Да, так я и начну, а допишу письмо вечером. Пока, Снежик! Не скучай!..

Она сошла с едва заметной тропки в снегу и побрела в сторону моря. Поднимаясь вверх по заснеженному склону дюны, она слышала над собой скрип сосен на ветру и видела быстрый лёт серых, туманно-размытых облаков.

С высоты дюны она увидела широкий простор моря. Небо над горизонтом было тёмным, надвигалась снежная буря. Вдоль берега тянулся ледовый покров с вздыбленными торосами. С высоты Диана оглядела берег, но не увидела ни одного человека.

Ещё несколько мгновений, и вокруг неё закружились снежинки, стал подниматься ветер. Снежинки летели прямо в её лицо, она ощущала их на губах, щеках… Дианка открыла рот, чтобы снежинки и в него влетели, но они упорно не желали этого делать. Тогда она высунула язык, но он быстро стал замерзать, так и не поймав ни одной снежинки.

Дианка чуть прикрыла глаза и представила берег моря с высоты низко летящих туч. Она увидела седое море, испещрённое грядами пенистых волн, белую полосу заснеженного, безлюдного берега и маленькую, одинокую точечку на дюне, под высокой сосной. Это была она. Дианка с любопытством рассматривала себя, такую далёкую и какую-то чужую. Такой видят её

другие люди. И, если той точечке грустно, или у неё что-нибудь болит, то этого никто не чувствует и никто об этом не знает. И даже, если не станет её, то ничего в мире не изменится.

Дианка попыталась представить, что её нет на свете. Она с удивлением смотрела на тучи, на косо летящий снег, прислушивалась к грозно шумящему морю, а потом снова представляла, что её нет на свете. Но странное дело, она могла представить что-то одно из двух, но не могла представить всё это одновременно, словно сама мысль о существовании мира и не существовании её, невозможна. В какие-то мгновения, ей казалось, что ещё чуть-чуть, ещё небольшое усилие, и она почувствует что-то непостижимое, раскроет какую-то тайну, которая сделает всё понятным. Но у неё не получалось. Ею, наоборот, стала овладевать какая-то дремота, Дианка даже покачнулась, стоя на краю покатого, заледенелого склона, и ухватилась рукой за ствол дерева.

Она достала мобильник и сделала снимок моря. Из-за снега получилось не очень хорошо, но всё равно, она пошлёт этот снимок Янке.

Вечером, Дианка уединилась в своей комнате, сказав всем, чтобы ей не мешали, так как она будет писать роман. Но ей было не до романа. Все мысли были о письме.

Она уселась с ноутбуком в глубоком кресле под завывание ветра за окном, и стала писать…

«Мы живем на берегу. Каждый раз, когда волнуется море, я слышу его. И я думаю, что море живое. Я однажды рассказала об этом в школе нашим девчонкам, и они стали надо мной смеяться. Больше я им ничего не рассказываю. А тебе я хочу рассказывать, потому что ты понимаешь меня. Ты можешь не отвечать на мои письма. Я все равно буду тебе писать. Я, почему-то уверена, что ты прочитаешь их.

Сейчас я опишу тебе мою комнату. Представь, это такая комната, в которой стоит моя кровать, письменный стол, бабушкин старинный комод, торшер и кресло. Я очень люблю комод, кресло и торшер. Это все бабушкино. И оно такое старинное-престаринное. Все резное. Из красного дерева.

Давай я расскажу тебе про свой торшер? Представь себе такую палку на тумбочке. Вернее — тумбочку на палке. Ха-ха! Представила? А теперь представь эту палку очень красивой. Она вся резная с золотыми колечками, надетыми на деревянные шарики. А на самом верху палки, оранжевый абажур с бахромой. А тумбочка внизу на колесиках, и такая маленькая-маленькая, с дверцей. И эта тумбочка вовсе и не тумбочка. Это домик для моего любимого ослика.

Сейчас я тебе про него расскажу. Этот ослик очень ценный, потому, что ещё папа играл с ним в детстве. А теперь я с ним играю. Он пластмассовый, и у него ножки, шейка, хвостик и голова все вертится в разные стороны. Он словно живой. Глазки нарисованы. И они такие грустные, с длинными ресницами. Мой ослик часто грустит, но я его не обижаю. Я всегда укладываю его спать в домике-тумбочке. Там у него настоящая комната с постелькой. Я укрываю его одеялком и глажу, пока он не заснет. А днем я

готовлю ему еду. Беру на кухне какую-нибудь крупу, наливаю воды, и получается кашка. Он очень любит кушать такую кашку.

Вот так я играю. А ты, Янка, во что играешь? Или ты уже не играешь? Ведь ты уже совсем взрослая. Тебе пятнадцать лет. Наверное, когда мне будет пятнадцать, я тоже перестану играть. Но ослика своего никогда не выброшу. И бабушкин торшер тоже.

Я люблю сидеть в кресле и читать книжки. Моя любимая книга на сегодня — это «Муми-Тролли». Ты читала?

Жаль, конечно, что ты не можешь мне ответить. Было бы здорово, например, о книжке поговорить. Я очень люблю читать всякие сказки, приключения и фантастику.

А еще я люблю играть в космический корабль. Я его строю в папином кабинете из стульев и кресла. Потом все накрываю одеялом, и устанавливаю внутри всякие приборы. А потом лечу в космическое пространство. Жаль, тебя нет здесь, а то полетели бы вместе. Однажды я вышла за пределы Солнечной системы. Янка, я там такое видела! Такое!

Ну, ладно… Меня зовут ужинать.

Я побегу. Ты не скучай!

P.S.

Знаешь, о чём я сейчас подумала? О Снежике. Когда я от него уходила, тоже сказала ему: «Не скучай!» Интересно, как он там сейчас в лесу? Совсем один, в темноте, среди снежной бури…»

43

Дианка снимает фильм

Я соскребал лопатой снег с дорожки, когда из дома вышла Дианка и уселась неподалёку на лавочке. Она достала свой телефон и, комментируя вслух, начала снимать видео:

— Это наш дом, — сказала она, снимая, — можно было бы обойти вокруг и показать тебе его со всех сторон, но видишь, какой снег? Я там по пояс провалюсь… Глянь на эту сосну. Это после бури она сильно наклонилась. Из моего окна в спальне она тоже видна. А дальше, за деревьями, море. Замёрзло почти до самого горизонта. И это всего за пару дней! Интика я тебе потом покажу, она на кухне вкусный пирог готовит. А это папа снег с дорожки соскребает. А я сегодня работаю лавочницей, с лавки видео снимаю,… Дианка остановила съёмку.

— Что это ты делаешь? — спросил я у неё.

— Снимаю видео для Янки. Я сейчас пойду ей Снежика сниму.

— Это ты отлично придумала! Ей будет интересно.

— Ага!.. Она посмотрит и, может, захочет к нам приехать. Было бы здорово! Вдруг мы подружимся.

— Вполне возможно.

— Да… Помнишь, мы однажды с тобой вестерн смотрели. Там один дядька говорил: «Самые настоящие дружбы часто начинались с хорошей драки».

— Помню, — кивнул я.

Дианка встала и пошла через двор в сторону занесённого снегом леса.

— Не задерживайся! — крикнул я ей. — Скоро ужинать будем.

Она оглянулась, махнула мне рукой и скрылась за деревьями.

В лесу Дианка остановилась и снова достала телефон.

— Янка, я снова снимаю. Сейчас я в лесу. Вроде бы, и нет здесь сейчас ничего интересного, но это только так, кажется. Прислушайся, как шумят верхушки сосен! Обожаю их слушать! Летом я никогда окно не закрываю и, когда ложусь спать, засыпаю под этот шум. И, что удивительно, он всегда разный. Летом, он радостный, словно вот-вот случится что-то очень хорошее. А осенью этот шум одинокий и грустный. Стоишь, слушаешь его и кажется, что один ты на всей земле. А зимой… Давай-ка попробую почувствовать. Ты тоже его сейчас слышишь. Почувствуй… Мне кажется, что если этот звук перевести на земной язык, то получатся слова — «всё будет хорошо!»… Да, именно так… Ну вот, мы и до Снежика дошли. Я тебе писала о нём. Познакомьтесь… На нём мои варежки, очень ему идут. Смотри, какой у него нос-морковка!.. Сейчас крупней покажу… Заледенел и совсем прозрачный. На янтарь похож. А вокруг нас деревья, снег с веток сыпется, и темнеет. Эх, жаль, что тебя нет здесь. Была бы ты здесь, было бы веселее... Ну, буду возвращаться. Надеюсь, что прогулка тебе понравилась. В другой раз я ещё что-нибудь сниму тебе. Пока, Янка!

44

Занесённые снегом

Вечером, мы работаем вместе с Интой — я пишу, а она делает иллюстрации для уже написанного текста. Тусклый, зимний свет с трудом пробивается сквозь заснеженные окна.

— Мне в моём доме было бы сейчас очень одиноко. Да и прежде мне, временами, бывало там не по себе, — сказала Инта, нанося на рисунок тонкие уверенные штрихи.

— Здесь ты тоже дома, — сказал я ей.

— Только сами в себе мы можем быть дома. А кров, это совсем другое, он может меняться у человека.

— Я понимаю тебя, но для меня, всё же, существует понятие дома.

— Да, потому что у тебя есть любимое дело и, главное, есть Дианка.

Она замолчала, и только слышались росчерки пера по бумаге.

Я вдруг вспомнил, как, расчищая от снега дорожку, остановился на миг, посмотрел на дом и мысленно поблагодарил Бога за то, что, наконец-то, в нашем доме во всех комнатах горит свет. Долгие годы он казался мне пустым и тёмным, и единственным светом в нём была маленькая Дианка.

Инта оглядела свой рисунок и показала его мне. Он был чудесным.

— Пойду ставить чай, — сказала она вставая. — Кажется, Дианка уже пришла.

— Я сейчас приду. Только чуть закончу.

Внизу, действительно хлопнула дверь, послышался Дианкин голос, а через несколько минут она и сама появилась в комнате и подсела к горящему камину. Она протянула руки к огню и, согрев их, потёрла ладонями разрумянившиеся щёки.

— Пап, а у нас дырка в заборе! Во-о-от такая!

Дианка нагнулась в пол и резко разогнувшись, подпрыгнула, подняв вверх руки.

— По-моему у нас забор ниже, чем ты показываешь, — заметил я.

— Пап, но ты ее не заделывай, она мне нужна.

— Зачем тебе дырка в заборе? Будешь пробираться к морю через потайной лаз?

— Кажется, у меня появился новый друг, — таинственно произнесла Диана.

— Ага, значит, Мишке изменяешь? — покачал я головой.

— Ха-ха! Пап! Ну, ты скажешь!

Ребенок мой расхохотался, и плюхнулся в кожаное кресло.

— Скорее всего, тогда уж Расселу изменяю. Пап, к нам во двор, приходит в гости очень хороший собак. Я его так и назвала — Labs suns. (Labs suns — латыш. Хорошая Собака). Это Эмма всегда так с собаками общается. Она всегда им говорит: — Labs suns! Labs suns! И они все ее любят. Я думаю, что её здесь все собаки знают. А она им всегда что-нибудь вкусненькое приносит. А теперь у меня тоже есть собак — чёрный с белыми лапами. И я его буду угощать вкусненьким.

Дианка продолжала рассказывать, но я уже углубился в работу, и, кажется, потерял нить разговора.

— Да, цыпленок, да, — не слыша о чем речь, повторял я, пытаясь подобрать нужное в тексте слово.

— Так значит можно?!

Дианка подскочила ко мне сзади, обхватила шею руками, затормошила, и вконец сбила с мысли.

— Что — можно? — переспросил я, потирая уставшие от монитора глаза.

— Ну, ты сказал сейчас — да, цыпленок, да — значит можно!

— Что можно-то? — все еще не понимал я.

— Ну, что-что? Песика себе взять.

— Какого песика?

— Ой, пап, ну тебя! Ты когда работаешь, с тобой каши не сваришь.

— Диана, мы не можем позволить себе собаку. Я крайне занят, ты в школу ходишь. А собаке, сама знаешь, нужно внимание.

— А у Мишки — Рассел? Он почти целый день один, пока Миша из школы не придет. А отец его вообще редко здесь бывает. И ничего, живут.

— Но ты же ничего не знаешь, про этого пса. Он, наверняка чей-то. У нас же нет бездомных собак.

— Да, папочка, тебе хорошо, у тебя теперь Интик есть. А у меня никого.

Сидя в кресле, Дианка скрестила руки на груди и, сердито надула губы.

— Ну что ты за человечек такой, — я присел рядом с ней на корточки и взял за руку. — Ну, ты подумай — первый раз видишь собаку, и уже начинаешь считать ее своей. Она же где-то живёт. У неё есть хозяин. И вообще, может этот пес и не захочет у нас жить.

— Почему это не захочет! Он же сам к нам приходит через дырку в заборе. Я ему вчера свой бутерброд отдала. Он знаешь, как его слямзил. Он такой интеллигентный. Сам не просит. Просто сидит столбиком и ждёт. Я сбегала на кухню, сделала бутерброд и вынесла ему. Видел бы ты, как он его скромно кушал. Он очень воспитанный пес, уверяю тебя.

— Вот видишь — воспитанный — значит, живет с кем-то, кто его уже воспитал. А в гости пусть приходит.

— Ну, ладно, — вздохнув, согласилась Дианка.

— Пойдём. Инта нас зовёт.

Все вместе мы пили на кухне чай с лимоном. Пирог Инты оказался таким вкусным, что Дианка отрезала кусочек за кусочком, что бывает с ней редко. Снегопад за окном не ослабевал.

— Интик, а ты картины свои продаёшь? — спросила у неё Дианка.

— А почему ты спрашиваешь?

— Просто интересно.

— На последней выставке купили две работы… Но вообще-то, сложно сейчас с продажей картин. Вот, закончатся у меня деньги и,… даже не знаю. Надо работу искать. Искусством не проживёшь.

— Если пойдёшь работать, то не будет у тебя времени рисовать картины, — заметила Дианка. — Папе тоже давно уже не платили. Всё аванс обещают...

— Дианка, всё-то ты знаешь, — усмехнулся я.

— Ничего, ребята, — сказала Динака, отрезая кусочек пирога, — вот, я вырасту и мы точно, без денежек не останемся. У меня же столько идей! Совсем недавно, например, пришла в голову замечательная идея. Все знают, что есть чемоданы на колёсиках. Так?.. А теперь вопрос — почему же никто не додумался к такому чемодану на колёсиках, приделать сиденье, руль и педали. Представляете, садится человек на свой чемодан, и поехал себе. Не надо чемоданы возить. На чемоданах надо ездить!

— Замечательная идея! — заметил я, улыбнувшись Инте.

— А что, мне нравится эта мысль, — одобрила она, еле сдерживая смех. — Давайте ещё чаю вам подолью.

— Ага, мы сегодня гуляем! — воскликнула Динка. — Интик, ты готовься, мы сегодня будем фильм смотреть из нашей с папой коллекции. Мы можем смотреть прямо из кровати. Я принесу мороженое, орешки, шоколадку…

— Давайте! — радостно согласилась Инта.

Дианка, положила себе в чай кусочек лимона и сказала:

— Если мою идею нового чемодана предложить японцам, то они быстро всё это сделают и заплатят нам хорошую денежку. Будешь, Инта, спокойно картины рисовать.

— Не так всё просто, Дианка, — сказал я. — Надо будет тебе, сначала, патент на изобретение оформить.

— Оформим, папа. У меня идей, целая голова, — продолжила она. — Сегодня, когда по лесу шла, пришла мне в голову мысль. Смотрите, надо, взять и на всей земле, через каждые двести-триста метров сделать скамеечки. И если на всей земле понаставлены скамеечки, то спрашивается — зачем тогда поезда? Всю землю можно обойти пешком. Взял себе рюкзачок, кастрюльку, спичечки и пошёл ножками. А устал — вот, тебе скамеечка. Садись, костёрчик разожги, супчик свари, отдохни и дальше топай. Почему до этого не додумались? Материала, что ли надо много для скамеек? Так на рельсы его надо ещё больше.

— Не все захотят ходить, — сказала ей Инта. — А с поездом вон, как удобно. Сел да поехал.

— Потому все люди такие больные, — вздохнула Дианка, — Вместо того, чтобы сидеть на моих скамеечках, они сидят на скамеечках в очередях в поликлиниках. Нет, ребята, ножками надо топать.

— У тебя есть дельные мысли, — сказал я Дианке.

— Конечно! — согласилась она. — Я думаю, папа, что появилась в мире неспроста, а для того, чтобы изменить человечество.

Инта прыснула от смеха, но тут же подавила улыбку.

— Не обижайся. Просто идеи у тебя, почему-то, очень смешные, — сказала она.

— А кому нужны скучные идеи? — отпив чай, заметила Дианка.

Подошло время киносеанса. Дианка привычно, организовала мизансцену для просмотра фильма. Притащив из кухни целый поднос с тремя порциями мороженого с орешками, она улеглась с Интой в постель. Я устроился рядом с ними в кресле. Долго нам не удавалось начать просмотр фильма, так как Дианка, то и дело, вспоминала вдруг, о каких-то ещё вкусностях, припасённых для такого случая. Наконец, она угомонилась.

— Что будем смотреть? — поинтересовалась Инта.

— Будем смотреть Усудзюку, — сказала Динка.

— Это кто такой? — удивилась Инта.

— Так она зовёт японского режиссёра Ясудзиро Одзу, — пояснил я.

— Ага, — кивнула головой Динака, — но Усудзюка мне больше нравится.

— А почему ты такой взрослый фильм выбрала? — спросила Инта.

— Мне нравятся фильмы про японцев. Они такие необычные, что мне иногда кажется, что все японцы — инопланетяне.

— Давайте смотреть Усудзюку, — согласилась Инта.

А за окном мела метель… Дианка лежала, прижавшись к локтю Инты, и глаза её время от времени слипались. Но она мужественно боролась со сном, до самого конца фильма.

— Ну, кроха, а теперь спать, — сказала Инта, поглаживая её спинку.

— У меня каникулы, я могу поздно ложиться.

— Так ведь ночь уже.

— Интик, ночью — самое интересное!.. А помните, как здорово было тогда ночью у тебя на хуторе. Жаль, что мы не пошли посмотреть, что же это были за огни в лесу. Представляете, если бы это были действительно инопланетяне! Забрали бы они нас в тарелку и перенесли бы на свою планету. А на этой планете, оказалось бы, нет совсем ни художников, ни писателей. Мы бы всю их планету завалили бы картинами и романами. Эх, и посыпалось бы на нас инопланетное баблецо!..

— Это что ещё я слышу! Это кого я так воспитал! — воскликнул я и чуть шлёпнул Дианку по попе.

Она засмеялась и закопалась под одеяло.

— И на эти денежки купили бы мы межзвёздный корабль, — продолжила мечтательно Динака из-под одеяла. — И колесили бы мы по всей Вселенной вместе с биороботом, управляющим нашим кораблём. Останавливались бы на разных планетах… Вот, это жизнь!..

— Как тебе такая жизнь? — спросила меня с улыбкой Инта.

— А что, совсем не плохо… Колесить по Вселенной, кто бы отказался!..

45
Море тьмы

Однажды утром, когда оттепель окутала туманом дом, а по подоконникам стучали капли тающего на крыше снега, Инта сказала, что хочет поехать к подруге в Таллин. Мы с Дианкой проводили её до самой Риги и посадили в автобус международных линий. Дианка, то махала ей рукой, то забегала в автобус, вспомнив, что забыла сказать о чём-то очень важном.

А потом автобус тронулся. Лицо Инты было чуть видно за стеклом, отражавшим небо, шпили старого города, и стаю взлетевших голубей.

Мы стояли одни, на опустевшей платформе автостоянки в мельтешении снежинок, которые тут же таяли на асфальте.

— Пошли, погуляем по Старой Риге, — предложил я Дианке.

— Давай. Мне не хочется ещё домой.

Мы шли по узкой улочке старого города, мимо рождественских витрин, сверкавших огоньками в обрамлении хвои, припорошенной снегом. В стеклах витрин отражался падающий снег и ярко горящие витрины магазинчиков через дорогу, напротив. Всё это смешивалось вокруг нас в водовороте искр и озаряло янтарно-тёплым светом снег под нашими ногами. Я ощущал на лице прохладу приближающейся ночи и чувствовал в своей руке тёплую ладошку Дианы. Капюшон её куртки был запорошен снегом и даже на ресницах сверкали снежинки.

— Папа, посмотри, когда мы шли здесь в прошлый раз, велосипед этого велорикши тоже стоял у того кафе. Наверное, он к кому-то здесь заезжает.

— Похоже на то.

— Давай и мы зайдём перекусить и согреемся.

В кафе было людно. Не одни мы решили прогуляться по городу в этот вечер, столики заняты целыми семьями, и было много детей. Мы взяли по большому бутерброду с лососем, по стакану чая с лимоном и удобно устроились у окна. За окном мела метель, залепляя стёкла снегом. Дианка достала телефон и сфотографировала окно, освещённое снаружи уличными фонарями. В их сиянии мельтешили тёмные на фоне света снежинки. В витринах через дорогу, зажигались и гасли золотые и синие звёзды, вспыхивали фигурки белых ангелов.

— Пошлю Янке фотку, — сказала Дианка, засовывая телефон в карман куртки. — Здорово было бы, если бы и она сейчас была с нами. Ей бы понравилось в нашем городе. Правда?

— Тебе бы этого хотелось? Может, так и будет, — сказал я. — Почему бы ей и не приехать.

Дианка чуть погрустнела, опустила глаза.

— Я написала ей, — сказала она, вздохнув и тут же, улыбнувшись, продолжила, — как там наш Интик?.. Может, и она сейчас развернула сандвичи, что мы с ней сделали и, как и мы пьёт чай, смотрит в окно и думает о нас.

— Позвони ей, — сказал я.

Дианка быстро достала телефон, набрала номер и, глядя в окно, стала ждать.

— Алё! Интик!.. Мы тут вспомнили о тебе и решили позвонить. Ты чего там делаешь?.. Ещё не ужинала? Давай, доставай бутербродики и присоединяйся к нам с папой. Мы тут чай пьём. Да, мы в кафе сидим. А потом ещё пойдём гулять.

Дианка замолчала и слушала то, что говорила ей Инта. Временами кончики её губ чуть подрагивали в улыбке, и она с хитринкой поглядывала на меня.

— Да… Да, — сказала она, ухмыляясь. — Папа, Интик сказала, что целует тебя в щёчку… Ага… А папа тебе тоже сейчас машет руками и говорит, что целует тебя, ну прямо всю-всю-всю… Нет, ну он так не говорит, но это потому что я здесь сижу, а, если бы меня не было, то точно бы сказал.

«Ох, Дианка!» — подумал я и чуть покачал головой.

Дианка отбила звонок и положила телефон на столик.

— Интик вышла из зоны, — сказала она. — Здорово я с ней поговорила. Правда?

— Здорово, — согласился я.

Дианка посмотрела на меня сквозь большой бокал янтарного цвета и, продолжая держать его перед глазами, спросила:

— А почему так получается, что я вижу тебя, а ты видишь меня?

— Не совсем тебя понял.

— Ну, ты всегда видишь только меня, а себя не можешь. И я тоже вижу только тебя.

— В зеркале мы можем себя увидеть.

— В зеркале мы зеркально перевёрнуты. Нет, папа, ты никогда себя не видел таким, каким мы видим тебя с Интиком.

— Я вполне могу без этого прожить. Главное, что вас я вижу.

— А вдруг, мы тебе однажды надоедим? Ведь каждый день мы мельтешим перед твоими глазами туда-сюда, туда-сюда…

— Болтушка, пойдём. Тут рядом есть выставочный зал. Как раз успеем до закрытия посмотреть новые картины. Гулять, так гулять.

— Ага! У меня ведь каникулы! Мы можем гулять, хоть всю ночь, — сказала Диана и сделала большой глоток чаю.

До закрытия выставки оставалось полчаса, но быстроногой Дианке этого вполне хватило, чтобы успеть осмотреть все картины, а потом постоять перед особо понравившимися работами. Некоторые из них были подсвечены прожекторами, и она, затаив дыхание, стояла то пред одной картиной, то перед другой, освещённая разноцветными отблесками, идущими от холстов. Я старался держаться чуть в стороне, чтобы не мешать ей. Может быть, мне, подспудно, тоже не хотелось без конца мельтешить перед её глазами.

Весь обратный путь домой Дианка спала, согревшись на заднем сиденье машины. Когда я свернул к дому, она проснулась и посмотрела в окно.

— Мы уже приехали? — спросила она.

— Да, Диана. Сейчас отдохнёшь.

— Папа, давай проедем к морю. Я хочу посмотреть, как там сейчас.

Я посмотрел на Диану в зеркало заднего вида.

— Там же сейчас тьма, снег и ничего не видно.

— Я просто хочу увидеть, как это — тьма, снег и ничего не видно.

— Хорошо. Давай посмотрим.

Я проехал мимо нашего дома чуть дальше к морю и остановил машину на самом краю дюны, где кончалась дорога.

Мы вышли из машины, и ночное море толкнуло нас волной холодного ветра. Его протяжный гул несся над едва видимым в ночи, уходящим во тьму ледяным простором.

Я присел возле Дианки, обхватил руками, чтобы согреть, и не мешал ей вглядываться в море тьмы, раскинувшейся перед нами.

Придя домой, Дианка быстро побежала под душ, чтобы согреться, а я, на кухне, приготовил две чашки горячего какао и по бутерброду с её любимой докторской колбасой. Наверняка, этот поросенок проголодался. Я поставил чашки на столик Инты у окна, и сел в белое плетёное кресло. И тут я вспомнил о страницах, вырванных Интой из её дневника в новогоднюю ночь. Они так и остались лежать во внутреннем кармане моей куртки. Я принёс листки, их было всего три, положил перед собой на столик и начал читать.

«…Вежливый отказ…

Холодный. Вежливый. Отказ.

Он улыбался, стоял рядом, но был уже далеко. Я ничего не чувствовала, кроме того, как руки мои и ногти впились в гладкое сиденье качелей. Я слушала его и не могла понять, что он говорит. Он улыбался и говорил ужасные вещи. Я смотрела на его губы, на то, как они движутся и, наконец, поняла. Он просил избавиться от…

Мне страшно...»

***

«…Сегодня я его убила…

Нет, не его. Ее. Это была девочка, мне сказал об этом доктор. Я до сих пор помню его взгляд, когда он произнес — девочка. В этом взгляде была надежда на то, что я передумаю.

Я не передумала…»

***

«…Сегодня я шла домой, слушала, как поют птицы, смотрела на облака и осознавала, что сейчас весна — начало всего. Я осознавала, но ничего не чувствовала. Она должна была родиться в январе…

Сейчас ей было бы уже три месяца. Но она мертва… Я не дала ей появиться в этом мире. Меня успокаивают, говорят, что я не убила её, так как её и не было вовсе, что она не рождалась и значит, я не должна мучиться.

Но, если бы она родилась, я держала бы её сейчас на руках. Ей было бы сейчас три месяца. Её глаза видели бы этот мир…»

Я не стал дальше читать. Я порвал листки на крохотные кусочки, открыл окно и бросил их в темноту.

В этот миг, дверь кухни широко распахнулась и в проёме двери показалась Дианка в своём жёлтом махровом халатике.

— Ух, ты! Как здорово пахнет! Папа, сделай мне бутербродик, — сказала она, деловито проходя к столу.

— Уже сделал. Садись. Какао, кстати, остыло. Давай подогрею.

Я поставил кружки в микроволновку, а Дианка села за столик и достала из кармана халатика свой телефон. Кухня наполнилась шумом мотора и скрипом колёс на виражах.

— Папа, ты бы видел, как я сейчас одного на повороте обошла! Хе-х!.. Я сейчас третья… Мне осталось ещё двоих обойти, и тогда я всех сделала!..

— Дианка, неужели тебе это интересно?..

— Ух, папа, тут всё, как в жизни! Мне Мишка эту игру скачал. Сейчас по Сан-Тропе на тачиле гоняю.

— Тачила — это что? — спросил я.

— Это значит — тачка.

— Ну и словечки у тебя!

— Э, папа! Ты вот, поезди с моё, не так ещё называть будешь. Я потом себе ещё Кавасаки за семьдесят тыщ баксов куплю. Это мацацикл такой… Тут главное на встречку не навернуться. Эти встречные — такие гады!

Мокрые волосы Дианки всклокочены во все стороны, карие, горящие глазки азартно посверкивают, в руках она цепко держит телефон и крутит им словно рулём.

— Папа, я ещё одного обогнала. Последний остался… Ты бы видел, как я классно езжу! Как думаешь, может, я уже машину могу водить? Ха!.. за мной полицаи гонятся… Тут в Сан-Тропе такие полицаи привязчивые, словно осы!.. О-о-о-о!.. Ну вот, взорвалась? Ну, точно, это я во встречную влетела. Папа, я проиграла! Я сегодня лузер!..

Дианка положила мобильник на стол и отпила какао.

— Интику что ли, позвонить? — сказала она.

— Поздно. Она, наверняка, уже спит.

— А почему ты ей не звонишь?

— Зачем же её дёргать. Пусть человек отдохнёт. В том числе и от нас.

— Жаль! А то бы я ей рассказала, как мы сегодня с тобой куролесили. И даже ночью на море были.

Дианка держала кружку двумя руками, грея ладошки, и задумчиво смотрела в тёмное окно.

— М-м-м-м-!.. Какая вкуснота! — сказала она, отпивая из чашки. — Ради одного этого уже стоило родиться!..

— Бутерброд возьми. Могу ещё с сыром сделать.

— Нет, спасибо… Как у тебя, папа, книжка пишется?

— Пишется понемногу. Хочется написать что-то совершенно сногсшибательное.

— А что надо сделать, чтобы получилось что-нибудь сногсшибательное? — спросила Дианка и откусила бутерброд. — Я бы тоже хотела что-то такое написать.

— Для этого надо ставить перед собой задачи, превышающие твои возможности.

— Хм!.. Превышающие? — переспросила Дианка, и отпила из кружки, — Но ведь тогда ничего не получится.

— Зато, ты попыталась. Работать надо на пределе сил. Часто люди силы свои недооценивают.

Дианка задумчиво повертела пустую чашку в руках.

Перед тем, как лечь, я зашёл в её комнату, подумав, что наверняка этот поросенок заснул с плеером в ушах. Но Диана не спала. Рука её лежала на груди поверх одеяла и чуть подрагивала в такт мелодии.

— Неужели ты не устала? — спросил я, прикрывая одеялом её высунувшуюся из-под одеяла пятку.

— М-м-м-м!.. Я так устала, что у меня даже язычок еле шевелится, — пробормотала она.

— Что же ты тогда не спишь? Давай, выключай плеер и спи.

— Это глазки у меня не спят. А ножки и ручки уже давно спят.

— Давай вся засыпай. Мы сегодня хорошо погуляли.

Я уже встал, было, чтобы уходить, как Дианка вдруг сказала:

— А давайте ракету построим!..

— Какую ракету? — удивился я.

— Настоящую. Для полёта на Марс.

— Такую ракету, Дианка, мы не построим.

— Зато мы будем знать, что мы пытались! Работали на пределе сил.

— Ты всё не так поняла. Сверхзадачи, не должны быть бессмысленными.

— Но это же не бессмысленно. Мы построим ракету, откроем все иллюминаторы, и в отсеках будут жить птицы. Подумай, мы попадём в книгу рекордов Гиннеса, за то, что построили самый высокий в мире скворечник!

— Над этим надо подумать, — сказал я и погладил её по волосам. — Вот, Инта приедет, и мы обсудим твою идею.

— Интик мои идеи одобряет, — зевнула Дианка, — Завтра я напишу Янке огромное письмо. Огромное-преогромное,… И про ракету тоже напишу,… Думаю, и она меня поймёт.

Она затихла, чуть повернув лицо к стене, и медленно погрузилась в сон, хотя глаза её ещё оставались полузакрытыми. Была у неё такая особенность — засыпать с полузакрытыми глазами. Хотя, может, и у других детей тоже такое бывает?.. Надо будет поспрашивать. Я снял с её головы наушники и тихо выключил ночник.

Уже час ночи. Снаружи завывала метель и с колким треском ветер колотил по оконному стеклу кристаллами заледенелого снега.

46
Письмо Дианки

«Янка, привет!

У нас наступили такие холода, что даже занятия в школе отменили. Я забралась сейчас в большое папино кресло у окна, попиваю, себе, чай с лимоном и пишу тебе письмо. Что же тебе рассказать?..

У меня есть друг — Мишка-хакерок. Он мой сосед. Мы с ним познакомились этим летом. Кругленький такой, толстенький и прикольный. Он хороший, и с ним интересно, но я ему не все могу рассказывать. Странно, но только после того, как я его встретила, я поняла, что мальчишки совсем другие. С ними о многом не поговоришь.

Знаешь, Янка, я всегда мечтала о старшей сестре. Младшую мне не хотелось. Я и сама куролесить могу. А вот, старшая — это классно! Я придумала! Давай, ты будешь моей старшей сестрой? Давай представим, что ты уже совсем взрослая, и живешь далеко-далеко, и уже работаешь. А я тебе пишу письмо и рассказываю, как поживаю тут без тебя...

У нас уже совсем скоро весна, но иногда бывает жутко холодно. Вчера мы с Мишкой ездили в центр. А когда возвращались, долго стояли на остановке. И я ужасно замерзла, потому что остановка у самой реки, а с другой стороны сразу уже за соснами море. И там было очень холодно. Такой был дубак, что до сих пор отогреваюсь. Мы с Мишкой бегали вокруг остановки и хохотали, чтобы совсем не замерзнуть. А одна девочка… ну, она взрослая, как ты. Она была с парнем. И они были без шапок, и тоже очень замерзли. И они с нами стали бегать вокруг остановки. Было очень весело. А потом, наконец, пришел автобус, мы забежали в него, и уселись на передние сиденья, и стали греться. А тот парень поцеловал девочку.

А я еще никогда не целовалась. А ты?..

А ещё у меня появился новый друг. Это пес! Я назвала его Лабс Сунс. Я не знаю, где ты живёшь, наверное, не в Латвии. Поэтому, для тебя, переведу. По-латышски это значит — Хорошая собака. Он уже отзывается, когда я его так зову. Он почти каждый день приходит к нам во двор через дырку в заборе. Я просила папу, чтобы его оставить у нас, но папа сказал, что он может быть чьим-то и мы с Мишкой решили разузнать, где он живет — и действительно чей-то он или совсем ничейный?

И вот, однажды, мы с Мишкой пошли за ним следом, и пришли к старенькому домику, который я всегда считала заброшенным. А, оказалось, там живут люди, и Лабс Сунс оказался чейным. Мне сейчас немножко грустно, ведь я мечтала, что он будет жить с нами. Знаешь, как бывает одной скучно, особенно, когда папа занят работой, и не обращает на меня внимания. А сейчас у него ещё и Интик есть. Но ты не думай, Интику я очень рада и совсем папу не ревную.

Ой, я писала тебе об Интике?.. Сейчас расскажу. Мы с ней тоже познакомились этим летом. Она такая красивая! И она настоящая художник. Да-да! Именно — художник. У нее, знаешь, какие огромные картины есть! А одну картину мы с ней, на Новый год, сожгли на костре прямо у моря. Она сказала, что так избавляется от всего плохого. Может, когда она рисовала, у неё были плохие мысли?.. Я тоже планирую что-нибудь сжечь, но пока у меня сжигать нечего. Но, ничего. Это дело наживное…

Дом Интика неподалёку от нас, красивый такой, с башенками. Я у нее уже сто раз была в гостях. А сейчас Интик живёт с нами, и было бы здорово, если бы они с папой поженились.

Написала я тебе письмо, и меня прямо в пот бросило… Наверное, это от горячего чая. Пойду, прилягу и почитаю. Знаешь, как я люблю читать? Сейчас я тебе расскажу... Я люблю нажарить целую тарелку горячих семечек, сделать кулёчек для шкорок, и залезть со всем этим в кровать, с книжкой Жюль Верна или Майн Рида. О!.. Как это здорово — щёлкать семечки и читать!..

Ну, пока!.. Я заканчиваю своё письмо, а вечером я тебе ещё напишу.

……..

«Янка, я пишу тебе уже вечером из кровати. Кажется, я заболела. Весь вечер меня морозит. А сейчас наоборот — жарко. Наверное, простудилась. Сейчас мне папа дал всяких витаминов и пошёл работать. Я ноутбук тихо включила и пишу тебе.

Голова у меня сейчас тяжелая и ничего не хочется делать — ни книжку читать, ни телек смотреть. Хочется лежать и слушать, как метель воет за окном… И ещё, хочется закрыть глаза, представить, что уже лето, раскинуть руки и полететь…

Давай сейчас с тобой полетаем?.. Ведь представить можно всё, что угодно. Кто нам может запретить летать!? Представь, что сейчас жаркий летний день, петухи поют, листья на деревьях шелестят, пахнет морем и клубникой… А мы стоим с тобой на траве перед домом и вдруг медленно начинаем подниматься вверх. Ноги наши уже не касаются травы, она всё дальше уходит от нас, а крыша дома всё ближе. Мы пролетаем мимо окна папиного кабинета, видно, как он работает за столом. Мы стараемся пролететь незаметно, а то начнётся — «куда это вы полетели?», «не опоздайте на ужин» и «не поднимайтесь слишком высоко за облака»…

А вот, и крыша... Посмотри, как листы жести погнуло! Это осенью и зимой у нас тут такие ветра… На крыше вороны сидят, на нас удивлённо смотрят. А мы с тобой поднимаемся всё выше в небо. Сейчас я тебе отсюда, сверху, всё покажу. Прямо пред нами залив. Слева и справа вроде, как два мыса выходят в море. Это потому, что наш залив состоит из множества маленьких заливов. Ну… как если бы мы с тобой ели скибку арбуза и кусали в разных местах. Представила? И вот, над одним таким укусом-заливом мы с тобой сейчас и поднялись в небо.

А под нами — дюны, сосновый лес тянется вдоль моря, домики среди деревьев, и улицы, утопающие в зелени. А ещё дальше, вдоль моря, тянется железная дорога. Зелёный поезд быстро несётся. Отсюда, сверху, он совсем, как игрушечный и кажется, что поиграв, железную дорогу можно разобрать на части и сложить в коробку вместе с поездом и вагончиками. А дальше, за железной дорогой, опять дома и сады, по обеим сторонам улочек, усыпанных гладкими фигуристыми камешками, которые я называю бегемотиками, потому что камешки эти на бегемотов очень похожи.

А ещё дальше — река. Видишь, за этой рекой огромный лес до самого горизонта? Мы однажды были в том лесу с папой и Интиком. Там есть гора и на ней стоит избушка ведьмы, а на самом верху горы — лесной колодец. Это такая круглая поляна полная грибов, окружённая высокими деревьями. Однажды мы были там ночью, и мне совсем не было страшно. Здорово было всё это показать тебе по-настоящему…

Сейчас ветер за окном так завыл, что мне кажется, будто я свалилась из лета прямо в кровать и снова оказалась в зиме. Я так налеталась, что нет сил, шевелиться. Я еле пальчиками шевелю, чтобы написать тебе всё это.

Янка, я уже спать буду, а то голова очень тяжёлая. А завтра снова напишу.

А ты, смотри, не простуживайся. А то знаешь, как это противно — болеть!..»

47
Валит снег

Второй день завывает за окном метель, и второй день, как Дианка лежит с температурой. Не спеша, она перелистывает страницы «Дон-Кихота» с иллюстрациями Доре. Это её любимое занятие, когда она болеет. Читать нет

сил, но, рассматривая рисунки, она время от времени, закрывает глаза и переносится в тот мир, что создал Доре. То она видит себя в глубоком ущелье, теряющемся во тьме, по дну которого с шумом бежит бурный поток, а в небе клубятся зловещие тучи, подсвеченные всполохами молний. То стоит на залитой солнцем, потрескавшейся от зноя земле, окружённая низкорослыми деревцами и видит безжизненное тело Дон-Кихота. Тот, словно тонкая тряпочка перекинут через круп своего Росинанта, а Санчо Панса кряжисто и широко шагает рядом с поверженным хозяином.

Дианка сегодня так же бессильна, как и бедный Дон-Кихот. Не открывая глаз, она нащупывает в складках одеяла мобильный телефон и набирает номер.

— Алло, Интик, привет! — хрипло бормочет в трубку Диана. — Ты скоро приедешь? Да, голова болит... Папа лечит. Да... Я лежу, книжки всякие смотрю. Скучно ужасно. Теперь я понимаю, почему собаки воют. Нет, папа всё время заходит и лечит меня, но ему надо срочно главу заканчивать, а я его отвлекаю от работы… Носочки я надела, но у меня всё равно все три пятки холодные. Эх, Интик, ты и не представляешь, как мне уже хочется гулять, баловаться, куролесить… Ну, ладно, Интик, буду дальше лежать. Кажется, папа идёт. Да, передам… Пока!.. Приезжай скорее!

Я вошёл к Дианке с кружкой морса из чёрной смородины.

— Ну, как ты? — спросил, трогая её лоб. — Попей тёплого морса. Помнишь, доктор сказал, что нужно побольше тёплого питья. После ужина эту таблетку проглотишь.

— Эта таблетка больше моего горла.

— Мы её на кусочки поломаем. Давай я присяду. Где тут твои ноги?

— По всей кровати мои ноги. Они везде.

— Что это у тебя? А, Доре… Здорово он рисовал!..

— Папа, помнишь, ты мне говорил, что очень трудно придумать такую фантастическую идею, которая никому бы ещё не приходила в голову.

— Да, это трудно.

— А мне пришла в голову идея величайшего фантастического романа.

— Расскажи.

— Папа, то, что я придумала, это круто. Это изменит всю социальную систему человечества, — сказала Диана, многозначительно подняв указательный палец вверх.

— Подожди, я тебе там кашку сделал, как ты любишь, с изюмом и абрикосами. Только не забудь, что хотела рассказать.

Я быстро сбегал на кухню и принёс Диане горячую геркулесовую кашу.

— Ты не забыла? — спросил я, усаживаясь на край её кровати.

— Такое нельзя забыть… Осторожнее только с моими ножками, не сядь на них, они у меня тут всюду… Так вот, — продолжила Диана, попробовав кашу с краешка тарелки. — Моя идея изменит всю энергоснабженческую систему мира. Она взорвёт умы человечества и перевернёт их с ног на голову. Это изобретение произведёт фурон, тьфу… фурор на всей планете. Взорвёт изнутри монополии энергоснабженческих электро компаний.

— Ну, рассказывай, — я уютно пристроился на краешке кровати, откинулся на изголовье, и, обняв дочурку, принялся внимательно слушать.

Дианка поморщила лобик и сосредоточенно задумалась.

— Значит так, — сказала она. — Представь себе, что отныне на всей планете, на всех континентах, в каждом городе, отныне, не нужны будут электрические фонари. Мы выкорчуем все электростолбы, вырвем из земли все кабели на всей планете. Мы очистим землю от устрашающих… электро… как это сказать?..

— Ну…

-От устрашающих, железных нагромождений, которые понастроили энергоснабженческие компании. И вот, представь себе, что отныне, вся земля погрузилась в космическую темноту. Ни одного фонаря, ни одной маломальской лампочки. Вокруг, тьма… Но мы не дадим человечеству погибнуть в этой темноте. Мы изобретём светящиеся, самолетающие шары. Отныне, каждому человеку, при рождении, будет выдаваться самолетающий, светящийся шар. Он будет всегда над головой человека, например, вот здесь, — Дианка показала мне на голову, — или тут… Ну, где тебе будет удобно. Он будет всегда лететь рядом с человеком, и освещать его путь. И представь себе, если взглянуть на землю из космоса, то можно будет увидеть, как по тёмной стороне планеты движутся маленькие, самолетающие шарики. И этому грандиозному, всепланетарному зрелищу позавидуют даже инопланетяне, живущие на обратной стороне Луны.

— Попей, пока не остыло, — сказал я, подавая Диане морс из клюквы. — Всё так. Но как же быть со светящимися шарами? Как они будут светиться?

— Папа, мы — фантасты. Мы не должны давать ответы. Наше дело — новая идея. А, как эти шары будут летать, и светиться, это, пожалуйста, к японцам. Они там покумекают и придумают. Но я уверена, что когда-нибудь, в будущем, люди сами будут излучать свет. И не только люди. Ну, как тебе моя идея?

— Неплохая. Надо будет это записать.

— Ага! Ты можешь об этом книжку написать.

— Ты подрастёшь, и сама напишешь.

— Ладно, — согласилась Диана. — Но ты согласен, папа, что эта книга взорвёт умы человечества? Ты, если хочешь, бери мои идеи. Мы же с тобой — команда.

— Хорошо, Диана… А это, что за книжка у тебя?

— А это «Три медведя». Моя любимая книжка из детства. Ты знаешь, удивительную вещь я заметила в этой сказке.

— Какую?

— Всегда, когда я читаю, как девочка ест кашку из синенькой чашки Мишутки, я чувствую вкус этой кашки. Я, когда выздоровею, сварю такую кашку. Мы так и назовём её — «Мишуткина кашка».

— Интересно будет попробовать. Ну, я пойду. Зови, если что...

Я вошёл на кухню и поставил вариться кофе. За окном было белым бело от снега. Я слышал, как Диана перелистывает страницы «Дон-Кихота», как сеет по стеклу снежная крупа и закипает в турке чёрный кофе.

Редактор:
Е. Жмурко (Германия)

Редакционная коллегия:
Владимир Порудоминский (Германия), Инна Иохвидович (Германия), Ирина Жураковская (Украина), Борис Левит–Броун (Италия), Татьяна Щеглова (Россия).

Редакционный совет:
Евгений Витковский (Россия), Ольга Кольцова (Россия), Евгений Кольчужкин (Россия), Леонид Зорин (Россия), Виктор Каган (Германия), Ян Паул Хинрихс (Нидерланды), Наталия Крофтс (Австралия).

Художник: Ольга Федорчук (Украина)

Copyright © 2013–2017 Зарубежные Задворки

ZA–ZA Verlag: www.za–za.net
Dusseldorf, декабрь/январь 2017 — 277 стр.
Гарнитура «Verdana»; кегль «11»

Отпечатано в типографиях:
LULU, USA и Т8 Издательские Технологии (РФ)